

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р  
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

---

# ВОПРОСЫ Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1973

## СОДЕРЖАНИЕ

В. З. Панфилов (Москва). Нивхско-алтайские языковые связи . . . . .	3
---	---

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. А. Слюсарева (Москва). Проблемы лингвистической семантики . . . . .	13
В. М. Живов, Б. А. Успенский (Москва). Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий . . . . .	24
Р. Г. Пиотровский (Ленинград). Лингвистические оценки расхождения близкородственных языков . . . . .	36
С. Н. Сыроваткин (Магнитогорск). Значение высказывания и функции языка в семиотической трактовке . . . . .	43
Д. И. Арбатский (Ижевск). О специфике семантического определения и его функциональных типах . . . . .	50

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О. А. Лаптева (Москва). Гомофункциональные ряды — принцип системности русского некодифицированного устно-разговорного синтаксиса . . . . .	60
Н. Г. Бландова (Москва). Об историко-филологических основаниях изучения языка художественной литературы . . . . .	78
Е. А. Конюс (Москва). К вопросу о согласовании времен в английском языке	88
О. Н. Селиверстова (Москва). Семантический анализ предикативных притяжательных конструкций с глаголом <i>быть</i> . . . . .	95

### ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

П. Г. Богатырев. Язык фольклора . . . . .	106
---	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

В. В. Лопатин (Москва). Сборники по лексикологии и словообразованию древнерусского языка . . . . .	117
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ

Л. М. Скредина (Минск). «Leçons de linguistique de Gustave Guillaume (1948—1949)» . . . . .	126
Е. В. Немченко, А. Г. Широкова (Москва). <i>J. Věliř. Nástin české dialektologie</i>	132
Т. Г. Хазагеров (Ростов-на-Дону). <i>В. А. Редькин. Акцентология современного русского литературного языка</i> . . . . .	135
Э. В. Севортын (Москва). <i>А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков</i> . . . . .	138
Я. Г. Биренбаум (Магнитогорск). <i>Г. Г. Почепцов. Конструктивный анализ структуры предложения</i> . . . . .	144
Б. К. Гигинейшвили (Тбилиси). <i>А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловянникова. Фрагменты грамматики хиналугского языка</i> . . . . .	148

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	151
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,  
 Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),  
 Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
 О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

В. З. ПАНФИЛОВ

## НИВХСКО-АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

1. Нивхский (гиляцкий) язык включается в группу палеоазиатских языков наряду с чукотским, корякским, керекским, алюторским, ительменским, эскимосским, алеутским, юкагирским и кетским. Л. Шренк, объединивший их в одну группу, полагал, что их носители являются остатками древнего населения Азии — палеоазиатами. Однако эти языки разбиваются на ряд генетически разнородных групп: чукотско-камчатскую, включающую родственные между собой чукотский, корякский, керекский, алюторский и ительменский языки, эскимосско-алеутскую и отдельные изолированные языки — кетский, юкагирский и нивхский.

Нивхский язык состоит из трех диалектов — амурского (ам. д.), восточносахалинского (в.-с. д.) и северосахалинского (с.-с. д.). Между первыми двумя диалектами существуют значительные различия не только в лексике, но и в грамматике, а также фонетическом строе. Третий диалект занимает промежуточное положение между двумя этими основными диалектами. При этом восточносахалинский диалект по сравнению с амурским диалектом сохраняет ряд архаических черт.

Попытки установить генетические и иного рода связи нивхского языка с другими языками предпринимались уже в первый период его научного исследования. Л. Я. Штернберг, указывая на изолированное положение нивхского языка среди окружающих его тунгусо-маньчжурских и айнского языков, высказывал предположение о его близости к индейскому языку Северной Америки<sup>1</sup>. Однако, это предположение подкреплялось ссылкой лишь на факт наличия общих типологических черт нивхского и этих последних языков, причем в действительности являются общими лишь некоторые из них (местоименные показатели объекта в составе переходных глаголов, многие ряды числительных, каждый из которых употребляется при счете предметов определенного рода, близость имени к глаголу и др.). Эта гипотеза Л. Я. Штернберга в дальнейшем не получила обоснования в отношении фактов материальной близости нивхского и индейских языков<sup>2</sup>.

В последние десятилетия был опубликован ряд работ О. Тайёра и К. Боуда, в которых даются в основном лексические параллели между нивхским языком и языками чукотско-камчатской группы, а также финно-угорскими и самодийскими<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Л. Я. Штернберг, Образцы материалов по изучению гиляцкого языка и фольклора, «Изв. имп. Акад. наук», 1900, XIII, 4, стр. 410; L. Sternberg, Bemerkungen über Beziehungen zwischen der Morphologie der giljakischen und amerikanischen Sprachen, «XIV. Amerikanisten Kongress», Stuttgart, 1904, стр. 138—140.

<sup>2</sup> Здесь можно упомянуть лишь о статье М. Свадеша «Лингвистические связи Америки и Евразии» (сб. «Этимология», М., 1964), в которой приводятся несколько параллелей материального характера между нивхским и некоторыми индейскими языками.

<sup>3</sup> См.: O. G. T a i l l e u r, La place du Ghiliak parmi les langages paléosiberiennes, «Lingua», IX, 2, 1960; K. B o u d a, Die Verwandtschaftsverhältnisse des Giljakischen, «Anthropos», 55, 1960; е г о ж е, Giljakisch und Uralisch (Domaine Gilyak), «Orbis», 17—2, 1968.

В отличие от этих авторов Е. А. Крейнович поставил задачу установить, «что нивхский язык подвергнулся влиянию ряда языков Дальнего Востока, и сам, по-видимому, в какой-то степени влиял на них»<sup>4</sup>. Приводимые лексические и некоторые грамматические параллели из нивхского и тунгусо-маньчжурских, а в некоторых случаях — и из корейского рассматриваются автором как результат заимствований в основном из этих языков в нивхский, а иногда — из нивхского в эти языки. При этом, однако, не учитывается, что многие нивхские слова, заимствованные, по мнению Е. А. Крейновича, из тунгусо-маньчжурских или корейского языков, образованы от таких корневых морфем, которые в нивхском имеют многочисленные производные, составляющие обширные гнезда слов. Очевидно, что такого рода слова нивхского языка не могут рассматриваться как заимствования из тунгусо-маньчжурских языков или, во всяком случае, не являются результатом контактов нивхского языка с этими языками в исторически засвидетельствованный период времени.

Рассматривая вопрос об отношении нивхского языка к другим языкам и, в частности, к алтайским и некоторым языкам юго-восточной Азии, необходимо учитывать широкий исторический контекст и, в особенности, археологические, антропологические и этнографические данные. Факты археологии и этнографии позволяют утверждать, что нивхи являются прямыми потомками древнего неолитического населения Приамурья<sup>5</sup>. Будучи монголоидами, нивхи составляют особый сахалино-амурский антропологический тип, который сформировался в результате контактов северных и южных монголоидов, что, в частности, подтверждается обнаруженными связями неолита Приамурья и культур более южных районов Восточной Азии<sup>6</sup>. Тунгусо-маньчжурские народы относятся к другому типу монголоидов — байкальскому. О его происхождении и, в частности, о роли в его формировании палеоазиатского населения Сибири археологами и антропологами высказываются различные мнения<sup>7</sup>, но тем не менее положение о том, что палеоазиаты некогда занимали более обширную территорию Сибири и что тунгусы ныне обитают в районах, которые некогда населяло палеоазиатское население, является общепринятым. В связи с этим допустима гипотеза о наличии палеоазиатского и, в частности, нивхского субстрата в тунгусо-маньчжурских языках. Вместе с тем не исключается возможность и более древних связей нивхского языка с тунгусо-маньчжурскими языками, на что, в частности, указывает наличие значительных сходжений нивхского языка со всеми алтайскими языками, сходжений такого рода, которые позволяют говорить не только о типологической, но и существенной материальной его близости к этим языкам.

II. Нивхский и алтайские языки — монгольские, тюркские и тунгусо-маньчжурские — являются языками синтетическо-агглютинирующего типа: морфемы в пределах слова объединяются преимущественно по способу агглютинации, а грамматические значения в основном выражаются в составе самого слова. В нивхском, как и в указанных языках, основными

<sup>4</sup> Е. А. Крейнович, Гиляцко-тунгусо-маньчжурские параллели, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», 8, 1955, стр. 135.

<sup>5</sup> А. П. Окладников, К археологическим исследованиям в 1935 г. на Амуре, «Советская археология», 1936, 1; е г о ж е, Археологические исследования в Приморье в 1953 г., «Сообщения Дальневосточного филиала АН СССР», 8, 1955; е г о ж е, Неолитические памятники как источники по этнологии Сибири и Дальнего Востока, «Краткие сообщения ИИМК», 9, 1941; М. Г. Левичев, Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока, М., 1958, стр. 112 и сл.

<sup>6</sup> М. Г. Левичев, указ. соч., стр. 116—117.

<sup>7</sup> Ср.: А. П. Окладников, К изучению начальных этапов формирования народов Сибири, «Советская этнография», 1950, 2; М. Г. Левичев, указ. соч., стр. 187 и сл.

средствами выражения грамматических и лексических значений являются суффиксация и словосложение и в значительно меньшей степени — внутренняя флексия. Некоторые общие типологические черты свойственны и грамматическим категориям перечисленных языков, в частности, факультативность выражения маркированных частных грамматических значений. В нивхском, как и в алтайских языках, существительные с предметным значением употребляются в атрибутивной функции. Весьма близкой у нивхского и алтайских языков оказывается структура предложения: один и тот же порядок следования членов предложения — обстоятельства времени и места, подлежащее, дополнение, сказуемое; определение предшествует определяемому; простое предложение осложняется деепричастными и причастными оборотами, и др. Вместе с тем у нивхского и алтайских языков имеется материальная близость как в лексике, так и в грамматике<sup>8</sup>.

Материальная близость нивхских грамматических показателей к соответствующим монгольским, тюркским и некоторым другим алтайским показателям обнаруживается в области как имени, так и глагола. При этом особенно значительные схождения между нивхским и алтайскими языками наблюдаются в сфере выражения различных типов собирательного и дистрибутивного множеств. Суффикс мн. числа *-ку* ~ *-γу* ~ *-гу* ~ *-ху* амурского диалекта и *-кун* ~ *-γун* ~ *-гун* ~ *хун* восточносахалинского диалекта нивхского языка, который первоначально имел собирательное значение, сопоставляется с монгольским собирательным суффиксом *-хин*, который в некоторых монгольских языках имеет форму *-Хан/-Хон*, а также с тюркским суффиксом *-гун/-кӱн*, *-γун/-гӱн*. В тюркских языках этот суффикс, как отмечает А. Н. Кононов, «... пережиточно представлен в именах числительных собирательных и в составе отдельных слов»<sup>9</sup> и является вторичным (<\*q + n)<sup>10</sup>. Суффикс *-тан* ~ *-ран* ~ *-дан* с собирательным значением в нивхском языке полностью совпадает с монгольским собирательным суффиксом *-тан/-тон* и тув. *-тан* (в *йазы-тан* «племя, раса»). При этом существенно отметить, что в нивхском этот суффикс восходит к слову *тан* «домочадцы», «совокупность членов того или иного объединения людей»<sup>11</sup>, по-видимому, имеющему общую корневую морфему со словами *ты-ф* (ам. д.), *та-ф* (в.-с. д.) «дом», *ра-ф* (ам. и в.-с. д.) «надмогильный домик», и, следовательно, не может рассматриваться как заимствование из монгольского языка.

В нивхском языке есть ряд непродуктивных суффиксов с собирательным значением. Это прежде всего суффикс *-с* (ср. *риан-с* «сколько», *тун-с* и *хун-с* «столько») и суффикс *-к* [ср. *тунгрым-к*, *хунгрым-к* «столько (много)» и *тунгры-д'*, *хунгры-д'* «такой»]. Путем комбинации суффикса *-с* и его вариантов *-рш/-р* (в нивхском языке отмечаются диалектные соответствия

<sup>8</sup> Некоторые из нивхско-тюркско-монгольских параллелей нами совместно с Т. А. Бертагаевым были рассмотрены в докладе «Нивхско-монголо-тюркские связи» (см. «Проблемы алтаистики и монголоведения. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной конференции», Элиста, 1972, стр. 5—6).

<sup>9</sup> А. Н. Кононов, Показатели собирательности — множественности в тюркских языках, Л., 1969, стр. 21.

<sup>10</sup> Ср., однако, др.-тюрк. *кӱн* «народ» ~ монг. *кӱмӱн*, \**кӱнӱн* «человек, мужчина» (M. R ä s ä n e n, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk Sprachen, Helsinki, 1969 [далее — Räsänen], стр. 309). В качестве источников в статье использованы также следующие издания: «Древнетюркский словарь», Л., 1969; И. Захаров, Полный маньчжуро-русский словарь, СПб., 1875; Т. И. Петрова, Нанайско-русский словарь, Л., 1960; В. А. Горцевская, В. Д. Колесникова, О. А. Константинова, Эвенкийско-русский словарь, Л., 1958; «Краткий эвенко-русский словарь», М.—Л., 1936; «Краткий удэisko-русский словарь», М.—Л., 1936; «Монгольско-русский словарь», М., 1957.

<sup>11</sup> В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. I, М.—Л., 1962, стр. 53—54, 94.

с ~ рш ~ р), суффикса -к и его варианта -γ (в нивхском к и γ регулярно чередуются) образован ряд для современного нивхского языка непродуктивных суффиксов с собирательным значением: 1) суффикс -ск/-кс в существительных *хи-ск* «коношля; крапива; матаус», *ки-ск* «ряска», *чи-ск* «войлок», *ны-кс* «кустарник», *тул-кс* «настил из жердей в доме, на котором содержался медведь» и др.; 2) суффикс -рк (-ршк)/-кр в существительных *ты-рк* «циновка из камыша», *ху-ршк* «чаща», *т'ы-кр* «багульник», *т'ви-рк* «желчь, горечь» и др.; 3) суффикс -γс в существительных *ны-γс* «зубы», *нон-γс* «чаща», *та-γс* «узор», *на-γс* «стена», и др.; 4) суффикс -γр в существительных *хы-γр* «икринка, икра», *хи-γр* «желудок», *ны-γр* «шкура, кожа (о животных)» и др.<sup>12</sup>.

Первичный показатель собирательности — коллективности  $^{-0}z(<*-p) \sim ^{-0}c > ^{0}h$  этимологически выделяется в тюркских языках (*би+z* «мы», *си+z* «вы») <sup>13</sup>, показатель мн. числа -с/-м/-д есть в монгольских языках. Показатель собирательности — коллективности -с широко представлен также в тунгусо-маньчжурских языках в форме компонента -са, -сә, -со показателя мн. числа эвенкийского и нанайского языков -сал, -сәл (-сол), где вторым компонентом также является показатель мн. числа <sup>14</sup>, а также в форме второго компонента собирательного суффикса *ка/кә/кә*, *кта/ктә* эвенкийского и нанайского языков, который сопоставляется с маньчжурским показателем мн. числа -са, -сә <sup>15</sup>. Очевидно, что нивхский суффикс -с/-рш/-р со значением собирательной множественности сближается с этими показателями множественности в указанных алтайских языках.

Аналогичным образом можно провести параллель между нивхским суффиксом -к/-γ со значением множественности и алтайским (а также и уральским) показателем собирательности -q/-к, -γ/-г <sup>16</sup>.

Выделяемый в тюркских, монгольских и тунгусских языках показатель множественности -н <sup>17</sup> также находит параллель в нивхском суффиксе -н/-н со значением репрезентативного множества, которое он передает в составе личных местоимений мн. числа. Ср.: *н'и* «я» и *н'ин* (ам. д.), *н'ин* (в.-с. д.) «мы»; *чи* «ты» и *чин* (ам. д.), *чин* (в.-с. д.) «вы»; *иф* «он» и *имн*, *ивн* «они» (ам. д.).

Другой нивхский собирательный суффикс -ни (ср. *оу-ни* «гуща», *льв-ни* «овод»), по-видимому, сопоставляется с нанайским и эвенкийским суффиксом собирательных числительных -ни. Наконец, нивхский суффикс -кин ~ -γин ~ -гин ~ -хин (в.-с. д.) и -ки ~ -γи ~ -ги ~ -хи (ам. д.) со значением совместности и общий с ним по своему происхождению компонент -ки/-ги личного местоимения 1-го лица двойств. числа *мәги/мәки*, по-видимому, можно сопоставить с тюркским числительным *ики*, *икй*, *әкй* «два» (ср. тюрк. *икиз* и монг. *эир* «двойня») <sup>18</sup>.

Таким образом, многие суффиксы нивхского языка, служащие для выражения различных значений дистрибутивного и собирательного множеств, материально являются общими или близкими с соответствующими

<sup>12</sup> См. подробнее: В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., ч. I, стр. 102—103. Ср.: Е. А. К р е й н о в и ч, указ. соч., стр. 142—143.

<sup>13</sup> А. Н. К о н о н о в, указ. соч., стр. 5—6.

<sup>14</sup> Там же, стр. 7; см.: Г. М. В а с и л е в и ч, Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1940, стр. 31.

<sup>15</sup> И. З а х а р о в, Грамматика маньчжурского языка, СПб., 1879, стр. 120; см. также: Е. А. К р е й н о в и ч, указ. соч., стр. 143.

<sup>16</sup> См.: А. Н. К о н о н о в, указ. соч., стр. 14—15.

<sup>17</sup> См.: там же, стр. 15—18; Л у б с а н г д ж а б Ч о й, Сопоставительный анализ морфологической структуры слова в монгольском и английском языке. АДД, М., 1971, стр. 63.

<sup>18</sup> Ср. предположение о том, что «в основе показателя совместности нивхской речи лежит слово *гә* „товарищ“, „другой“, „иной“, эвенкийского и эвенского языков» (Е. А. К р е й н о в и ч, указ. соч., стр. 146).

грамматическими показателями в тюркских, монгольских и других алтайских языках.

Характерно при этом, что у нивхского языка оказываются общими с алтайскими языками не только различные показатели собирательной и дистрибутивной множественности, но также и возможность сочетания двух различных показателей этой грамматической формы в пределах одной словоформы. Эта черта, характеризующая нивхский язык как язык агглютинативно-синтетического типа, в известной мере свойственна ему и на современном этапе его развития. Так, например, нивхские личные местоимения мн. числа *н'ын* «мы», *чын* «вы», *имн* «они», которые уже включают в свой состав суффикс *-н* с собирательным значением, могут еще дополнительно оформляться суффиксом мн. числа *-ку ~ -гу ~ -ху* (*н'ын-гу* «мы», *чын-гу* «вы», *имн-гу* «они», ср. тюрк. *биз-лер* «мы», *сиз-лер* «вы»).

Из других сходжений в морфологии имени можно отметить совпадение нивхского уменьшительно-ласкательного суффикса *-q*, в настоящее время непродуктивного, с непродуктивным уменьшительным суффиксом  $-\frac{a}{y}$  /

$-\frac{2}{u}$  *к* в азербайджанском и некоторых других тюркских языках<sup>19</sup>, а также со вторым компонентом тюркского суффикса *-наq* с тем же значением, который, по мнению А. Н. Кононова, образован из двух уменьшительных суффиксов, а именно  $^{-0}n + ^{-0}q$ <sup>20</sup>. В монгольском языке также есть суффикс *-хан/-хон* со значением уменьшительности.

По-видимому, не случайной является также близость древнетюркского, а также монгольского суффикса винительного падежа *-(ы)γ/-(и)g* с суффиксом дательного-винительного падежа *-ax* нивхского языка. Возможно также, что один из суффиксов предельного падежа *-т'ыкы ~ -рыкы* нивхского языка сопоставляется с суффиксом направительного падежа в различных тунгусо-маньчжурских языках, выступающего в виде *-тики, -тихи, -таки, -тки, -ти, -чи* (*-ски, -си, -ки*)<sup>21</sup>. Как нам уже приходилось отмечать<sup>22</sup>, многие суффиксы собственных имен нивхского языка также имеют параллели в тунгусо-маньчжурских языках. Так, нивхский суффикс *-кан ~ -ган* сопоставляется с эвенк. *-ган*, используемым для образования названий жителей по местностям, и маньчж. *-гань, -гонь, -гэнь* в родовых названиях; нивхский суффикс *-кин ~ -гин ~ -гин* — с эвенк. *-гин* (ед. ч.), *-гир* (мн. ч.) — показателем принадлежности женщин к родовой организации; нивх. *-рик* и *-лик* сопоставляются с эвенкийским суффиксом женских собственных имен *-рик/-лик*; нивхский суффикс имен женщин *-к* — с таковым же эвенкийским суффиксом *-к*; нивхские суффиксы *-ту-н ~ -ру-н ~ -ду-н, -ли-н, -лу-н, -ма-н, -зи-н* — соответственно с суффиксами маньчжурских родовых названий *-ду/-дунь/-тунь; ли, -лу, -му, -ма/-мэ/-мо, -си*.

Наконец, следует отметить близость нивхского именного суффикса *-с/-ри*, посредством которого от глаголов образуются существительные —

<sup>19</sup> Э. В. Севортян, Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке, М., 1966, стр. 166 и сл.

<sup>20</sup> А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 23. Ср. мнение, в соответствии с которым нивхский уменьшительный суффикс «представляет собой усеченную форму эвенкийско-эвенского показателя» *кан, кэн* с аналогичным значением (Е. А. Крейнвич, указ. соч., стр. 146).

<sup>21</sup> Ср. сопоставление этого суффикса тунгусо-маньчжурских языков с нивхским суффиксом дательного-направительного падежа *-тох ~ -рох ~ -дох* (см.: Е. А. Крейнвич, указ. соч., стр. 146), который, по-видимому, происходит от суффикса *-тоюо ~ -роюо ~ -доюо*, в современном нивхском языке образующего предельный падеж, а ранее — дательного-направительно-предельный.

<sup>22</sup> W. S. Panfilow, Über die Eigennamen (Anthroponyma) in der Sprache der Nivchen (Giljaken), «Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker», Budapest, 1963.

названия орудий, результатов, объектов, а также субъектов соответствующих действий (ср. *qov-d'* «черпать», *qov-c* «черпак»; *чхон'д'и-д'* «грузить, нагружать», *чхон'д'и-с* «груз»; *хов-д'* «свертывать», *q'ov-c* «сверток»; *й-ытнгу-д'* «сторожить, караулить», *ытнгу-с* «сторож») и суффиксов имени орудия или предмета действия *-с* в монгольских, помен *agentis -аж*, имени орудия или предмета действия *-ыш/-ыш/-ыс/-ис* в тюркских языках<sup>23</sup>, помен *agentis -си* в маньчжурском языке<sup>24</sup>.

Значительно меньше сходжений обнаруживается в глагольных системах нивхского и алтайских языков. В их числе можно отметить близость нивхского суффикса изъявительного наклонения глагола *-qana/-qan ~ -qana/-qan* и тюркско-кыпчакского суффикса причастия, *-qan/-qan/-ken*, используемого в функции глагола прошедшего времени изъявительного наклонения, монгольской глагольной формы на *-γan*, а также тунгусо-маньчжурской формы на *-га, -han*; нивхского составного деепричастного суффикса *-дур-ну-т, -дур-ну-р (-т, -р* — деепричастный суффикс дополнительного действия), образующего от глаголов форму со значением состояния, и тюркского вспомогательного глагола *туруп/дуруп < тур/дур* (глагольная основа) + показатель аориста <sup>0</sup>*r*; нивхского деепричастного суффикса *-кэ*, указывающего на длительное, одновременное с главным действием или предшествующее ему действие, и глагольного суффикса *-кя, -гя, -ке, -хя* в маньчжурском языке со значением продолжительности, усиления действия<sup>25</sup>; нивхского суффикса будущего времени *-ны* и суффикса настояще-будущего времени *-на/-нэ/-но* в халха-монгольском языке.

Количество лексических параллелей между нивхским и монгольскими, тюркскими, тунгусо-маньчжурскими и, в меньшей степени, корейскими языками весьма значительно. Некоторые из алтайских языков, прежде всего — тунгусо-маньчжурские — испытали немалое влияние нивхского языка за время их длительного сосуществования, после того как тунгусо-маньчжурские народы поселились на соседних с нивхами территориях Приамурья и Сахалина. Заимствования из нивхского языка в тунгусо-маньчжурские языки отмечаются, в частности, в тех слоях лексики, которые относятся к областям материальной культуры, освоенным этими народами под влиянием нивхов<sup>26</sup>, и в том числе — к рыболовству, морскому промыслу, собачьей упряжке и некоторым видам одежды, например, из рыбьей или нерпичьей кожи. В свою очередь вместе с проникновением к нивхам соответствующих элементов материальной культуры нивхский язык заимствовал из алтайских языков немало слов. К параллелям этого типа можно отнести, например, такие: нивх. *мур*, ср. монг. *морь*, нан. *морин*, маньчж. *моринь* «лошадь»; нивх. *эман*, ср. монг. *имаган*, нан. *иман* «коза»; нивх. *хота*, ср. монг. *хот*, нан., ульч. *хотон*, маньчж. *хотонь* «город»; нивх. *хон'* «баран», ср. монг. *хонь*, др.-тюрк. *гой*, нан. *хони*, маньчж. *хонинь* «овца»; нивх. *эоја*, ср. монг. *узэр* «рогатый скот, корова», казах. *бгиз*, др.-тюрк. *бгүз* «бык», ср. нан., ульч. *иган*, маньчж. *игань* «корова»; нивх. *хаза* «ножницы», ср. монг. *хайчи* «ножницы», *хаз-уур* «клещи-кусачки», *хазах* «откусывать, отгрызать», нан. *хадя*, маньчж. *хасаха* «ножницы»; нивх. *тамх* «табак», *ра-д'* «курить», ср. монг. *тамхи* «табак», *татаха* «курить», нан. *дамахи* «табак»; нивх. *тай*, ср. кит. *дай*, нан. *даи*, бурят. *даһан* «курительная трубка»; нивх. *эта*, ср. нан. *сиата* «сахар»; нивх. *тафт'* (ам. д.), *тафт'ин* (в.-с. д.), ср. монг. *давэс*, тюрк.

<sup>23</sup> Э. В. Севортян, указ. соч., стр. 269 и сл.; Н. А. Баскаков, Введение в изучение тюркских языков, М., 1969, стр. 155.

<sup>24</sup> И. Захаров, указ. соч., стр. 74.

<sup>25</sup> И. Захаров, указ. соч., стр. 155.

<sup>26</sup> См.: М. Г. Левиц, указ. соч., стр. 133, 202.

тууз, нан. *даосан*, маньчж. *дабсунь* «соль»; нивх. *т'ур*, ср. нан., маньчж. *тури* «горох»; нивх. *пос*, ср. монг. *бос*, нан., маньчж. *босо* «материя»; нивх. *йосо*, ср. нан. *йосо*, маньчж. *иосэ* «замок»; нивх. *хаузул/хаулус*, ср. нан. *хауза*, ульч. *хаусали*, маньчж. *хоошань* «бумага»; нивх. *йою* (ам. д.), *йоюн* (в.-с. д.), ср. нан. *ёхан*, маньчж. *иохань* «вата»; нивх. *чха* «деньги», ср. нан. *диха*, маньчж. *чжиха* «деньги»; нивх. *питуы* «письмо; книга», ср. др.-тюрк. *битиг* «книга, надпись, документ», *бити-* «вырезать надпись» (ср. кит. *би*, *пир* < *пхёт* «кисть для письма»), монг. *бичиг*, нан. *бичхэ* «письмо; грамота»; нивх. *умгу* (ам. д.), *ршанд* (в.-с. д.), ср. монг., бурят. *эмгэ(н)* «женщина»; нивх. *майаг'а* «палатка», ср. монг. *майхан* «палатка; шалаш», нан. *маикан* «палатка»; нивх. *чан-д'* (ам. д.) (*тлэуланд* — в.-с. д.) «быть белым», ср. монг. *цагаан* «белый», нан. *чайган* (образное слово) «бело; белея» и *чагдян* «белый»; нивх. *манг-д'* «быть сильным, могучим», ср. монг., калм., бурят. *мангас* «сказочное чудовище необыкновенной силы», нан. *ман-га* «трудно; тяжело; очень; сильно»; нивх. *чоу* «сок растения», *чоут-т'* «быть пьяным», ср. монг., бурят., калм. *согт-ох* «быть пьяным», эвенк. *чуксэ* «сок», нан. *сэксэ* «кровь»; нивх. *т'уму* «миллион», ср. монг. *түмэн* «тьма, бесчисленное множество», «десять тысяч», уйг. *түмән* «десять тысяч», др.-тюрк. *түмән* «очень много; неисчислимо много; десять тысяч» и многие другие.

Ко второму типу нивхско-алтайских лексических параллелей относятся такого рода случаи, когда рассматривать соответствующие слова как результат недавних заимствований из алтайских языков в нивхский или обратно нет достаточных оснований, так как они или имеют более или менее широкие этимологические связи в пределах соответствующих языков, или вообще редко заимствуются. Такого рода нивхско-алтайские языковые параллели отмечаются в различных слоях лексики. Среди местоимений обнаруживаются близость: нивх. *чи* «ты», *чын* «вы» — монг. *чи* «ты», нан., ульч., уд., эвенк., маньчж. *си*, эвен. *һи*; нивх. *и* «он» (западно-сахалинский говор амурского диалекта), *иф* «он», *имн/ивн* «они» — старомонг. *и*, даг. *и*, маньчж. *и* «он», корейск. *и* «этот»<sup>27</sup>; нивх. *сык* «все; всё» — монг., калм. *цуг* «все; всё»; нивх. *ку-д'* «тот» — др.-тюрк. *-оq* — утвердительно-выделительная частица, южно-уйг. *ко* «этот», *ку* «вон тот», чуваш. *ко*, *ку* «этот», монг. *ку* — усилительная частица; нивх. *ан* «кто» — эвенк. *анге*, *анги* «что; какой; как».

Для числительных можно отметить следующие нивхско-алтайские параллели: нивх. \**н'и* «один» — монг. *ни-гэн* «один», которое возводится к \**ни* «единое; целое»; нивх. \**т'э* «три» — корейск. *се*, *сэ*, *сэж* «три»; нивх. \**ны* «четыре» — корейск. *не*, *нэ*, *нэж*; нивх. \**т'о*/\**то* «пять» (ср. нивх. *то-т* «рука», *ты-мк* «кисть руки») — *та-* корень числительного «пять» в монгольских языках (ср. монг. *та-бун* «пять», *гур-бан* «три», *дөр-бөн* «четыре» и т. п. — членение производится согласно устному разъяснению Т. А. Бергатаева), с одной стороны, и монг. *табагаи* «нога верблюда», *табаг* «подошва» ~ тюрк. *тāпан* «подошва; подметка», с другой, монг. *т'о* «счет; число», *тофо-* в маньчж. *тофо-хон* «пятнадцать», нан. *тойнга*, эвенк. *тунга* «пять»; нивх. \**хон*/\**хон* «десять» в производных числительных — др.-тюрк. *он* «десять», туркм. *өн* «десять» ~ монг. *-ан* «десять» в названиях десятков в монгольских языках, *-хон* в *тофо-хон* «пятнадцать» в маньчжурском языке, *-хоан* в *гор-хоан* «тринадцать» в чжурчженском, *-хын* в названиях десятков в корейском<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> По мнению В. Котвича, также и в древнетюркских языках существовало лично-указательное местоимение 3-го лица ед. числа \* *и* (*н*) (В. К о т в и ч, Исследования по алтайским языкам, М., 1962, стр. 144).

<sup>28</sup> См. подробнее: В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., ч. I, стр. 204—214.

Можно усмотреть известную общность и в существительных — названиях людей и животных, а также их отдельных органов: нивх. *ар* «самец», *ир* «мать», *эр* «отец» (в.-с. д.), а также суффикс *-р/-ри*, выделяемый из состава названий ряда животных и числительных для счета живых существ<sup>29</sup> — тюрк. *ар*, монг. *эр* «мужчина; самец», монг. *аран* «простолюдин; мужчина»; компонент *-ар* многих этнонимов типа *татар*, *хазар*; нивх. *на* «зверь», «животное» (с его многочисленными производными) — монг., бурят., калм. *ан(г)*, тюрк. *ан* «зверь»<sup>30</sup>; нивх. *qa-н* «собака», *qa-х* «передовая собака на бегах» — алтайск. *тай-кан*, чаг. *тай-уан* «охотничья собака, борзая» < монг. *тайи-ган* «охотничья собака, борзая», маньчж. *тай-ла* < монг. \**тайи* «лес» + тюрк. \**кан* «собака» (Räsänen, 456), ср. также уйг. и др. *қанжуқ* ~ *қанжық*, казах. *қаншық* «сука»; нивх. *кыккык* (ам. д.), *кыкык* (в.-с. д.) «лебедь» — уйг. *коуу*, *кууу* «лебедь», ср.-тюрк. *коуу*, *ку:*, нан. *куку*, уд. *кухи* «лебедь»<sup>31</sup>; нивх. *т'ох* «лось» — монг. *токи* «лось», якут. *т'ба* «олень», *тайах* «лось», нан. *т'б*, *т'бк* «лось», маньчж. *токо* «лось»<sup>32</sup>; нивх. *ыты-к* «отец» (ам. д.) — монг. *эцэг*, калм. *эцг*, бурят. *эсэг* «отец», тюрк. *ата* «отец»; нивх. *ыз* (ам. д.), *ызг* (в.-с. д.) «хозяин» — монг., бурят., калм. *эз(н)*, тюрк. *ейе*, *ийе*, *еге*, *иди*, *изи*, нан. *эден* «хозяин»; нивх. *ту-в* «братья и сестра всех степеней родства» — монг. *дү* «младший брат; сестры», др.-тюрк. *тоу-* «рождаться», караимск. *тув-* «родиться»; нивх. *ыкы-д'* «быть старше кого-либо», *ыкы-н* «старший брат» (ам. д.), *ака-д/ака-нд* «старший брат» (в.-с. д.) — монг., бурят., калм. *ахэ* «старший по возрасту», тюрк. *ада*, *акка*, *ауа* «старший брат» (ср. др.-тюрк. *эчи* в том же значении), нан., ульч. *ага*, эвенк. *акин*, эвен. *акан*, маньчж. *ахань* «старший брат»; нивх. *ат'и-к* «младший брат» — алтайск. *ачы* «младший брат; племянник; младший двуродный брат» < монг. *ачи* «ребенок младших братьев; дядя; племянник» (Räsänen, стр. 3—4); нивх. *оола* (ам. д.), *оолн* (в.-с. д.) «ребенок», *оол-д'* (*хо-д'*, *q'o-д'*) «рождать (о животных)» — др.-тюрк. *оул* «сын, мальчик», ср.-тюрк., уйг. *оул-ан* «молодой человек, юноша»; нивх. *q'a-л* «род», *q'a* «имя», *ха-у-д'* «называть» — нан., ульч., маньчж. *хала* «род», уйг. *ка* «родственник», тув. *ха* «старший брат»; нивх. *нафд* «друг, товарищ» — монг. *найиджи* «друг, товарищ; любимый» < *наи* «дружественность; друг», ср. кит. *наи-ча* «моя жена» (Räsänen, 349); нивх. *аши* «пасть животных», монг. *ам* «рот, зев; пасть у животных»; нивх. *ынг* «рот; пасть» — монг. *ангайх* «разевать рот», *ан(г)* «трещина, щель», *анга-йи* «быть открытым», маньчж. *анга* «рот, пасть животных», чаг. *ангар* «разевать рот», туркм. *ангар* «быть удивленным», казах. *анғыр* «быть в недоумении, не зная, что делать», татар. *анара*, *ангара* «дурак», нан. *ангма* «рот», эвенк. *анга* «пасть зверя».

Из других семантических групп обращает на себя внимание близость следующих существительных: нивх. *к'эн* «солнце», *ку* «день», *к'уну* «заря; рассвет» — тюрк. *күн* «солнце; день»; нивх. *т'ыт* (ам. д.), *т'ат-н* (в.-с. д.) «утро» — др.-тюрк. *тан* «утро; утренний рассвет», ср.-тюрк. *тан*, турецк., крымско-татар., туркм. *дан* «заря», азерб. *дан-ла* «утром», чаг. *тан-ла* «утром»; нивх. *т'у-лф* «зима» — нан. *туэ*, эвенк. *туэни*, маньчж. *туэри* «зима»; нивх. *то-лф* «лето» — эвенк. *дюгани*, нан. *д'еа*

<sup>29</sup> Там же, стр. 202.

<sup>30</sup> Ср. сопоставление нивхск. *на* «зверь», «животное» с эвенским показателем *на/наэ* в составе названий некоторых животных, птиц и насекомых (например, *аси-на* «самка птицы» при *аси* «женщина; самка», *чири-наэ* «гусеница» при *чири* «красная медь»), а также с показателями эвен. числительных для счета животных *на/наэ* и эвенк. числительных *нга/нгаэ* (см.: Е. А. Крейнович, указ. соч., стр. 142).

<sup>31</sup> Е. А. Крейнович рассматривает нивх. *кыккык* «лебедь» как заимствование из тунгусо-маньчжурских языков (указ. соч., стр. 164).

<sup>32</sup> Е. А. Крейнович считает нивх. *т'ох* «лось» заимствованием из тунгусо-маньчжурских языков (указ. соч., стр. 162).

«лето»; нивх. *ари* «север» — *й-ыри-д'* (ам. д.), *й-ари-д* (в.-с. д.) «идти сзади кого-либо» — маньчж. *ар* «северный; зад; тыл», тюрк. *арт* «задняя сторона», *арда* «спина, затылок», *ары* «вслед за; назад»<sup>33</sup>; нивх. *эр-г* «сторона; в направлении»; тув., алтайск. *йар*, чаг. *йару* послелог со значением «в направлении; на»; нивх. *йа-ми* «направление вниз по течению реки» — чуваш. *ай* «нижний», *айлым* «низменность; долина», эвенк. *ейе* «низовье; течение» (Räsänen, 38); нивх. *эри* «река» (ам. д.) — монг., калм. *эрэг* «берег», калм. (разг.) *эрик/ерик* «речушка»; нивх. *тол* «море; вода» и др.-тюрк. *талуй* «море», ср. казах. *толкы* «удар волны», чаг., уйг. *толкун* «удар волны», караим. *толгун*, балкар. *толкан* «волна; вал; зыбь» ~ монг. *долги* «двигаться на волнах», *долги-йан* «волна» (Räsänen, 487); нивх. *т'адм* «вершина, макушка горы» — тув. *танды* «высокая гора; высокогорная тайга»; нивх. *пал* «гора; лес»; уйг. *бэл* «холм», турецк. *бэл* «холм; овраг; пропасть», казах. *бел* «холм»; нивх. *т'у-үр* «огонь», *ршу-вд'* «сжигать» — эвен. *тоғу*, эвенк. *тоғо* «огонь»; нивх. *ны* «вещь; дело» — *ны-д'* «делать что-либо» — др.-тюрк., ср.-тюрк., уйг. *нән* «принадлежность; имущество; вещь»; нивх. *а* «сажень», *й-а-д'* «измерять саженями» — монг., бурят., калм. *а-лд* «сажень»; нивх. *ху-ви* «связка корма для собак» — монг., бурят. *хувь/хуби*, калм. *хус* «часть; доля; порция», монг. *губи-йу*, калм. *хүвэ* «делить, распределять», тув. *хү* «часть; доля; процент», *хува* «делить; распределять»; нивх. *q'a-c* «столб» и монг. *гадас*, калм. *гасн* «кол; свая», тюрк. *казык* «кол»; нивх. *q'ол* «отопительная труба», *һол* «полость внутри чего-либо», *й-ол-кэ-ү-д'* «делать углубление» — уйг. *оғол* «сердцевина; русло», монг. *гол* «сердцевина; русло; река», нан. *һолан* «дымовая труба»; нивх. *т'э* «дрова, сложенные штабелями», *т'и-үр* «дерево; лес» и нан. *дэ*, эвенк. *дю* «дом», нан. *дэ-кан* «дрова, сложенные конусом; маленький домик»; нивх. *ос* «корень; комель» — чаг., уйг., турецк. *бз* «лучшая часть какой-либо вещи; нутро; сердцевина; сердце; сущность; сам; собственный» ~ монг. *өрө* «сердечная артерия (вена); аорта; внутреннее», *өрү* «грудь; внутреннее»; нивх. *т'ылгу* «предание», *т'ид'* «быть далеким» — монг. *төло* «шаманское гадание; ворожба», *түйхэн* «предание, история». нан. *тэлунгу*, уд. *тэлунгу* «предание»<sup>34</sup> и др.

В области глаголов и других лексико-грамматических разрядов слов можно отметить следующие нивхско-алтайские параллели: нивх. *алоҗалоҗ-д'* «быть пятнистым, пестрым» — монг. *алад* «рябой; пятнистый», калм. *алг* «пестрый», ср.-тюрк. *а:ла, ала* «пестрый; пегий», маньчж. *алһа* «пестрый», нан., ульч. *алһан* «пестрый»; нивх. *харп-т'* «царапать», *q'арп* «копыто» — монг. *хару-р* «скребок», *qар-у* «копать; скрести», маньчж. *qарqа* «царапать; скрести»; нивх. *хыз-д'* «копать», общетюрк. *qаз-* «копать»; нивх. *ва-д* «обвязывать; связывать, перевязывать», *ваз-ү-д'* «присоединять; скреплять что-либо одно с другим», *па-с* «бинт; тряпка для перевязи», др.-тюрк. *ба-* «связывать; завязывать»; нивх. *ул-д'* «быть высоким» — монг. *үла* «гора», кирг. *үлжөн* «высокий; большой; великий», др.-тюрк. *улүү* «большой, великий», др.-монг. *улэгу* «величественный; избыточный»; нивх. *ал-в-рэд'* (ам. д.), *ал-үад* (в.-с. д.) «оглядываться; смотреть назад», *ал-в-эрг* (ам. д.), *ал-үа-ф* послелог «за; сзади», ср. др.-тюрк. *ал* «пространство (место) перед чем-либо», у желтых уйгур *ал* «перёд; лоб»; нивх. *ыйү-д'* (ам. д.), *айү-д* (в.-с. д.) «течь», уйг., ср.-тюрк. *ақ-* «течь; стремиться», караим.-трок. *ақ*, чуваш. *йоқ*, *йүх* (> марийск. *йоү*), турецк. *ак-ыт* «позволять течь»; нивх. *зу-д'* «мыть что-либо», ср.-тюрк., уйг. *йу*, казах.

<sup>33</sup> Е. А. Крейнович считает нивх. *ари* «северный» заимствованным из тунгусо-маньчжурских языков (указ. соч., стр. 158).

<sup>34</sup> По мнению Е. А. Крейновича, нивх. *q'a-c* «столб», *q'ол* «отопительная труба», *т'ылгу* «предание» являются заимствованиями из тунгусо-маньчжурских языков (указ. соч., стр. 162, 164).

жү-, балкар. зү-, чуваш. сү-~ сыв «мыть»; нивх. и-γ-δ' (ху-δ', к'у-δ') «убивать»—др.-тюрк. кыд «уничтожать», уйг. кыд-«нападать», турецк., казах. кый-«уничтожать»~ монг. киду «уничтожать»; нивх. му-δ' «болеть»— ср.-тюрк. муң «болезнь»; нивх. ит-т' «говорить», т'и-ф' «слово», др.-тюрк. тә- «сказать»; нивх. q'ав-δ «быть горячим», хав-у-δ' «согреть»— чаг., казах., алтайск. кала- «разжигать», тув. халын «жара» < монг. дала- «становиться горячим; жечь» (Räsänen, 224); нивх. й-ур-δ' «следовать за кем-либо»— уйг. уд- «следовать, преследовать» ~ монг. уду «преследовать зверя» (Räsänen, 509); нивх. т'а-δ' «дышать» — ср.-тюрк. ть-н «дыхание», уйг. тын «дыхание; жизнь»; нивх. тын-з-δ' «весить»— тынз «вес», ср.-тюрк. тәнг «равный», уйг. тәнг «равный, одинаковый; весы», монг. тенг «равновесие, равенство» (Räsänen, 473); нивх. полм-δ' «быть слепым» — якут. балай, бала «слепой» < монг. балай «темный; глупый, слепой» (Räsänen, 59); нивх. эна-δ' «другой» — южно-уйг. ынгар «другой; отличный; различный»; нивх. т'ама-δ' «быть неподвижным, спокойным»— тув. томар(ы)- «смиряться», томан «смирный» < монг. тома-гара «становиться разумным»; томаган «постоянный, неизменный, надежный» ~ маньчж. томо «усесться, крепко сидеть» (Räsänen, 487); нивх. т'хы послелог «на; сверху» — др.-тюрк. таγ «гора», и мн. др.

Приведенные здесь нивхско-алтайские грамматические и лексические параллели (а их число можно увеличить) таковы, что они дают основание говорить если не о генетическом родстве нивхского и алтайских языков, то, по меньшей мере, об их сродстве, приобретенном в результате давних и длительных контактов. А если так, то привлечение нивхского языка может дать немало полезного при сравнительно-исторических исследованиях алтайских языков, а использование данных алтайских языков — при соответствующем изучении нивхского, а также для изучения прошлого состояния этих языков<sup>35</sup>.

Нивхи выделяются антропологами в особый сахалино-амурский антропологический тип, который определяется ими как результат взаимодействия северных и южных монголоидов. А. П. Окладников отмечает тесные связи материальной культуры Приамурья и Юго-Восточной Азии начиная с неолита и даже считает возможным определять материальную культуру Приамурья периода неолита как южную по своему характеру. «В то время как в Байкальском районе, — писал он, — развивалась действительно северная, сибирская, в собственном смысле этого слова, культура, на Амуре в неолите была несомненно южная культура, с тихоокеанскими связями и, быть может, происхождением. Она вдавалась клином вдоль одной из величайших рек нашей части света в глубь северо-восточной Азии как прямое продолжение культур островного мира, окаймляющего восточную и юго-восточную Азию»<sup>36</sup>.

Языковые данные также свидетельствуют о наличии в прошлом связей между населением Приамурья и Юго-Восточной Азии, о давних связях нивхского языка с такими языками, как китайский, бирманский, качинский и другие, на чем, однако, мы предполагаем остановиться позднее в специальной работе.

<sup>35</sup> Автор благодарит за ценные замечания по статье и консультацию по материалам тюркских и монгольских языков Т. А. Бертагаева, Э. В. Севортяна и Э. Р. Тенишева.

<sup>36</sup> А. П. О к л а д н и к о в, Неолитические памятники как источники по этнологии Сибири и Дальнего Востока, стр. 12.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. А. СЛЮСАРЕВА

## ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

Конец 60 — начало 70-х годов XX в. можно назвать периодом бурного развития теории лингвистической семантики. После более чем тридцатилетних попыток постичь тайны языка, отправляясь от плана выражения, была окончательно осознана тщетность этих усилий и лингвисты обратились к детальному рассмотрению содержательной стороны языка.

Однако, кроме лингвистики, семантика рассматривается также такими науками, как психология (как вариант — психолингвистика) и философия, не говоря уже о логике и некоторых других дисциплинах. Поэтому неудивительно, что повсюду выходят труды, авторы которых стараются определить место этой своеобразной дисциплины, ее границы, предмет и задачи. Не подлежит сомнению, что не кто иной, как лингвисты, должны сказать свое веское, а может быть, даже решающее слово в этой полемике, так как кроме них никто не обладает глубоким знанием тонкостей языка не только как важнейшего средства человеческого общения, но и как непосредственной действительности мысли. И языковеды, как в нашей стране, так и за рубежом, все чаще и чаще публикуют большие и интересные труды, посвященные теории семантики<sup>1</sup>.

В современной зарубежной науке о языке наметились по меньшей мере три основных направления, разрабатывающие проблемы лингвистической семантики. Поскольку идеи Н. Хомского нашли очень большой резонанс, назовем первым то, которое восходит непосредственно к нему — труды Дж. Каца и Дж. Фодора, Дж. Лайонза, М. Бирвиша и др. Второе направление представлено учеными, которые строят свои теории на основе критики идей Н. Хомского и его последователей, — Ч. Филлмор, У. Чейф и др. Наконец, последнее (но «last but not least») связано с именами ученых, которые развивают свои концепции, исходя из традиции европейской науки, и представляют соответствующие национальные линии — французскую, итальянскую, немецкую, голландскую и др. В большинстве своем они скептически относятся к формализации в области содержания и тоже критикуют американский вариант семантики.

Труды двух представителей этой группы — Ж. Муэнна (Франция) и Т. Де Мауро (Италия)<sup>2</sup> — еще не привлекали достаточного внимания наших ученых, а между тем их исследовательская работа в области семантики заслуживает самого пристального наблюдения, ибо их размышления весьма близки ученым нашей страны, а их книги написаны в своеобразном общем ключе.

<sup>1</sup> Интересный обзор некоторых семантических теорий сделан Л. М. Васильевым в работе «Теория значения в лингвистической литературе» (ФН, 1971, 4).

<sup>2</sup> G. M o u n i n, Clefs pour la sémantique, Paris, 1972; T. D e M a u r o, Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica, Bari, 1971 (далее ссылки на стр. этих книг даны в тексте).

Общность обеих работ объясняется прежде всего сходством национальных научных традиций, отраженных в них. Труд Ж. Мунэна, написанный почти через столетие после «Очерка семантики» М. Бреалья, успешно продолжает его линию, представленную А. Мейе, Ж. Вандриесом и другими французскими учеными, рассматривающими язык, с одной стороны, как социальное явление, а, с другой, как знаковую систему.

Концепция Т. Де Мауро сложилась в рамках национальной традиции рассмотрения языка как культурно-исторического явления, идущей от Ж.-Б. Вико к Б. Кроче и А. Пальяро. Обе книги отражают развитие идей их авторов, высказанных в предыдущих трудах<sup>3</sup>. Сходство двух книг выявляется даже в их структуре: они включают как теоретические главы, так и обширный материал исследований.

В центре внимания обоих авторов находятся проблемы семантической структуризации лексики, и естественно, что в качестве основной единицы анализа выступает слово как языковой знак. Предпосылкой теоретического подхода является теория Ф. де Соссюра и признание расчленения содержательной стороны на существенные (дистинктивные) признаки (франц. *traits pertinents*, итал. *tratti pertinenti*)<sup>4</sup>, а базой рассуждений является то, что «семантический опыт основывается целиком на возможностях человеческих действий»<sup>5</sup>. В этих работах, подобно работам советских ученых А. А. Уфимцевой, В. М. Солнцева и др., анализ содержательной стороны связывается со словом и только со словом. Мы полностью поддерживаем то, что все дальше и дальше в область предания уходят попытки рассматривать морфему в качестве основной единицы системы языка.

Любой исследователь содержательной стороны языка сталкивается прежде всего с двояким определением семантики — как раздела науки и как совокупности объектов исследования. Строгое словоупотребление в этом случае чрезвычайно важно, так как и то, и другое ставит очень большие трудности, прежде всего потому, что, с одной стороны, ни одна другая часть языкознания не испытывает столь мощного соприкосновения с другими науками, а, с другой стороны, ни один объект его не очерчен менее четко.

Де Мауро замечает по поводу семантики как раздела лингвистики, что эта область была мало известна и большинством исследователей была не очень хорошо принята, поскольку после работ школы Блумфилда рассматривалась как мало научная (стр. 5). Мунэн тоже отмечает это и добавляет, что исключенная из лингвистики семантика была отдана психологии (бихевиоризм), культуроведческой антропологии (американская школа), логике (Рассел, Карнап и др.) и социологии (Берельсон, Леви-Стросс и др.). Мунэн пишет, что лингвисты замечают разницу между их семантикой и семантикой социологов, у которой все иное: и предмет, и проблемы, и методы анализа и, главное, другие единицы анализа. Нам кажутся весьма верными слова Мунэна: «Начиная с Леви-Стросса,

<sup>3</sup> См.: G. M o u n i n, *Les problèmes théoriques de la traduction*, Paris, 1963; e г o ж e, *Clefs pour la linguistique*, Paris, 1968; e г o ж e, *Introduction à la sémiologie*, Paris, 1970; T. D e M a u r o, *Introduzione alla semantica*, Bari, 1965, а также прекрасные комментарии Де Мауро к итальянскому изданию соссюровского «Курса общей лингвистики» (перевод этих комментариев на французский язык осуществлен в кн.: F. de S a u s s u r e, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1972, стр. 319—477).

<sup>4</sup> Оба автора употребляют преимущественно этот термин, введенный Л. Прието; Ж. Мунэн объясняет, что предпочитает этот термин, так как он подсказывает изоморфизм с фонологией, а другие (сема, семема, фигура плана содержания и др.) ставят под сомнение такой изоморфизм (стр. 122). Думается, однако, что автор не совсем прав, ибо термин «сема» стоит в одном ряду с терминами «фона», «морфа», а «семема» — наряду с «фонема», «морфема».

<sup>5</sup> T. D e M a u r o, *Introduzione alla semantica*, стр. 203.

многие социологи думают, что структурная лингвистика в виде ф о н о л о г и и, может быть ведущей дисциплиной. Однако пример самого Леви-Стросса доказывает, что методы структурной лингвистики не могут быть в целом перенесены в социологию» (стр. 31).

Несомненно (и это доказывают обе книги, как и многие другие, вышедшие за последнее время) что настало время отграничения лингвистической семантики от семантики отражения, т. е. области, входящей в ведение философии, логики, психологии и т. п. Совокупность объектов лингвистической семантики — слова каждого конкретного языка и их сочетания с номинативным значением, рассмотренные с содержательной стороны. Семантика отражения должна заниматься, по нашему мнению, возможностью отражения в сознании особенностей реального мира как основы познания, не будучи связанной данными определенных языков, т. е. заниматься анализом содержательной стороны *in abstracto*. Семантика отражения, рассматриваемая со стороны индивида, естественно, отходит к области психологии. Семантика отражения в широком смысле должна составить часть теории познания, т. е. войти в философию. Работы в области лингвистической семантики будут поставлять основной материал для семантики отражения, как в общем оно и было, но без достаточного размежевания областей.

В книгах Мунэна и Де Мауро намечены задачи лингвистической семантики. Де Мауро говорит о наиболее важной и актуальной задаче семантики: «... определить самым удовлетворительным образом значение лексической единицы» (стр. 21), а Мунэн расширяет эту задачу до назначения всей лингвистики, которая должна «... проанализировать, каким образом значение манифестирует содержание, каким образом язык выступает в качестве формы знания, как лингвистическая семантика отражает нелингвистическую семантику логики опыта» (стр. 217). Такая широкая постановка задачи, естественно, заставляет французского ученого еще во введении сказать, что в настоящее время «... в структурной семантике невозможно представить ничего другого, кроме противоречивых гипотез и фрагментов спорных теорий» (стр. 6). Это верно, но, по нашему мнению, задача — каким образом значение манифестирует содержание (смысл) — лишь частично является лингвистической, а задача — каким образом язык выступает в качестве средства накопления, хранения и передачи знания — отходит целиком к области семантики отражения и не является собственно лингвистической. Думается, что смысл как совокупность связей, устанавливающихся в сознании человека в результате его отражательной деятельности, находит выражение в значении слова как категории языка. При этом, анализируя возможности выражения смысла в значении слов (смысл может быть выражен и другими средствами языка), необходимо принимать во внимание два «поправочных коэффициента» — на совокупность опыта данного общества (народа) и на знания и опыт индивида. Составители словарей и переводчики на практике хорошо знают это.

Если определение области науки — семантики — и ее задач вызывает такие трудности, то вполне понятно, что еще большие сложности представляет собой уточнение семантики — как объекта изучения.

По Мунэну, это — структуризация содержания мысли, отражающая общую картину человеческого знания, т. е. полная систематизация всех наук и всего опыта данной цивилизации (стр. 63); это, как мы видим, опять-таки далеко выходит за пределы лингвистической семантики. Правда, ниже Мунэн в своей исследовательской работе сужает эту широчайшую задачу до установления существенных (дистинктивных) признаков определенных групп слов.

Определение семантики как объекта опять-таки сближает обе работы, которые вызвали ряд наших размышлений, так как в общем оба ученых занимаются семантической стороной лексики, однако в этом же выявляется и различие обоих исследований.

Де Мауро начинает с теоретического расчленения объекта лингвистической семантики. Во-первых, он вводит два параллельных ряда терминов, исходя из противопоставления языка и речи (о них мы скажем ниже). Во-вторых, в пределах каждого ряда он выделяет общеречевое значение (*significato del discorso*), фразовое значение (или значение абзаца), а также значения предложения, синтагмы и отдельной лексической единицы, находящиеся в иерархическом соподчинении, и в конечном счете основывающиеся на последнем. Поэтому-то и задача лингвистической семантики определяется как изучение значения лексической единицы (стр. 21), с чем можно полностью согласиться.

Вначале термин *significato* («значение; означаемое») употребляется Де Мауро без уточнения, но далее говорится, что сущность (содержание) лексической единицы в свою очередь складывается из четырех типов ценности (*valore*): 1) референциальной, или назывной (способность относиться к области опыта, т. е. выражать отношение «референт — имя»); 2) прагматической, или оценочной на уровне языка (способность выражать отношение говорящего к референту, то самое, что со времени Пор-Рояль называется стилистической ценностью); 3) стилистической или уровневой ценности (способность сигнализировать уровень языка с точки зрения отношения к разговорному языку, техническому, деловому, фамильярному, прозаическому, поэтическому и т. п.); 4) системно-структурной (способность сочетаться с другими единицами в структуре фразы в зависимости от намерений говорящего). Эти ценности рассматриваются как четыре измерения сущности лексической единицы. Далее Де Мауро разделяет термины «смысл», «значение», «означаемое» и «ценность».

Смысл, или значение (*sensu o significazione*) носит индивидуальный характер, появляется в каждом акте речи и представляет собой состояние опыта, выявляющееся в звучании, т. е. он соотносим с речью. Значению соответствует означаемое (*significato*), являющееся не конкретной единицей, а классом смыслов (стр. 89). С эвристической точки зрения Де Мауро представляет означаемое как схему соотношения значения и звучания, подчиняющегося эмпирической диалектике, но не метафизике; эту схему, пишет Де Мауро, мы не постулируем, а реконструируем *a posteriori* (стр. 81).

Именно лингвистический знак (слово и ипосема, т. е. морфема), состоящий из означаемого и означающего, будучи членом системы, обладает ценностью (*valore*), эвристически определяемой (а) по отношению конституирующих его элементов и (б) по отношению к другим знакам системы. Де Мауро особо подчеркивает, что изучение ценности ипосем является альфой современной лингвистики (стр. 84), но в своих исследованиях занимается только словами и их содержанием.

Введение ряда импликаций в виде терминов: звук, значение, означающее, означаемое, монема (по Фрею — элемент означающего), ноэма (по Прието — элемент означаемого), знак, ипосема (по Лучиди — минимальный знак, т. е. морфема в распространенной у нас терминологии) — Де Мауро объясняет биологической организацией человека, поскольку его мозг обладает способностью ассоциировать, анализировать, различным образом координировать и запечатлевать выделенные элементы (стр. 85). Построенная таким образом модель языка теоретически стройна, однако, практическое применение ее в целях изучения семантической структуры не подтверждается в исследовательской части книги, написанной скорее в духе традиционной филологии, чем структурной лингвистики.

Подзаголовок книги Де Мауро «Исследования теоретической и исторической семантики» странным образом резко ее разделил: обе части оказались разобщенными. Не возражая против, а, наоборот, поддерживая необходимость исторического рассмотрения лексики и развития значений, все же скажем, что, если в области фонологии и морфологии динамический характер системы языка с трудом удается показать, то в области лексики, по-видимому, к выполнению этой задачи наука даже не подошла, так как системность лексики с синхронической точки зрения еще вызывает у многих большие сомнения. Сама книга Де Мауро тому блестящий пример, так как в ней приведен анализ слов *класс*, *демократия*, названия д а т е л ь н о г о п а д е ж а (πῶσις δότης) и слов, обозначающих и с к у с с т в о и его критику как некоего технического языка (небольшое семантическое поле, состоящее из 19 существительных, трех прилагательных и одного глагола). Чрезвычайно детальный анализ этимологии всех этих слов, примененных у отдельных авторов (от античности до наших дней), показ роли отдельных лиц во введении этих слов в обиход, анализ статистики использования и дефиниций в разных текстах делают эту часть книги Де Мауро чрезвычайно ценной в культурно-историческом, общепилологическом и лингвистическом отношениях. Разобщенность же с первой частью проявляется в том, что схема терминов, данная в ней, совершенно не используется во второй части. Более того, несмотря на требования четкого разграничения з н а ч е н и я, о з н а ч а е м о г о и ц е н н о с т и при анализе фактического материала, Де Мауро применяет эти слова не строго терминологически, а чаще всего как синонимы.

Между тем как раз в диахронической семантике интересно проследить соотношение значения и ценности (valeur), ибо не только в сдвиге отношений означаемого и означающего проявляются изменения в лексике. Появление заимствованных слов — синонимов приводит не к изменению значения, а к колебаниям в ценности этих слов, что ведет либо к вытеснению одного из слов, либо к их стилистическому размежеванию (примеры тривиальны, поэтому мы их опускаем).

Модель языка, предложенная Де Мауро, еще не стала инструментом изучения языка, и обе части его книги еще не приведены к общему знаменателю. Однако сущность языка такова, что мы можем и должны строить его модели, проверяя их на практике исследований и этим познавая необыкновенный объект общественной практики человека — его язык.

Можно избрать и противоположный путь и идти от исследовательской практики к теории, или совмещать их, чередуя. Последняя возможность как раз и продемонстрирована в книге Муэнэ. Пользуясь в основном традиционной терминологией, он занимается двумя тесно связанными проблемами: системным характером лексики и установлением компонентов значения слов (traits pertinents), в связи с чем он задумывается над методами анализа лексики и проверяет их.

В настоящее время весьма животрепещущим является вопрос, какая из моделей больше подходит к описанию лексики — модель системы или модель поля. Идея Соссюра, что слово не является изолированной единицей, дает возможность предполагать, что репертуар лексических единиц организован и некоторым образом классифицирован и, пишет Муэнэ: «...правила такой классификации и есть то, что называется структуриацией лексики; и ничто другое, и ничего более» (стр. 108). Принципы классификации лексики, несомненно, разнородны, как разнородна и методика анализа, выявляющая их. По-видимому, в свое время термин «поле» не случайно был введен Триром, поскольку в нем, с одной стороны, подчеркивается некоторое отграничение, а, с другой стороны, — своеобразие

внутренней организации предмета. Однако этот термин подсказывает и противопоставление системе, четко выявляющейся в морфологии и фонологии. Мунэн неоднократно ставит закономерный вопрос: «лексика — поле или система?» и пытается выявить изоморфизм всех трех уровней языка на основе установления дистинктивных признаков слов.

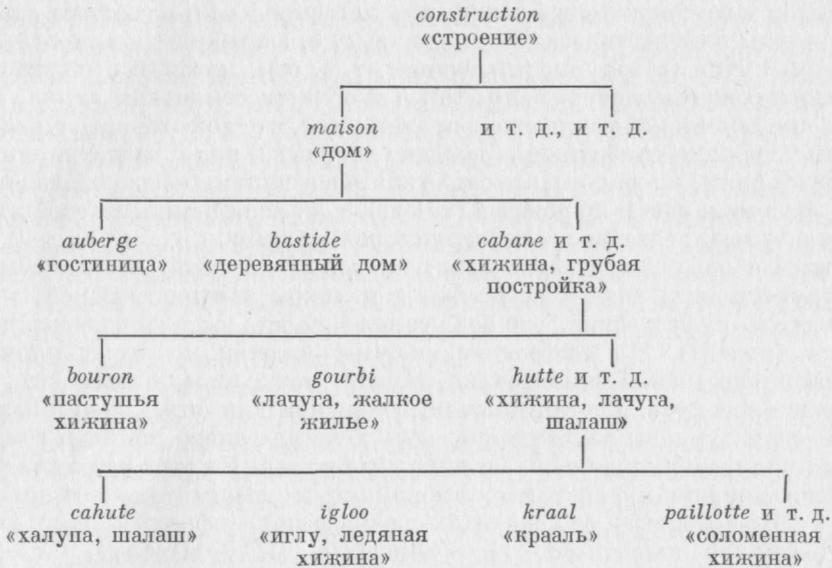
Понятие семантического поля вызывает у Мунэна большие сомнения, поскольку оно не является лингвистическим, а восходит к концептуальной эмпирической сфере, и с этим нельзя не согласиться. Термин «система» по отношению к лексике также вызывает у него сомнения, поскольку Мунэн склоняется к мысли А. Мейе о том, что возможно выделение и изучение как систем лишь малых лексических групп, что выделение системы в лексике сильно отличается от этой процедуры в фонологии и морфологии. Мунэн выдвигает положение, что «в семантике больше, чем где-либо в данной момент, какой-либо прогресс может быть достигнут лишь в работе над конкретными проблемами на материале естественных языков», и приходит к заключению, что «еще не наступило время сбора частичных результатов в пределах удовлетворяющего всех большого синтеза» (стр. 187). Структурация лексики ставится Мунэном в зависимость от вычленения мельчайших компонентов значения у отдельных лексических единиц, подобно тому, как в фонологии пучки дифференциальных признаков определяют фонемы. Эта первая предварительная операция оказывается чрезвычайно сложной и проверяется Мунэном и его учениками в ракурсе трех методик.

Он начинает с проблемы определения значения слова по контекстам его употреблений в трудах одного автора, а именно — слова «система» у А. Мейе; одновременно Мунэн хотел выяснить, следовал ли Мейе определению системы, введенному Соссюром. Выводы оказались ошеломляющими, так как Мейе в работах, предназначенных для лингвистов, использовал слово «система», ни разу не дав его определения («фонетическая система», «грамматическая система», «система языка» и т. п.). Это не дало возможности понять, в каком значении оно употреблялось, но зато позволило сказать, что Мейе не испытывал влияния «Курса общей лингвистики»<sup>6</sup>. Помимо историко-лингвистической, была решена еще и семантическая задача, которая в свое время достаточно широко дискутировалась под непосредственным воздействием дескриптивной лингвистики, провозгласившей значение функцией дистрибуции. Мунэн думает, что если бы через тысячелетие кто-либо, имея лишь два тома Мейе («Linguistique historique et linguistique générale»), захотел определить, в каком значении лингвисты XX в. употребляли слово «система», он не смог бы этого сделать. Мунэн пишет, что известная в свое время формула Мейе о том, что смысл слова представляет собой средний результат его использований, была важна в классической филологии, но теперь вполне ясна ее ограниченность. К этому выводу следует присмотреться, так как он подтверждает известное с давних пор интуитивное ощущение того, что слово имеет значение вне контекстов и может быть задано дефиницией.

Этот путь подхода к определению содержания лексической единицы также проверяется Мунэном на материале сравнения всех слов, обозначающих «прибежище, жилище», выбранных из словарей Petit Larousse (1962) и Quillet (1957). Мунэн считает, что дефиниции обычно представляют собой совокупности дистинктивных черт (*traits pertinents*), например, *paillette* «соломенная хижина» определяется тремя чертами: [cabane — «хижина»] + [из соломы] + [в теплых странах], а слово *cabane* опреде-

<sup>6</sup> Ср.: Н. А. С л ю с а р е в а, Критический анализ лингвистической концепции Ф. де Соссюра. Докт. диссерт., М., 1969.

ляется двумя чертами [*maison* «дом»] + [грубая постройка] и т. п. Общая картина такой структуриации лексики может быть представлена в виде дерева типа (стр. 114):



Интересно отметить, что деревья, построенные по описанному принципу для двух словарей, оказались не изоморфны, главным образом из-за того, что, как выяснилось, в словаре Ларусс использовались четыре первичные дистинктивные черты, а в словаре Кийе — всего две, а эти первоначальные черты в свою очередь по равному определяли лексические единицы. Так, например, на основе слова *maison* «дом» в словаре Ларусс определено 29 слов, а в словаре Кийе — 23, причем из них лишь 16 являются общими. Таким образом, выявляются многочисленные, иерархически организованные оппозиции, которые интуитивно хорошо известны каждому и которые помогают разлагать означаемое на более мелкие единицы значения, что дает возможность структурировать лексику не по означаемым, а по семам, входящим в определение лексических единиц, т. е. проводить формальный анализ. Мунэн обрисовывает и ряд трудностей этого пути анализа: ограниченность рамками определенной области лексики, наложением разных подсистем друг на друга (например, слово «монастырь» относится и к подсистеме «жилище» и к подсистеме «религиозные постройки»), сложность установления иерархии дистинктивных черт («интернат» — «место жительства, где и учатся» или «место учения, где и живут»). В заключение тщательнейшего и весьма интересного анализа Мунэн ставит основной вопрос: является ли лингвистической реальностью подобной структуриации? (стр. 127). Однако прямого ответа в его книге мы не находим.

Уместно обратить внимание на то, что перечисляемые Мунэном дистинктивные признаки — тип сооружения, характер постройки, назначение постройки, место постройки и т. п. — несомненно не являются лингвистическими, а относятся к семантике отражения. Вследствие этого семантическая структуриация составляет предмет и задачи, выходящие за пределы лингвистики, тогда как лексическая структуриация в пределах каждого конкретного языка составляет одну из задач науки о языке. Семантические признаки, группируясь различным образом в разных языках,

образуют содержание лексических единиц, подобно тому, как фонетические (акустические и артикуляторные) признаки составляют единицы фонологического уровня — фонемы, устанавливаемые для каждого отдельного языка. Строгое (по возможности) разграничение лингвистической семантики и семантики отражения, предлагаемое нами, позволяет сказать, что единицы лингвистической семантики, т. е. значения слов, представляют собой пучки (совокупности) единиц, т. е. сем, которые относятся как к области семантики отражения, так и к области семантики языка. Трудности определения значений слов проистекают, с одной стороны, из-за того, что структурация семантики отражения покоится пока на интуиции, а, с другой стороны, из-за того, что слово как член системы языка обладает, помимо значения, еще и ценностью (*valeur*), т. е. реляционными свойствами, которые тоже связаны с перегруппировкой сем.

Таким образом, предлагая ответ на вопрос Мунэна, мы скажем, что эта структурация, хотя и не является целиком лингвистической, тем не менее столь существенна, что без нее невозможно выделение лексических пластов (полей?). Но построение системы лексики по этому принципу действительно весьма сомнительно. Мунэн, прекрасно понимая это, пробует еще один путь. Третий цикл исследований для определения возможностей структурации лексики проведен тоже на основе понятия семантического поля, но выделенного по корпусу текстов. На этот раз были взяты названия домашних животных, выбранные из шести томов серии «*Que sais-je*» («Что я знаю»), отражающих среднюю норму французского языка: I — «Домашние животные», II — «Лошадь», III — «Пчелы», IV — «Общества животных, общества людей», V — «Названия растений», VI — «Происхождение культурных растений». По этому корпусу — около 200 000 слов текста — была установлена частотность исследуемых слов, естественно, колеблющаяся в зависимости от содержания тома (в V томе она равна 0). Первая проблема, которая встает перед исследователем — это проблема отграничения данного поля. Мунэн пишет в связи с этим: «Настаивать на том, что семантическое поле не определимо при помощи чисто лингвистической процедуры, это не то же самое, что отказываться от обращения к смыслу при лингвистическом анализе» (стр. 131). И добавляет, что эту исходную позицию нельзя забывать: «... когда мы объединяем означающие *лошадь, конь, кобыла, жеребец, жеребенок* в пределах одного поля, мы делаем это исключительно на основе нелингвистического опыта, так как осознаем биологическое отношение между соответствующими означаемыми» (там же).

Выделив данное семантическое поле на основе, как бы мы сказали, семантики отражения, Мунэн затем переходит к установлению оппозиций слов в пределах данного поля, сосредоточив анализ на более узком поле «сельскохозяйственные животные» (*les animaux de la ferme*). Такое ограничение вызвано тем, что попытки работать в более широких пределах все время выводили за пределы лингвистики, как, например, в оппозициях: домашние животные/дикие животные; домашние/прирученные; домашние/полудикие; домашние/полудомашние; домашние/одичалые и т. п. Анализ по дефинициям тоже мало помог, так как дефиниция «домашние = прирученные» (словарь *Larousse*) позволяет включить *обезьян*, но не *кроликов*; дефиниция «домашние = живущие вблизи человека» (словарь *Quillet*) позволяет включить *белых мышей, черепах* и т. п. Научные дефиниции тоже мало что дали, так как «вскормленные человеком» и «полезные для человека», как замечает Мунэн, подходят и к *культурам микробов*.

Мунэн делает вывод, что общая совокупность существующих в мире и осознаваемых связей далека от полной лексикализации, с одной сторо-

ны, из-за того, что жизнь развивается быстрее лексики, а, с другой стороны, произвольность знака покрывает весьма различные явления, и слушающий в определенной ситуации понимает, к чему относится данный знак (когда говорят, например, о *домашнем слоне* или о *прирученной белке*). Таким образом, заключает он: «понятие *домашние животные* является эмпирическим, а его сложная логическая структура является продуктом длительной истории и не совпадает строго ни с языковым использованием, ни с совокупностью животных, определяемых по пяти (зоологическим.— Н. С.) критериям» (стр. 144). Отсюда Мунэн делает вывод, что нет строгих границ у семантического поля.

Все это заставляет Мунэна сказать, что концептуальное поле не покрывается полностью лексическими единицами и что следует отказаться от применения термина «поле» а priori и вернуться к понятию системы, доказав, что правила, по которым строится фонетическая и морфологическая системы, действительны и для семантической структуризации лексики, а семантическое поле может определяться а posteriori как совокупность взаимосвязанных семантических систем.

Для этого из общего поля «домашние животные» было взято не вызывающее сомнений поле «сельскохозяйственные животные» (*les animaux de la ferme*), члены которого отвечали определению типа «осел — это домашнее животное, так как с давних пор воспроизведение этого вида происходит обычно под наблюдением человека». Таким образом, соблюдается двойная процедура: логика дает дефиницию, а лингвистика обеспечивает возможность коммутации (стр. 148).

Все возможности коммутации Мунэн связывает с определением по семи дистинктивным признакам, установленным, естественно, на базе биологических данных и сведенных в таблицы:

- 1) A (m) — есть мужская особь вида A
- 2) A (e) — есть женская особь вида A
- 3) A (j) — есть детеныш A (e) и A (m)
- 4) A (n) — характер помета детенышей у A (e)
- 5) A (p) — название процесса рождения детенышей у A (e)
- 6) A (c) — название специфического крика у A
- 7) A (l) — название особого места, где укрываются (живут) A.

Такие таблицы позволяют создать подлинную структуриацию, члены которой представляют собой парадигмы, т. е. системы, коррелирующие друг с другом, и, следовательно, каждая единица, входящая в ее состав, отличается только одним дистинктивным признаком, как в фонологии. Такое распределение дополняет возможности деривационного поля (типа *осел — ослица*), так как покрывает пустые клетки последнего (типа *бык — корова*), но и тут остаются незаполненные места при отсутствии, например, особых наименований для детенышей и т. п. Эти аномалии разъясняются лишь в диахронии и позволяют сказать, что биология не является единственным принципом структуриации в данной области лексики.

Другой принцип Мунэн называет зоотехническим. Различие: *sanglier — laie — carcassin* («кабан — кабаниха — кабаненок») и *rat — rate — raton* («крыса-самец, крыса-самка, крысенок»), с одной стороны, и отсутствие различия у слов *ласточка, голубь*, с другой, по его мнению связано с тем, что мы не разводим птиц, называемых этими словами и не используем их; точно так же возникают и слова, связанные с воспроизведением животных (русск. *ожеребиться, окотиться, оягниться*), с уходом за животными (ср. русск. *покрыть, скрестить, супоросая свинья*), с их размещением (ср. русск. *конура, стойло, овчарня*).

Еще одно семантическое поле связано с продажей: *poussin d'un jour* — «однодневный цыпленок» и т. п.; еще одно поле явно выделяется —

наименование мяса домашних животных: *молочный поросенок и теленок* (*du cochon du lait, du veau du lait*), *телятина, говядина* и т. п.

И, наконец, последнее поле связано с кухней из мяса домашних животных: *poule au riz* — «курица с рисом», *coq-au-vin* — «петух в вине», *poulette* — «курица под белым соусом» и т. п. Помимо этого, существуют еще обобщающие лексические единицы типа *cheptel, basse-cour* (ср. русск. скот, домашняя птица)<sup>7</sup>.

Анализ указанных семантических полей позволяет Мунэну сказать, что и формула Мартине, выдвинутая им в 1958—1960 гг. о том, что слово не имеет никакого значения вне контекста, может в настоящее время лишь парализовать исследования. В этом нельзя с ним тоже не согласиться.

В результате анализа трех подходов к структуризации лексики Мунэн приходит к оптимистическому и совершенно справедливому выводу, что, несмотря на трудности, подобные исследования необходимо продолжать, так как только при помощи тщательного изучения «малых групп лексики» (Мейе) можно проверить, системна ли лексика, и «если, напротив, однажды раскроется истина, что между формальной лингвистикой, с одной стороны, и семантикой, с другой, существует теоретически непреодолимая пропасть, и то, что лингвистика не может считаться единой наукой, то в целом наука о языке не только ничего не потеряет, но сделает шаг вперед» (стр. 160).

Думается, что существующая пока «пропасть» между формальной лингвистикой и семантикой кажется непреодолимой вследствие недостаточной разработанности последней. Асимметричность двух планов — содержания и выражения — осложняется, как известно, вследствие туманных границ первого. Тем не менее, напрашивается необходимость разграничения семантики отражения, которая является базой для выделения семантических (концептуальных) полей, и лингвистической семантики, которая в пределах каждого языка обуславливает структуризацию лексики и связана с тем, что И. А. Бодуэн де Куртене называл «языковым мышлением».

Семантика отражения в качестве крупнейших единиц оперирует результатами отражения в сознании людей объективно существующего мира, так сказать базовыми понятиями, которые сформировывались на протяжении истории человечества. Поиск сем (семантических множителей, семантических функций), общих для ряда языков, по-видимому, направлен именно в эту область, хотя создается впечатление, что раскрываются мельчайшие единицы значения. В этом проявляется диалектика познания: чем меньше семантическая единица, тем больше ее объем, тем универсальнее она реализована в языках; противопоставление «самец — самка — детеныш» выступает в качестве выявления минимальных семантических признаков, но всеобъемлюще как категории, свойственные животному миру, включая человека. Это противопоставление неоднозначно реализуется в языках, использующих весь арсенал номинативных средств: то это деление не выявляется совсем (например, русск. *ласточка*), то выявляется в двумерной оппозиции (например, *голубь — горлица*), причем одно из слов является одновременно родовым наименованием, то используются дополнительные морфологические средства (англ. *she-goat, he-goat*) и т. п. При общности чередований основного времени приема пищи в русском языке противопоставляются *завтрак — обед* —

<sup>7</sup> Последние примеры показывают отсутствие различия в русском и французском языках, поскольку культура народов развивалась в тесном взаимодействии, что еще раз подтверждает необходимость противопоставлять общность семантики отражения и специфику семантики отдельных языков.

ужин (устарев. *полдник*), а в английском языке *breakfast — lunch — dinner — supper* (не говоря уже о разном характере количества и качества еды), т. е. сказываются национальные традиции и обычаи. Это позволяет еще раз обратиться к проблеме «поправочных коэффициентов» и при анализе семантики отражения. Что же касается лингвистической семантики, то поправка может быть сделана также на степень знания языка говорящим.

Обе книги, обзор которых составил большую часть нашей работы и позволил высказать некоторые соображения о лингвистической семантике<sup>8</sup>, представляют собой, говоря словами Мунэна, лишь «ключи к передней, через которую можно пройти в семантику» (стр. 5). Следует также согласиться и с общим его выводом о том, что «... семантика еще ждет своего Соссюра или своего Трубецкого» (стр. 64).

<sup>8</sup> См. также: Н. А. С л ю с а р е в а, Вместо глубинной структуры — семантика отражения и лингвистическая семантика, «Тезисы научной конференции „Глубинные и поверхностные структуры в языке“», МГПИИЯ им. М. Тореза—Институт языкознания АН СССР, М., 1972, стр. 36—37.

В. М. ЖИВОВ, Б. А. УСПЕНСКИЙ

## ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ В ЯЗЫКЕ В СВЕТЕ ЯЗЫКОВЫХ УНИВЕРСАЛИЙ

0. Выделение центра и периферии может быть в принципе связано с универсальными закономерностями целым рядом способов. Это противопоставление есть вообще универсальный принцип организации языка (что так или иначе отражается во всех описаниях языков). Оно может быть перенесено и на речевую деятельность в целом постольку, поскольку можно говорить о иерархически различных ее типах.

Описывая язык, лингвист всегда молчаливо предполагает н о р м а л ь н у ю речевую деятельность, из которой он извлекает свое описание (не опираясь в своем описании, к примеру, на певческую речь или поэтический язык), и ориентируется прежде всего на т и п и ч н ы е с его точки зрения элементы языка. Так, например, формулируя какое-то правило, он обычно отвлекается от его нарушений в таких классах, которые он не считает типичными, например, от междометий и заимствованных слов; более того, как будет видно из дальнейшего, в лингвистическом описании может даже игнорироваться и специфика местоимений, императивов и т. д. (т. е. таких форм, которые непременно учитываются описанием любого языка).

Характерно, что лингвисты, уделяющие специальное внимание разного рода нарушениям постулируемых ими закономерностей, как правило, фиксируют исключения случайного характера и проходят мимо неслучайных нарушений.

Следует подчеркнуть, что речь идет не о каких-либо недочетах и просмотрах лингвистического описания, а о его принципиальной стратегии (сознательной или бессознательной). Основная проблема лингвистического описания — обнаружить принципиальную модель (pattern) языка, его структурную схему, представляющую разнородные языковые факты как системные. Для того чтобы обнаружить такую модель, и необходимо отвлечься от целого ряда явлений — как текста, так и самой системы. К таким явлениям относятся, в частности, явления периферии. Иначе говоря, периферийные явления могут выступать как системные по отношению к центру (ядерной модели языка), но если не учитывать их иерархического места в общей системе языка, описание предстанет как хаотическое.

1. Лингвист часто игнорирует и, видимо, считает периферийными следующие явления:

1.1. Речевую деятельность, связанную с необычной речевой ситуацией. Эта необычность может быть обусловлена специфическим способом речеобразования (ср. пение, шепот, крик). Она может быть связана с особенностями отправителя сообщения (например, речь иностранца или носителя локального диалекта, старающегося говорить на литературном языке, речь заики, ребенка и т. д.), или с особенностями получателя сообщения (ср. разговор с детьми, животными, коверканье родной речи в беседе с иностранцем, поэтическую, ритуальную, актерскую речь,

и т. д.). Типы необычной речевой ситуации этим, видимо, не исчерпываются. Можно предполагать, что нарушение закономерностей нормальной речевой деятельности в ситуациях этого рода универсальны. Однако этого рода нарушения весьма мало описаны, и в основном известны нам из собственного языкового опыта либо из отдельных, никогда не систематизированных заметок и наблюдений других лингвистов.

1.2. Элементы, которые лингвист, реконструируя языковое сознание носителя языка, относит к другой языковой системе, сосуществующей с основной. Сюда относятся заимствования, междометия, оноματοпоэтические образования, идеофоны (которые, видимо, можно понимать как регулярно оформленные классы звукоподражательных и звукоизобразительных образований), детские слова (*nursery words*). Так, например, говоря о редукции гласных в безударном положении в русском языке, лингвист исключает эти классы (ср. безударное передударное /o/ в словах *портшез, ого!*). Или, утверждая, что в бурятском невозможно /s/ в *Auslaut'e*, лингвист отвлекается от звукоподражательных и звукоизобразительных слов и заимствований<sup>1</sup>. Подобно этому, устанавливая законы распределения ударения в языке акома, лингвист вынужден отстраняться от заимствований и детских слов<sup>2</sup>.

1.3. Элементы, выполняющие особые функции в процессе коммуникации или с точки зрения этого процесса. Особая функция в процессе коммуникации может быть обусловлена специальной ориентацией на того или другого участника данного процесса: экспрессивные элементы — ориентацией на говорящего, аппеллятивные — ориентацией на слушающего<sup>3</sup>. Сюда относится эмоциональная лексика, вокативы, императивы, приветствия, обращения и т. п. Примеры аномалий см. ниже, § 4.2.

Когда мы говорим об элементах, выполняющих особую функцию с точки зрения процесса коммуникации, мы имеем в виду классификацию Р. О. Якобсона, предложенную в его работе «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол». По словам Якобсона, «И сообщение (M) (англ. *message*), и стоящий за ним код (C) (англ. *code*) являются орудиями речевой коммуникации, однако и сообщение и код способны выполнять двойную роль, выступая в качестве не только орудия, но и объекта речи (= того, о чем говорится). Так, с одной стороны, содержание сообщения может относиться к коду или к другому сообщению, а с другой стороны, значение элемента кода может содержать ссылку (*genvoi*) на код или на сообщение. В связи с этим возможны следующие четыре случая „двойной ориентации“: 1) два случая „рефлексивности“ — сообщение, направленное на сообщение (M/M), и код, направленный на код (C/C); 2) два случая „перекрестности“ — сообщение, направленное на код (M/C), и код, направленный на сообщение (C/M)»<sup>4</sup>.

По этому критерию к периферийным классам отходят различные шифтеры (прежде всего личные местоимения), собственные имена, формы, вводящие цитируемую речь, и т. д. Аномалии собственных имен хоро-

<sup>1</sup> Л. Ш. Шагдаров, Изобразительные слова в современном бурятском языке, Улан-Удэ, 1962, стр. 53.

<sup>2</sup> W. R. Miller, *Acoma grammar and texts*, «University of California publications in linguistics», 40, 1965, стр. 9.

<sup>3</sup> См.: K. Bühler, *Sprachtheorie*, Jena, 1934; A. В. Исаченко. О призывной функции языка, «Recueil linguistique de Bratislava», 1, 1948.

<sup>4</sup> R. Jakobson, *Shifters, verbal categories and the Russian verb*, Harvard University, 1957, стр. 1. Русский перевод в сб. «Принципы типологического анализа языков различного строя» (М., 1972, стр. 95).

по известны. Менее известны звуковые аномалии шифтеров; поэтому на шифтерах мы остановимся особо<sup>5</sup>.

1.3.1. Прежде всего можно указать на очень характерные фонетические аномалии, наблюдаемые в личных местоимениях. Так, говоря о том, что в немецком перед паузой не может быть кратких гласных, кроме /ə/, лингвист отвлекается от личных местоимений (и ряда междометий); без учета личных местоимений такого же рода закономерность постулируется и для литературного арабского. В языке бариба ряд личных местоимений отмечен гласными /a, i, u/ в начале слова, что, вне местоимений, наблюдается только в заимствованиях; точно такое же соотношение находим и в языке мандинка (Гамбия)<sup>6</sup>. В языке фуль в ряде личных и притяжательных местоимений нарушается закономерность, по которой за словами, кончающимися на /l, m, n/, перед паузой следует гортанная смычка<sup>7</sup>. В языке сонгаи «только местоимения являются односложными словами, состоящими из одной гласной или начинающимися с гласной: *ay* „я“, *a* „он“, *i* „они“, *ir* „мы“ (сокращенная форма)»<sup>8</sup>.

Ряд аномалий обнаруживаем и в указательных местоимениях. Так, в русском в местоимениях *этот, это, эта, эти* находим /e/ в начальной позиции в слове (вне местоимений /e/ встречается в этой позиции только в заимствованиях и междометиях, что само по себе уже весьма характерно).

В языке кикуйю находим в указательных местоимениях необычные сочетания гласных (гетеросиллабические) /au, ou, eu<sup>9</sup>.

Следует подчеркнуть, что аномальными бывают не только местоимения, но и другие шифтеры. Так, например, в белуджском языке ударение, как правило, падает на последний слог, что нарушается в ряде наречий (наречий места, определяющих положение предмета по отношению к пространственной позиции говорящего), например, *éda* «здесь», *ádān*, *ôda*, *ôdān*, *amôdān*, *amádān* «там»<sup>10</sup>.

2. Возвращаясь к нашей классификации, можно сказать, что периферия, связанная с речевой деятельностью (§ 1.1)— это п е р и ф е р и я р е ч и (parole), тогда как периферия других типов (§ 1.2 и 1.3)— п е р и ф е р и я я з ы к а (langue).

В ближайших параграфах (§ 2 и § 3) мы будем говорить исключительно о периферии я з ы к а. Стратегия лингвистического описания и, в частности, рассмотрение одних явлений как центральных, а других как периферийных, по существу основывается на сформулированном или несформулированном типологическом опыте лингвиста. Этот опыт предполагает различение центра и периферии как следствие представления об упорядоченности естественного языка. Хорошо известно, что в естественных языках, вообще говоря, почти не наблюдается закономерностей с абсолютной сферой действия. Однако сами нарушения закономерностей могут быть разного рода; при т и п о л о г и ч е с к о м рассмотрении разно-

<sup>5</sup> Говоря о шифтерах, мы здесь имеем в виду исключительно специальные «шифтерные» слова, оставляя в стороне морфемную реализацию «шифтерных» грамматических категорий, см. об этом ограничении ниже (§ 2).

<sup>6</sup> W. E. Welmers, Notes on the structure of Bariba, «Language», 28, 1952, стр. 85, 102—103; E. C. Rowland, A grammar of Gambian Mandinka, London, 1959 стр. 14.

<sup>7</sup> D. W. Arnett, Fula, «Twelve Nigerian languages», ed. by E. Dunstan, New York, 1969.

<sup>8</sup> R. P. A. Prost, La langue Soñay et ses dialectes, Dakar, 1956, стр. 34.

<sup>9</sup> L. E. Armstrong, The phonetic and tonal structure of Kikuyu, London, 1940, стр. 24.

<sup>10</sup> В. С. Расторгуева, Белуджский язык, «Языки народов СССР», I, М., 1966, стр. 323.

образных исключений может оказаться, что в определенных условиях те или иные нарушения встречаются относительно регулярно. Регулярность подобных нарушений побуждает нас искать для них некоторого содержательного обоснования. Представляется возможным выделить содержательные признаки, характеризующие классы слов, в которых типологически регулярно наблюдаются аномалии, и определить периферию языка через эти признаки.

Так, по признаку принадлежности к другой системе (§ 1.2), выделяются заимствования, междометия, ономатопоэтические образования, идеофоны, детские слова; по признаку апеллятивности (§ 1.3) выделяются вокативы, императивы, приветствия и т. п.; по признаку семиотической функции (нарушение нормального отношения между языковым элементом, сообщением и кодом) выделяются личные и указательные местоимения и другие «шифтерные» слова, собственные имена (§ 1.3). Соответственно, периферию, рассмотренную в § 1.2, можно назвать *внесистемной*, а периферию, рассмотренную в § 1.3, — *системной*.

Противопоставление центра и периферии не связано с определенным уровнем языка, т. е. в принципе на разных языковых уровнях могут быть найдены периферийные элементы. В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением классов слов (словоформ), как лексических, так и грамматических, выделяемых по какому-либо аномальному признаку. В свою очередь признаки аномальности, позволяющие определить те или иные классы элементов как периферийные, также могут относиться к разным языковым уровням. Так, наряду с легко наблюдаемой фонетической аномальностью, мыслима и аномальность грамматическая (например, нарушение нормального порядка следования грамматических элементов). В принципе это же может относиться и к другим уровням; при этом очевидно, что чем выше уровень, тем менее ясным по существу становится понятие закономерности и, соответственно, ее нарушения. Поэтому в настоящей работе мы ограничимся рассмотрением только фонетических признаков периферийных классов как наиболее наглядных и показательных.

2.1. Если рассматривать именно периферию языка (а не речи), то можно, как это видно из приведенных выше примеров, констатировать общую тенденцию, выражающуюся в том, что в классах периферийных элементов обнаруживаются аномальные структуры, т. е. здесь не выполняются закономерности, присущие центру языка. При ближайшем рассмотрении оказывается, что, если для системной периферии языка эта тенденция может быть характерной в большей или меньшей степени, то для внесистемной периферии реализация этой тенденции обязательна. Эта обязательность не распространяется на все элементы периферийного класса, но предполагает непременно присутствие аномального элемента в классе в целом. Поэтому универсалии, которые можно сформулировать в этой связи, имеют следующий вид: для любого языка в таком-то классе существует элемент, обладающий формальной аномальностью. Можно предположить, что к таким классам относятся междометия и детские слова (имеем в виду прежде всего фонетические нарушения, ср. аномальные группы согласных, например, в русском языке в междометиях *тш!*, *эм!*, *тпру!*, в детских словах — *тпруа* «гулять»).

С другой стороны, правомерны следующие выводы универсального характера. Если определенный класс с большой вероятностью обнаруживает по разным языкам формальные аномалии, то этот класс периферийен (в одном из указанных выше смыслов). Если же аномальные явления в данном классе универсальны, то этот класс относится к внесистемной языковой периферии. Связь периферийности с аномальностью особенно очевид-

на в случае перехода ядерных слов в периферийные элементы, например междометия, когда в результате такого перехода форма приобретает аномальность. Ср. аномальные стыки согласных *mi!* из *miše* в русском, немецкое *farraftk'n (Gott)!* «wahrhaftigen»; ср. еще чешское *měč* — императивное междометие от глагола *měčēt* «молчать» — с аномальными эмфатическими *m* и *č*<sup>11</sup>. Напротив, при обратном переходе периферийных элементов в ядерные форма теряет аномальность. Ср. чешские глаголы *činkat*, *bimbat* от соответствующих междометий *čink!*, *bim-bam!* Если междометия фонетически аномальны (эмфатические начальные согласные, назализованные гласные), то при произнесении глаголов выполняются закономерности фонетической системы центра<sup>12</sup> (ср. еще междометные этимологии, предложенные И. Коржинком для слов *nes*, *sova* и т. д.<sup>13</sup>, которые, будучи в настоящее время совершенно нормальными словами, восходят к фонетически аномальным междометиям). Примеры можно было бы умножить, но вряд ли в этом есть необходимость, поскольку каждый с легкостью обнаружит их, взяв этимологический словарь своего родного языка и найдя вполне фонетически нормальные слова, которым приписана ономапоэтическая или междометная этимология.

3. В своем отталкивании от центра языка, языковая периферия сама по себе образует определенную систему. Системность периферии может проявляться в двух разных аспектах.

3.1. С одной стороны, аномальность периферии проявляется именно в отношении к центру: можно сказать, что периферия организует себя как зеркальное отражение центра. Так, севернорусские и южнорусские диалекты противопоставлены друг другу по наличию взрывного /g/ или фрикативного /ɣ/. Замечательно, что в диалектах с /g/ взрывным мы имеем отмеждометные образования с /ɣ/ фрикативным, например, *ɣoɣočet*, а в диалектах с /ɣ/ фрикативным отмеждометные формы с /g/ взрывным, например, *gogočet*<sup>14</sup>.

В этом плане организацию периферии можно понимать как чистую «инаковость» по отношению к центру языка. При этом замечаем, что сколь бы второстепенны для центра ни были те или иные фонологические закономерности, они тем ни менее могут быть использованы для организации периферии как «иной системы». Так, в язьвинском диалекте языка коми отсутствует фонема /v/ в конце слога (сохраняется этимологическое /l/, в других диалектах перешедшее в /v/, что доказывает системность этого ограничения). Эта весьма частная закономерность нарушается в звукоподражательных словах, например, *n'avge kan'* «мяукает кошка» (нарушается она и в заимствованиях из русского языка)<sup>15</sup>.

«Инаковость» организации периферийных классов обуславливает, между прочим, значение периферии для описания языка (в особенности фонологии). Говоря о том или ином явлении (прежде всего в сочетании или позиционном распределении фонем), мы весьма часто не знаем, трактовать ли его как закономерность или как случайность, определяемую ограниченностью исходного материала описания. Так, в ряде случаев утверждая, что данный язык не допускает начальных стечений согласных, мы утверждаем лишь то, что в словаре этого языка, находившемся в нашем распоряжении, не встретилось слов с подобными стыками. Периферия в ряде случаев позволяет нам убедиться, что фиксируемая нами законо-

<sup>11</sup> J. M. Kořínek, Studie z oblasti onomatopoeje, Praha, 1934, стр. 30.

<sup>12</sup> Там же, стр. 39.

<sup>13</sup> Там же, стр. 22, 137.

<sup>14</sup> «Русская диалектология», под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, М., 1964, стр. 72—73.

<sup>15</sup> В. И. Лыткин, Коми-язьвинский диалект, М., 1961, стр. 37.

мерность принадлежит не нашему описанию, но действительно присуща описываемому объекту. Так, для приведенного примера свидетельством такого рода может служить тот факт, что при ассимиляции заимствований начальные стыки подвергаются преобразованию, а те слова, в которых эти стыки сохраняются, относятся либо к неассимилированным заимствованиям (осознаваемым носителями языка в этом своем качестве), либо к иным периферийным классам<sup>16</sup>. Пример этот чрезвычайно схематичен, тем не менее, ситуации такого рода наблюдаются часто, например, в вепском, ижорском, водском, кетском, тамильском и других языках, в которых стыки согласных встречаются в непереоформленных заимствованиях (либо в ономатопоэтической лексике и междометиях).

3.2. С другой стороны, некоторые аномальные явления характеризуют всю периферию данного языка в целом или во всяком случае одновременно несколько периферийных классов, давая нам возможность рассматривать собственно периферийные элементы безотносительно к центру. Такого рода явления уже несколько раз отмечались выше, когда мы, говоря об аномалиях определенного класса, попутно указывали наличие подобной же аномалии в другом классе. Так, в русском начальное /e/ свойственно, с одной стороны, указательным местоимениям, с другой же — заимствованным словам и, наконец, междометиям. В тайском четвертый тон в слогах определенной структуры появляется только в периферийных классах, объединяя такие лексические группы, как ономатопои, звукоизобразительные слова, экспрессивные междометия, слова, выражающие степень интенсивности явления и, наконец, заимствования из китайского и английского<sup>17</sup>. В одном из суданских языков, нгбака, ряд фонем в интервокальной позиции встречается (внутри морфемы) в заимствованиях х и в ономатопоэтических образованиях<sup>18</sup>. В юкагирском в начале слова звонкие смычные наблюдаются в заимствованных словах и именах собственных, в ядерной же лексике они в этой позиции невозможны<sup>19</sup>. В украинском говоре села Ладомирова *щ*, *ж* невозможны перед непередними гласными, что нарушается в вокативах и собственных именах<sup>20</sup>. В языке *фуль* ряд фонем в конечной позиции встречается только в императивах,

<sup>16</sup> Особенно показательны в этом отношении случаи гиперкоррекции. Ср., например, оформление заимствованных слов, не аномальных по своей структуре для заимствующего языка, при помощи аномальных средств. Так, например, в русском просторечии употребляются формы *крант*, *плант*, *резонт*, *экзамент* (соответствующие литературным формам *кран*, *план*, *резон*, *экзамен*), в которых на месте исконного /п/ стоит /пт/. Хотя конечное сочетание /пт/ обычно в русском языке для заимствованной лексики, в собственно русских словах оно не встречается. Таким образом, мы наблюдаем здесь оформление периферийных (по содержанию или происхождению) элементов с помощью формальных средств, характеризующих периферию языка и не характерных для языкового центра. Этот факт дает нам возможность, говоря о запрещенности в русском сочетании /пт/ в конечной позиции, полагать, что это правило принадлежит не только нашему описанию, но относится к самой реальности языка.

<sup>17</sup> См.: E. J. H e n d e r s o n, The phonology of loanwords in some South-East Asian languages, «Transactions of the Philological Society», 1951, стр. 141—142. Заметим, что в случае английских заимствований эта их аномалия может восприниматься как «сознательное» оформление периферийных элементов при помощи средств периферийной организации, так как трудно предположить, что аномальность тона здесь может быть связана с произношением языка-источника.

В заключении своего исследования фонологии заимствований в ряде языков Юго-Восточной Азии Э. Гендерсон приходит к выводу, что «слова, ощущаемые говорящим как относящиеся к особому типу, отмечены особыми просодическими моделями». К этим словам относятся «а) восклицания (exclamations) и восклицательные выражения (exclamatory expressions), включая некоторые частицы, б) звукоизобразительные и звукоподражательные слова, в) заимствования» (там же, стр. 156).

<sup>18</sup> J. M. C., T h o m a s, Le parler Ngbaka de Bokanga, Paris — La Haye, 1963, стр. 37—38.

<sup>19</sup> Е. А. К р е й н о в и ч, Юкагирский язык, М., 1958, стр. 12.

<sup>20</sup> А. В. И с а ч е н к о, указ соч., стр. 52.

в некоторых наречиях и в идеофонах<sup>21</sup>. В мистекском языке /p/ в начальной позиции встречается только в звукоизобразительных словах и заимствованиях<sup>22</sup>. В языке варао законы ударения нарушаются в ономапоэтических образованиях, заимствованиях и вокативах<sup>23</sup>. В языке кикуйю необычные сочетания гласных /eu, au, ou/, которые, как мы отмечали выше, характеризуют указательные местоимения, наблюдаются еще в таких шифтерах, как *rei* «сейчас», *karai* «высоко вверху», а также в именах собственных (например, *Kamai*<sup>24</sup>). В карибском сочетании /ti/ отмечено только в заимствованиях и в слове (частице) *ti:ro* «говорят» — слово, вводящее цитируемую речь (§ 1.3)<sup>25</sup>. В языке иджо (колокума) закрытые слоги встречаются только в заимствованиях, идеофонах и междометиях<sup>26</sup>. В языке биза начальные в слове гласные встречаются только в личных и вопросительных местоимениях, заимствованиях, междометиях и глаголе *o* с первичным значением «говорить» (также и в глаголе *aa* «идти», функции которого не совсем ясны)<sup>27</sup>. Определенную аномальность ударения в арауканском языке мы находим в ряде наречий, местоимений и предлогов, например /inčé/ «я», /eumí/ «ты», /wuyá/ «вчера», /fewlá/ «теперь»<sup>28</sup>.

Все эти примеры позволяют нам предположить существование особых средств организации периферийных элементов, распространяющих свое действие на всю периферию языка. Соответственно можно предположить влияние свойств периферийной системы на элементы, поступающие в периферийные классы, и предложить следующие (гипотетические) универсалии: **В заимствованных словах сохраняются формальные аномалии только тех типов, которые наличествуют в других периферийных классах языка. Если при переходе непериферийного элемента в периферийный возникает некоторая аномалия, то аномалии этого типа уже имеются на периферии данного языка.**

Итак, периферийные элементы могут выступать как самостоятельная система в языке, характеризуюсь специфическими явлениями, аномальными по отношению к центру, но объединяющими различные периферийные классы.

4. Наряду с формальными связями, которые существуют между разными классами периферии языка, существуют и формальные связи между периферией языка и периферией речи. Трудности анализа этих связей в значительной степени обусловлены (как и в случае иных периферийных явлений) неполнотой и непоследовательностью описаний в отношении этой области. Ряд связей, однако, совершенно очевиден.

4.1. Так, не вызывает сомнений связь между детскими словами (периферия языка) и разговором с детьми (периферия речи, которая в свою очередь связана с детской речью, детскую же речь можно понимать как иную языковую систему). Детские слова могут рассматриваться как

<sup>21</sup> D. W. Arnett, указ. соч.

<sup>22</sup> T. Kaufman, [рец. на кн.:] A. Dyk, B. Stroudt, Vocabulario Mixteco de San Miguel el Grande, IJAL, 37, 1967, стр. 257—258.

<sup>23</sup> H. A. Osborn, Warao I: Phonology and morphophonemics, IJAL, 32, 1966, стр. 115.

<sup>24</sup> L. E. Armstrong, указ. соч., стр. 24.

<sup>25</sup> B. J. Hoff, The Carib language, «Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde», 55, 1968, стр. 64.

<sup>26</sup> K. Williamson, A grammar of the Kolokuma dialect of Ijò, Cambridge, 1969, стр. 20.

<sup>27</sup> P. Prost, La langue bisa. Grammaire et dictionnaire, «Études voltaïques», Ouagadougou, 1968 (данные извлечены из словаря, приведенного в книге).

<sup>28</sup> M. S. Echeverría, H. Contreras, Araucanian phonemics, IJAL, 31, 1965, стр. 134.

элементы разговора с детьми, включенные в языковую систему, поэтому естественно, что аномалии, представленные в этих случаях, характеризуются общностью.

Аномалии заимствований находят соответствие в разговоре с иностранцем (имеется в виду речь человека, не знающего иностранных языков и старающегося при помощи определенных звуковых преобразований сделать свой родной язык более доступным для понимания иностранца), поскольку можно полагать, что заимствования, сохраняемые данным языком, определяют представление об иностранной речи у носителя данного языка.

Звуковые особенности поэтической речи могут быть сопоставлены со звуковыми особенностями экспрессивной лексики, звуковых жестов и звукоподражаний. Пример такой связи мы можем найти в поэзии йоруба, в которой изменение тона в одной строке сравнительно с другой не варьирует значения, но служит для достижения «определенной эмфазы при помощи повторения одного и того же лексического элемента с контрастирующими тонами»<sup>29</sup>.

Эта варьируемость тона в стихе сопоставляется с вариациями тона в редупликативных прилагательных, имеющих, видимо, экспрессивное значение<sup>30</sup>, и, с другой стороны, напоминает вариации тона в идеофонах некоторых африканских языков, например, эве<sup>31</sup>.

Звуковые особенности экспрессивной лексики и оноματοпоэтических образований могут быть сопоставлены в свою очередь и с эмфатической речью. Те аномальные звуковые средства, которые характеризуют эмфатический поток речи в целом, могут наблюдаться и в отдельных языковых элементах, относящихся к периферии. Так, в тайском четвертый тон в словах определенной структуры (не относящихся к периферии) может быть употреблен как средство эмфатического выделения: в периферийных (экспрессивных и оноματοпоэтических) элементах языка этой же структуры четвертый тон может быть постоянным, обуславливая, таким образом, их формальную аномальность<sup>32</sup>. В языке рими сверхдолгота гласных характеризует ряд идеофонов, ряд междометий, и в то же время наблюдается в формальных приветствиях и ремарках в диалогах, где она свидетельствует о заинтересованности участника коммуникации в данной беседе<sup>33</sup>. В русском литературном языке произношение [ɣ] фрикативного на месте [g] взрывного имеет место в словах церковного лексикона (*бла[ɣ]одать*, *бла[ɣ]ословение*), в заимствованиях (*[ɣ]абитус*, *бюст[ɣ]альтер*, *бу[ɣ]алтер*), в междометиях и звукоподражаниях. Как окказиональное эмфатическое средство [ɣ] характеризует и слова, не принадлежащие периферии, создавая такое явление, как экспрессивное «уаканье»<sup>34</sup>. В связи с явлениями этого рода можно предположить существование следующей универсальной закономерности: **Если в оноματοпоэтических и экспрессивных формах языка имеются аномальные аллофоны каких-либо фо-**

<sup>29</sup> A. B a m g b o s e, Word play in Yoruba poetry, IJAL, 36, 1970, стр. 111.

<sup>30</sup> Там же.

<sup>31</sup> A. A n s r e, The tonal structure of Ewe, Hartford, 1961, стр. 50—51.

<sup>32</sup> E. H e n d e r s o n, указ. соч., стр. 141—142.

<sup>33</sup> H. S. O l s o n, The phonology and morphology of Rimi, Hartford, 1964, стр. 8.

<sup>34</sup> См.: А. А. Р е ф о р м а т с к и й, «[ɣ] ус'», сб. «Вопросы культуры речи», VII, 1966; В. Л. В о р о н ц о в а, Еще раз о произношении *γус'*, «Развитие фонетики современного русского языка», М., 1971 г. Любопытную параллель к этому находим в языке нупе, в котором образованные носители языка, говорящие на хауса, употребляют в эмфатической речи заимствованный из хауса глухой велярный глоттализированный смычный вместо глухого велярного аспирированного смычного; см.: N. V. S m i t h, The phonology of Nupe, «Journal of African languages», VI, 2, 1967, стр. 154.

нем, то такого рода аллофоны имеются и в других элементах в эмфатической речи.

Между периферией речи и периферией языка могут существовать параллели менее очевидного характера. Так, например, в одном диалекте нубийского языка «эмфатическая тоновая модель часто наблюдается в отдельном произносимых (citation form) топонимах». Возможно, этой же тоновой моделью характеризуются императивы<sup>35</sup>.

4.2. Рассмотрим еще один менее тривиальный случай связи языковой и речевой периферии. В аппеллятивных (периферийных) элементах языка (императивах, вокативах, вопросительных формах глагола, в вопросительных местоимениях и частицах, в приветственных словах и т. д.<sup>36</sup>) довольно часто наблюдается аномальное ударение или аномальная тоновая структура, причем эта аномальность особенно часто бывает связана с последним слогом слова.

Аномальное конечное ударение в вокативе находим в чаплинском диалекте эскимосского языка (в алеутском императив, имеющий конечное ударение, противопоставляется большинству иных форм, хотя имеется и еще ряд слов с конечным ударением<sup>37</sup>), в кетском, чукотском, лемковских говорах, в языках варао и пиро<sup>38</sup>. В языке эве глаголы невысокого тона имеют в императиве низкий тон даже в тех случаях, в которых по правилам тонового распределения, релевантным для центра, следовало бы ожидать среднего тона<sup>39</sup>. В языке иджо (нембе) императив характеризуется удвоением конечной гласной (что может трактоваться как явление, аналогичное квантитативному ударению) и добавлением конечного низкого тона<sup>40</sup>. В бурятском императив и вокатив обнаружи-

<sup>35</sup> H. Bill, The tone system of Mahas Nubian, «Journal of African languages», VII, 1, 1968, стр. 29—30.

<sup>36</sup> О реальности объединения этих разных периферийных классов в одну группу может отчасти свидетельствовать ряд общих (внутри одного языка) явлений, свойственных этим классам в разных языках. Так, в языке марги существует особая форма для вокатива, императива и вопросительной частицы, употребляемая в том случае, если адресат сообщения находится на расстоянии от адресанта или в случае эмфазы. При этом окончание такой формы императива формально совпадает с подобной же формой вопросительной частицы; см.: C. Hoffmann, A grammar of the Margi language, London, 1963, § 95, 160—162, 271. В языке ломонго звательные формы образуются при помощи усечения последнего слога и удлинения гласного. Такое же усечение слога и удлинение гласного наблюдается в призывных восклицаниях, выражающих скорбь, ужас или изумление; см.: G. Hulstaert, Grammaire du Lômongo. Première partie. Phonologie, «Musée Royal de l'Afrique Centrale, Annales», Ser. in 8° — Sciences humaines — № 39, 1961 (Tervuren), стр. 151—152. В ногайском однородная аномалия ударения наблюдается в императиве и в вопросительных местоимениях (см. ниже). В кетском императив и вокатив объединены ударностью соответствующих показателей (см.: А. П. Дульзон, Очерки по грамматике кетского языка, Томск, 1964, стр. 55—56), в бурятском — аномальным конечным музыкальным ударением (см.: Т. А. Бертагеев, Бурятский язык, «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 16), в лемковских говорах — аномальными конечными полумягкими согласными (см.: А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 53—54). О связи императива и вокатива в нивхском см: R. Austerlitz, Vocatif et impératif en Giliak, «Orbis», VII, 2, 1958, стр. 477—481, в русском — В. М. Живов, Центри периферия в фонологической организации слова, I, «Лингвотипологические исследования», ч. I (в печати).

<sup>37</sup> Г. А. Меновщиков, Алеутский язык, «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 388.

<sup>38</sup> Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. I, М.—Л., 1962, стр. 47; А. П. Дульзон, указ. соч., стр. 54—56; П. Я. Скорик, Грамматика чукотского языка, ч. I, М.—Л., 1961, стр. 306—307; А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 51—52; Н. А. Осборн, указ. соч., стр. 115; E. Matteson, Piro (Arawakan) language, «University of California publications in linguistics», 42, 1965, стр. 20.

<sup>39</sup> А. Ansgre, указ. соч., стр. 65.

<sup>40</sup> K. Williamson, Ио. в кн. «Twelve Nigerian languages».

вают аномальное конечное музыкальное ударение<sup>41</sup>. В финском аномальное конечное ударение находим в ряде аппеллятивных слов, например *kiitós* «спасибо», *hyvästi* «прощайте». В кабардинском языке вопросительные формы глагола (вопросительное наклонение) могут иметь аномальное конечное ударение на открытом слоге<sup>42</sup>. Аномальные просодические характеристики конца слова в различных аппеллятивных элементах разных языков могут быть сопоставлены с вопросительной интонацией. А. В. Исаченко к аппеллятивным элементам относит и вопрос<sup>43</sup>, аргументируя это тем, что вопрос, подобно прочим аппеллятивным элементам, требует активной реакции слушающего. В этой связи характерно, что вопросительная интонация в большем числе случаев отличается от нейтральной именно изменением просодических характеристик (интенсивности или высоты голоса) последнего релевантного сегмента. С другой стороны, перечисленные выше аномалии аппеллятивных элементов тоже могут рассматриваться как изменение просодических характеристик последнего релевантного сегмента (слога)<sup>44</sup>. Аналогия с вопросительной интонацией устанавливается при уподоблении слога в слове слову в предложении, что с фонетической точки зрения не кажется неправомерным<sup>45</sup>. Звуковые особенности вопроса (вопросительная интонация) могут быть, с другой стороны, связаны со звуковыми особенностями речи, предназначенной вызвать активную реакцию слушающего, прежде всего, следовательно, с криком и призывом. Эти виды речевой деятельности характеризуются, в частности, изменением интенсивности и высоты голоса. В тех языках, в которых конечные слоги подвержены сильной редукции, это в особенности касается конечных слогов. Любопытно, что в языке пиро, в вокативе которого наблюдается аномальное конечное ударение, и вообще «нарушение закономерностей, относящихся к месту ударения, наблюдается при призывных и восклицательных тоновых моделях, когда ударение сдвигается на последний слог ритмической группы»<sup>46</sup>.

В этой связи было бы любопытно проверить следующую универсалию: **Если в формах императива или вокатива имеются регулярные нарушения тоновой структуры, то имеется и особое перераспределение тонов в вопросах, командах, обращениях.**

4.2.1. Итак, можно констатировать довольно характерную для аппеллятивных элементов тенденцию иметь аномальное ударение на последнем слоге. Однако в ряде языков с аномальным ударением в аппеллятивных элементах это ударение падает не на последний, а на первый слог слова. Этот случай находим в вокативе карачаево-балкарского языка, в императиве и вопросительных местоимениях ногайского языка, в вопросительных местоимениях киргизского, в удмуртском императиве<sup>47</sup>. Все эти языки, однако, имеют одну общую черту — фиксированное конечное ударение (в ядерной модели языка). Таким образом, можно думать, что в данных

<sup>41</sup> Т. А. Бертагаев, указ. соч., стр. 16.

<sup>42</sup> Б. Балкаров, Язык бесленеевцев, Нальчик, 1959, стр. 51.

<sup>43</sup> А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 50.

<sup>44</sup> Отметим, что конечное ударение в императиве и вокативе наблюдается и во многих иных языках, кроме тех, которые представлены в наших примерах, поскольку мы говорим не о конечном ударении вообще, но о конечном аномальном ударении.

<sup>45</sup> В этом плане характерно, что в иджо (нембе), в котором, как уже говорилось, императив отмечен удвоением последней гласной и конечным низким тоном, «вопросы отмечены конечным низким тоном» (K. Williams, Ijo).

<sup>46</sup> E. Matteson, указ. соч., стр. 13—14.

<sup>47</sup> См.: М. А. Хабичев, Карачаево-балкарский язык, «Языки народов СССР», III, М., 1966, стр. 215—216; Н. А. Баскаков, Ногайский язык, там же, стр. 283; Б. М. Юнусалиев, Киргизский язык, там же, стр. 486; В. И. Лыткин, Проблема лексического ударения в финно-угорских языках, AL, XX, 3—4, 1970, стр. 254.

случаях тенденция, обуславливающая конечное ударение в апеллятивных элементах, всгущает в конфликт с тенденцией периферии организовываться как иная, «зеркальная» по отношению к центру система. Естественно при этом, что ударение падает на первый (а не на предпоследний или еще какой-либо) слог, так как, видимо, именно первый слог ощущается как «зеркальная» противоположность последнему. Было бы интересно подвергнуть проверке следующее утверждение: Если в апеллятивных элементах языка имеется аномалия ударения, то если язык не обладает фиксированным конечным ударением, это аномальное ударение падает на последний слог соответствующих слов, если же в языке фиксированное ударение на последнем слоге, то аномальное ударение падает на первый слог соответствующих слов.

4.3. В некоторых специфических случаях периферийные средства того или иного языка приобретают более общее значение, распространяясь на всю речь в целом. Примером может служить, наряду с экспрессивной речью, и поэтический язык. Точно так же глоссолалические речения (говорение на «иных языках»), производимые сектантами-мистиками в экстатическом состоянии, представляют собой результат экспансии периферийных (для соответствующего языка) средств выражения на всю речевую деятельность в целом. Иначе говоря, можно считать, что в нормальном языке заложено некое представление об «иностранном» языке, основывающееся на периферийных средствах выражения, реализующихся прежде всего в заимствованиях и междометиях. Естественно, что при порождении глоссолалического текста, осмысляемого как текст на иностранном языке, соответствующие средства выражения приобретают доминирующую роль.

Наконец, аналогичный принцип ложится на основу арготической речи. В литературе уже отмечалась связь звуковой специфики арго с междометиями<sup>48</sup>. Характерно, что для многих арго вообще не существует понятия заимствования, поскольку криптолалическая функция арго делает для него нормальным использование иностранной лексики.

5. Характеризуя самым общим образом противопоставленность периферии центру, можно сказать, что если центр стремится к экономии (с точки зрения разных участников коммуникативного процесса), то в периферии видим противоположную тенденцию к усложнению. Мы наблюдаем эту тенденцию как в речи, так и в языке.

Так, тенденция к усложнению характеризует прежде всего эмфатическую речь. Эмфаза в большом числе случаев может рассматриваться (в плане выражения) как усложнение (затруднение) артикуляции. Звуковые изменения, происходящие в эмфатической речи, во многих случаях могут быть описаны вообще как замена немаркированных звуков маркированными, например замена кратких гласных и согласных долгими в языке кикуйю или нефарингализованных гласных фарингализованными в одном из бушменских языков<sup>49</sup>.

Эту же тенденцию мы можем наблюдать в периферийных элементах языка. Мы легко замечаем, что периферия в большей степени, чем центр, использует маркированные члены оппозиций. Так, в ономатопоэтических образованиях на *-ot* в верхнелужицком в конце слога согласные высокой тональности практически не встречаются<sup>50</sup>. Если последо-

<sup>48</sup> См., например: Д. С. Лихачев, Черты первобытного примитивизма воровской речи, «Язык и мышление», 3—4, М.—Л., 1935, стр. 81—83.

<sup>49</sup> Л. Е. Агмстронг, указ. соч., стр. 290—291; L. F. Maingard, Three Bushman languages, «African studies», 17, 2, 1958, стр. 102.

<sup>50</sup> С. М. Толстая, Фонетические наблюдения над ономатопоэтическими образованиями с суффиксом *-ot* в верхнелужицком языке, «Исследования по славянскому языкознанию», М., 1971, стр. 276.

вательность *CV* («согласный плюс гласный») признать немаркированной по отношению к *CC* и *VV*, то оказывается, что в периферийных классах маркированные члены встречаются в значительно большем числе, чем в центре. Равным образом, если рассматривать закрытый слог как маркированный по отношению к открытому, мы найдем именно маркированные члены в идеофонах ряда языков, в которых в элементах центра закрытые слоги не встречаются.

В связи с этим можно предложить еще одну универсалию: Если при переходе слова из непериферийного в периферийный класс оно фонетически переоформляется, то получающаяся фонетическая форма не менее маркирована, чем исходная. Примером может служить так называемая экспрессивная назализация и палатализация (ср. чеш. *dundat* из *dudat*, *chlamstat* из *chlastat*, франц. *gnarguer* из *narguer*)<sup>51</sup>, экспрессивная геминация и аспирация согласных<sup>52</sup>. В связь с этим может быть поставлено оформление заимствований при помощи эмфатических согласных (при возможности использовать соответствующие немаркированные) в арабском<sup>53</sup>.

В заключение нам представляется уместным отметить, что настоящая работа должна восприниматься как постановка проблемы, а не как попытка ее решения. Для решения возникающих в этой области вопросов необходим прежде всего достаточно обширный и последовательно описанный материал — доступные же в настоящее время сведения носят окказиональный характер. Одной из наших задач было в этой связи показать, что хаотичность и непоследовательность периферии языка значительно преувеличены, что в ней можно предполагать существование определенных закономерностей. Последовательное описание периферии, таким образом, вполне возможно, и именно от этой первичной задачи зависят прежде всего дальнейшие исследования в данной области.

<sup>51</sup> V. M a s h e k, Studie o tvoření výrazů expresivních, Praha, 1930, стр. 10—59. J. M. K o ř i n e k, указ. соч., стр. 56—57.

<sup>52</sup> V. M a s h e k, указ. соч.

<sup>53</sup> R. J a k o b s o n, Mufaxxama. The «emphatic» phonemes in Arabic, в его кн.: «Selected writings», I, 's-Gravenhage, 1962.

Р. Г. ПИОТРОВСКИЙ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ РАСХОЖДЕНИЯ  
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

(Еще раз о соотношении молдавского и румынского языков)

Одной из ключевых задач современной социолингвистики является выработка языковых критериев для разграничения таких понятий, как язык и диалект, близкородственные языки и национальные варианты одного языка. В настоящее время при отнесении двух сравниваемых «говорений» к разряду самостоятельных (близкородственных) языков или диалектов (национальных вариантов) используются в основном социальные, культурно-исторические и народно-психологические данные<sup>1</sup>; реже учитываются политические соображения и самооценки специалистов, занимающихся языковым строительством<sup>2</sup>. Лингвистические факты привлекаются здесь обычно для иллюстративного подтверждения того или иного экстралингвистического решения<sup>3</sup>. Однако в тех случаях, когда национально-языковое сознание носителей языка еще не сформировалось, вопрос о самостоятельности того или иного «говорения» приходится решать, исходя только из лингвистических критериев. По какому пути должна идти разработка указанных критериев? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к давней контроверзе по поводу «отдельности» румынского и молдавского языков.

Культурно-исторические расхождения в древних судьбах румын (волохов, влахов) и молдаван<sup>4</sup>, а также отражение этих расхождений в психологии обоих народов закрепились в противопоставлении терминов «румынский — молдавский», «румынский язык — молдавский язык» — противопоставлении, выкристаллизовавшемся, по крайней мере, в конце XVII — начале XVIII вв., что нашло отражение в произведениях М. Ко-

<sup>1</sup> Подробнее об этом см. в следующих работах: В. М. Ж и р м у н с к и й, Марксизм и социальная лингвистика, «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 18—19; Ф. П. Ф и л и н, К проблеме социальной обусловленности языка, сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 19 и сл.; Р. А. Б у д а г о в, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, стр. 5 и сл.

<sup>2</sup> Ср.: Л. В. Н и к о л ь с к и й, Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на языковое развитие, сб. «Язык и общество», М., 1969, стр. 112—114; М. И. С т е б л и н - К а м е н с к и й, Возможно ли планирование языкового развития?, ВЯ, 1968, 3, стр. 56.

<sup>3</sup> Н. Л. М е н с к е н, The American language. An inquiry into the development of English in the United States, 4-th ed., New York, 1946. Ср.: Г. В. С т е п а н о в, Объективные и субъективные критерии определения понятий «диалект», «вариант языка», «Типология сходств и различий в группе близкородственных языков (тезисы докладов научной конференции 30—31 октября 1972 г.)», Кишинев, 1972, стр. 11—12.

<sup>4</sup> В. Ф. Ш и ш м а р е в, Романские языки и национальный язык МССР, «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953, — стр. 96, 110—112; Ср.: A. I. P h i l i p p i d e, Originea românilor, Iași, 1925—1928, I, стр. 857—858; II, стр. 386—389, 404—405; N. D r ă g a n u, Români în veac. IX—XIV pe baza toponimiei și a onomasticeii, Bucu-rești, 1933.

стина, Д. Кантемира, М. Стрельбицкого<sup>5</sup> и других авторов. На территории Бессарабии это противопоставление четко оформилось уже в XIX в.<sup>6</sup>

Следует иметь в виду, что противопоставление указанных лингвистических понятий отражается в настоящее время в различной самоидентификации балканороманского населения СССР. Если балканороманцы на всей территории МССР и в большинстве тех районов УССР, где они проживают, называют себя молдаванами, а своим родным языком считают молдавский, то на территории южной части Черновицкой области и в Закарпатье балканороманцы называют себя румынами, говорящими на румынском языке<sup>7</sup>.

Некоторые исследователи языков и культуры Восточной Рومании пытались и пытаются поставить под сомнение правомерность существования самих терминов «молдавская речь», «молдавский язык» и тем самым нейтрализовать противопоставление понятий «румынский»: «молдавский», заменяя эту корреляцию терминами «румынский», «дакорумынский», «балканорумынский»<sup>8</sup>. Более того, у некоторых наших западных коллег научная аргументация в пользу отказа от термина «молдавский» подменяется политической фразеологией<sup>9</sup>. Однако эти академические и неакадемические споры по поводу самостоятельности молдавского языка не находят отклика в народно-лингвистическом сознании балканороманцев, проживающих на территории СССР. Подавляющее большинство их причисляет себя к молдавской национальности и уверено, что его родным языком является не румынская, но молдавская речь. Вместе с тем носитель молдавского языка отдает себе отчет в значительном совпадении норм молдавской и румынской речи, подчеркивая обычно, что, хотя он и говорит по-молдавски, но это «почти одно и то же, что говорить по-румынски»<sup>10</sup>.

Все эти парадоксы национально-лингвистического самосознания объясняют нам неудачи попыток, с одной стороны, навязать носителям молдавской литературной речи лексико-грамматические, стилистические, а также графические и орфоэпические нормы румынского языка<sup>11</sup>, а с другой, искусственно ослабить и даже разорвать генетические связи этих

<sup>5</sup> Ср.: M. Costin, *Opere*, București, 1958, стр. 212; D. Cantemir, *Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor*. Publicat de pre originalul manuscript al autorului păstrat în arhivele principale din Moscova ... de Gr. Tocilescu, București, 1901; М. Стрельбицкий, *Русско-молдавский словарь*, Яссы, 1789.

<sup>6</sup> Ср.: Я. Гинкулов, *Начертание правил валахо-молдавской грамматики*, СПб., 1840; А. Балдескул, *Русско-молдавский словарь*, Одесса, 1896. Ср. также: М. Чакир, *Русско-молдавский словарь*, Кишинев, 1907.

<sup>7</sup> Ср. в этом смысле данные переписи 1970 г. (см. Пр. 17 IV 71).

<sup>8</sup> Ср.: A. Cihac, *Dictionnaire d'étymologie daco-romane*, Frankfurt-am-Main, 1870—1879; Șt. Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă*, București, 1923; C. Tagliavini, *Una nuova lingua letteraria romanza? Il moldavo*, «Atti dall' VIII Congresso internazionale di studi romanzi», Firenze, 1956, II, стр. 445—452.

<sup>9</sup> Ср.: A. Klees, *Rumänisch und Moldauisch*, «Osteuropa», 4, 1955; K. Heitman, *Rumänische Sprache und Literatur in Bessarabien und Transnistrien*. (Die sogenannte moldauische Sprache und Literatur), *ZfomPh*, 81, 1/2, 1965.

<sup>10</sup> Нужно всегда помнить, что оценки степени близости двух языков или вариантов, построенные на индивидуальной лингвистической интроспекции, очень субъективны и обманчивы. Так, например, многие носители румынского литературного языка воспринимают молдавскую литературную речь, в том числе и речь дикторов кишиневского радио и телевидения, как архаизованную нелитературную речь с более или менее сильным диалектным «налетом». Вместе с тем существует немало молдаван — в том числе и языковедов, — уверенных, что они говорят на чистейшем литературном румынском языке.

<sup>11</sup> Ср. в этом плане румынизированные лексикографические сочинения тридцатых годов: «*Dictionar ruso-moldovenesc*», Tiraspol, 1932; «*Dictionar ruso-moldovenesc medical*», Tiraspol, 1933, а также более поздние попытки некоторых языковедов «латинизировать» современную молдавскую графику. Критический обзор этих последних подходов см. в статье: Р. Г. Пировский, Н. М. Печек, *Ку привире да ымбунэ-тэциря ортографией контимпоране молдовенешть*, «Октомврие», 1955, 10, стр. 79—83.

близкородственных языков<sup>12</sup>. Ср. в этом плане неудачу, постигшую Г. Л. Менкена, пытавшегося объявить американский вариант английского языка самостоятельным языком внутри западной подгруппы германских языков<sup>13</sup>.

Итак, основным критерием, по которому два «говорения» следует рассматривать либо как национальные варианты одного литературного языка или его диалекты, либо как близкородственные языки, является соответствующая оценка этих «говорений» массами их носителей. Все попытки навязать носителям языка предвзятые оценки — будь то из политических соображений или на основе интроспекций ученых, занимающихся языковым строительством, — в конце концов корректируются самим языком. Однако нельзя забывать о том, что всякий лингвистический волюнтаризм, сопровождающийся обычно поспешным реформизмом в области орфографии и орфоэпии, создает дополнительные трудности в развитии народного образования, массовой коммуникации и в формировании национальной литературы.

Все сказанное выше не означает, что языковеды должны вообще отказаться от чисто лингвистического изучения проблемы соотношения близкородственных языков и национальных вариантов или диалектов. Такое решение вопроса, разумеется, не может устроить социолингвистику, одной из основных задач которой является, как уже говорилось, выработка таких лингвистических критериев, с помощью которых можно было бы относить сравниваемые «говорения» либо к разряду близкородственных языков, либо к классу национальных вариантов или диалектов.

Однако прежде чем приступить к формулировке указанных критериев, необходимо лингвистически эксплицировать народно-психологические оценки двух «говорений» со стороны их носителей. Систематизация этих экспликаций по разным близкородственным языкам и национальным вариантам даст возможность выработать в конце концов интересующие нас лингвистические критерии.

Порождение речи (текста) определяется, с одной стороны, системой языка и накладывающимися на нее нормой и узусом<sup>14</sup>, а, с другой, совершенно независимой от языка и не контролируемой им ситуацией. В результате могут появляться тексты, содержащие лингвистические единицы и связи, не предусмотренные в системе, норме и узусе языка. Если эти единицы и связи появляются систематически, то они начинают воздействовать на узус и норму, что в свою очередь может привести к перестройке системы. Таким образом, изменениям в системе и норме языка всегда предшествует факт речи<sup>15</sup>.

Если национальный коллектив (народ, народность, нация) распадается на более мелкие единицы, систематически оказывающиеся в различных ситуациях, то это всегда приводит к дивергенциям сначала в узусе и норме, а затем и в системе языка.

Теперь посмотрим, какого типа дивергенции и в каких сферах обнаруживаются между молдавским и румынским литературными языками.

<sup>12</sup> Ср.: Л. М а д а н, Грамматика молдавского языка, Тирасполь, 1930; «Кувинтельник русо-молдовенеск», Тирасполь, 1930; И. Д. Ч о б а н, Современное состояние научной разработки молдавского языка и его истории, «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953, стр. 170—174.

<sup>13</sup> Н. Л. М е н с к е н, указ. соч; ср.: Е. I a r o v i c i, Engleza americană, București, 1971; А. Д. Ш в е й ц е р, Литературный английский язык в Англии и США, М., 1971.

<sup>14</sup> Ср.: Е. С о s e r i u, Sistema, norma y habla, Montevideo, 1952; Л. Е л ь м с л е в, Язык и речь, «История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях», II, М., 1963, стр. 113.

<sup>15</sup> Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 42 и 86.

Системные дивергенции между румынским и молдавским литературными языками обнаруживаются в фонологии, морфологии и лексике. Если не считать находящиеся на грани системы и нормы молдавские тенденции к устранению в некоторых позициях фонологических противопоставлений гласных [i : ä], [i : e]<sup>16</sup>, то основные расхождения между фонологическими системами обоих языков сводятся к устранению в молдавском произношении противопоставления твердости и мягкости внутри таких пар согласных, как /s : s'/, /c : c'/, /š : š'/, /z : z'/, /ž : ž'/ /r : r'/<sup>17</sup>, ср.:

Румынский	Молдавский	
(să)sară : seară	(сə)сарə : сарə	«прыгал (бы) : вечер»
/sare : s'are/	/sare/	
călăreț : călăreți	кэлэрэц : кэлэречи	«всадник : всадники»
/keler'ec : keler'ec'/	/kelerec/	
cucos : cucosi	кукош : кукошь	«петух : петухи»
/kukoš : kukoš'/	/kukoš/	
lucrez : lucrezi	лукрез : лукрези	«работаю : работаешь»
/lukur'ez : lukr'ez'/	/lukr'ez/	
vinj : vinji	вынж : вынжь	«вяз : вязы»
/vinž : vinž'/	/vinž/	
stejar : stejari	стежар : стежарь	«дуб : дубы»
/st'ežar : st'ežar'/	/st'ežar/	

Все приведенные в терминах фонологической аксиоматики Э. Петровича<sup>18</sup> расхождения имеют морфологические последствия: в результате потери указанных противопоставлений у ряда молдавских существительных и прилагательных не различаются формы единственного и множественного числа<sup>19</sup>, а у глаголов с суффиксом *-ez-* потеряно противопоставление 1 и 2-го лиц ед. числа настоящего времени<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Р. Г. Пиотровский, Сосуществующие фонетические системы и стилистические корреляции в молдавском языке, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962, стр. 93—95; G. S. Coșbuc, Note lingv. Limba lui Creangă, «Buletinul Philippi-de», I, 1934, стр. 104—109; e g o ж е. Note lingv., там же, II, 1935, стр. 104; III, 1936, стр. 121—122.

<sup>17</sup> Р. Г. Пиотровский, Моделирование фонологических систем и методы их сравнения, Л., 1966, стр. 170, 200; G. S. Coșbuc, Note lingv., «Buletinul Philippi-de», III, стр. 120—121. Следует иметь в виду, что разные нейтрализации имеют различный функциональный вес с точки зрения противопоставления румынской и молдавской речи. Этот вес определяется, очевидно, частотой употребления фонем, входящих в нейтрализуемые оппозиции. Так, например, «отверждение» /š/ воспринимается и молдаванами и румынами как явный молдаванизм. Напротив, устранение корреляции /ž : ž' обычно проходит незамеченным. Это и понятно: фонемы типа /š/ встречаются гораздо чаще в румынском и молдавском текстах, чем фонемы /ž/, /ž'/ — ср. высокую частоту союза *șu/si* «и» в молдавских и румынских текстах.

<sup>18</sup> Ср.: E. Petrovici, Esquisse du système phonologique du roumain, «For Roman Jakobson. Essays on the occasion of his sixtieth birthday», The Hague, 1956, стр. 383—389.

<sup>19</sup> В противовес этой морфологической нейтрализации в современной молдавской речи используются приемы языковой терапии. Например, формы *moș : moșe* «старик (дед) : старики (деды)» встречаются все реже, вместо них обычно употребляются словоформы *moșnag : moșneț* /moșn'ag : moșn'eț'/ «старик : старики» — формы, имеющие четкое разграничение единственного и множественного числа. Аналогичным образом выходит из употребления пара *soț : soție* «супруг : супруга». Вместо этих словоформ в разговорной речи используются слова *барбат* «муж» («мужчина») и *фемее* «жена» («женщина»).

<sup>20</sup> Если бы мы описывали фонологические системы обоих языков в аксиоматике А. Росетти, то результат остался бы тем же. Правда, вместо потери противопоставления твердости и мягкости неразличение указанных пар эксплицировалось бы устранением оппозиций /a : ä/ или отсутствием конечного «глухого» *i*. Ср.: A. Graur, A. Rosetti, Esquisse d'une phonologie du roumain, «Bullétin linguistique», VI, 1938, стр. 5—10; A. Rosetti, Considerații asupra sistemului fonologic al limbii române, «Studii și cercetări lingvistice», VIII, 1, 1957, стр. 45—46.

В области лексики обнаруживаются многочисленные системные расхождения, возникающие в связи с разной диалектной основой и в связи с принадлежностью румынской и молдавской речи к разным языковым союзам. В качестве примера рассмотрим следующие параллельные микро-системы <sup>21</sup>.

Румынский	Молдавский	
1. <i>barză</i>	<i>кукостърк, барэ</i>	«анст»
2. <i>uzină</i> <i>zavod (zăvod)</i>	<i>завод, узинэ</i>	«завод»
3. <i>combină (combaină)</i> <i>combiner (combainer)</i>	<i>комбайн</i> { <i>комбайнер</i> <i>комбинатор</i>	«летний лагерь рыбаков» «комбайн» «комбайнер» «комбинатор» (человек)
<i>combinator</i>	—	«комбинатор» (прибор)

К сожалению, ввиду полной неисследованности этого вопроса провести систематизацию и типизацию этих системных дивергенций в области румынской и молдавской лексики пока не удастся.

Наиболее многочисленные фонетические, грамматические и лексико-семантические дивергенции между румынским и молдавским языком обнаруживаются на уровне нормы и узуса. Иллюстративные примеры этих расхождений мы давать не будем, поскольку они много раз приводились в литературе <sup>22</sup>. Вместе с тем следует иметь в виду, что использование отдельных иллюстративных примеров не исчерпывает существа дивергенций в норме и узусе двух близкородственных «говорений». Для того чтобы раскрыть специфику этих расхождений, необходимо применить такую процедуру, которая охватила бы всю массу этих расхождений на том или ином уровне языка. Поскольку норма и узус имеют статистическую природу <sup>23</sup>, эксплицировать расхождения двух близкородственных языков или вариантов можно с помощью статистико-дистрибутивного исследования параллельных или близких по стилю и содержанию текстов этих «говорений».

Первыми опытами такого фронтального сопоставления молдавской и румынской лексики и морфологии являются диссертационные работы Л. А. Новак и Н. Г. Маткаша. Исследование Л. А. Новак осуществлено на корпусе румынских и корпусе молдавских беллетристических, публицистических, научно-технических, разговорно-просторечных и диалектных текстов. Каждый корпус имеет примерно 150 тыс. словоупотреблений (около 500 стр.). Автором построен алфавитно-частотный словарь, включающий около 4 тыс. слов. Среди этих слов около 400 употребляется преимущественно в молдавских текстах, а 500 — в румынских <sup>24</sup>. Иными словами около 78% лексики молдавского и румынского

<sup>21</sup> При построении микросистемы мы опираемся на данные следующих словарей: «Dicționarul limbii române literare contemporane», I—IV, București, 1955—1957; «Dicționarul limbii române», Serie nouă, București, 1965; «Dicționar de neologisme», București, 1961; «Дикционар молдовенек-русек», М., 1961.

<sup>22</sup> См.: И. Д. Чобану, Пажинь дин трекутул Молдовей, Кишинэу, 1946, стр. 52—56; М. В. Сергиевский, Образование литературного языка в Молдавии, «Молдаво-славянские этюды», М., 1959, стр. 177—182; А. Т. Борщ, Молдавская лексикография, Кишинев, 1949, стр. 101—131; Р. А. Будагов, Молдавский язык среди романских языков, «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953, стр. 127; Н. Г. Корляту, Ымбогэдрия вокабуларулуй молдовенек ын периода советикэ, «Востоочно-славяно-молдавские отношения», Кишинев, 1961, стр. 13—24, и др.

<sup>23</sup> Р. Г. Пиотровский, Л. А. Турьгина, Антиномия «язык—речь» и статистическая интерпретация нормы языка, «Статистика речи и автоматический анализ текста», Л., 1971, стр. 41 и сл.

<sup>24</sup> Ср. следующие работы Л. А. Новак: «Частотный словарь молдавского и румынского языков», АЖД, Л., 1962; «Osservazioni sullo studio della statistica del lessico moldavo e francese» («Statistica linguistica», Bologna, 1971, стр. 367—375); «Alcuni problemi di statistica linguistica e i dizionari di frequenza», там же, стр. 377—441.

литературных языков обнаруживают, очевидно, близкие нормы употребления, а около 22% имеют разную статистику и дистрибуцию.

Еще более интересные результаты показало диссертационное исследование Н. Г. Маткаша. Сопоставляя румынский и молдавский частотные списки словоформ с помощью критерия ранговой корреляции по Спирмену:

$$R = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)},$$

где  $d$  — разность порядковых номеров (рангов) сравниваемых словоформ, а  $n$  — общее число этих последних<sup>25</sup>, Н. Г. Маткаш показал, что числительные и служебные слова, за исключением артикля, дают значительное статистическое схождение в обоих языках (от 80 до 100%). Напротив, у знаменательных слов это схождение заметно ниже (от 60 до 75%). Наименьшее схождение показывают формы артикля (около 50%). Это расхождение, по мнению автора, «связано с большим употреблением в молдавской публицистике форм родительного падежа под влиянием соответствующих флективных форм (генитивных конструкций) русского языка»<sup>26</sup>.

Разумеется, оба указанных исследования дают пока еще очень грубую оценку статистических дивергенций румынской и молдавской литературной речи. Более полные и точные данные, эксплицирующие народные противопоставления молдавского и румынского языков, можно получить, рассматривая статистику и комбинаторику большого числа лексических единиц и сочетаемость грамматических классов. Решить эту задачу с достаточной достоверностью можно только лишь путем исследования больших массивов параллельных молдавских и румынских текстов различных стилей. Объем работы здесь настолько велик, что реализовать эту задачу в обозримый срок можно только с помощью электронно-вычислительной машины. Само собой разумеется, что ЭВМ не сможет однозначно решить вопроса о самостоятельности румынского и молдавского языков — окончательное решение этой проблемы остается за лингвистом.

Первая задача ЭВМ состоит в том, чтобы выполнить рутинные работы, состоящие в выделении типовых контекстов и дистрибуций, в их классификации и подсчете, равно как в выявлении других комбинаторно-статистических параметров, характеризующих расхождение и схождение в норме и узусе молдавских и румынских текстов<sup>27</sup>. Работа в этом направлении уже начата. Приведем пробные машинные результаты по статистико-дистрибутивной обработке молдавских и румынских параллельных текстов<sup>28</sup> [взяты переводы одних и тех же фрагментов из работ В. И. Ле-

<sup>25</sup> Ср.: Я. Гаек, З. Шидак, Теория ранговых критериев, М., 1971, стр. 144—145.

<sup>26</sup> Н. Г. Маткаш, Лексика и морфология молдавской публицистики в сравнении с лексикой и морфологией других дако-романских функциональных стилей. АҚД, Л., 1967, стр. 14. Аналогичные исследования дивергенций в немецкой публицистической речи ГДР и ФРГ, но с применением более тонких статистических критериев, проведены А. С. Ротарь в работах: «Опыт статистического описания современных немецких публицистических текстов (к вопросу о некоторых дивергентных явлениях в газетных текстах ГДР и ФРГ). АҚД, Минск, 1971; «Применение критерия согласия  $\chi^2$  (К. Пирсона) для оценки степени близости теоретического и эмпирического распределения частот словоформ в подязыке немецкой публицистики», сб. «Статистика текста», I, Минск, 1969, стр. 181—197.

<sup>27</sup> Подробнее об использовании ЭВМ при решении лингвистических задач этого типа см. в работе: К. Б. Бектаев, С. К. Кенесбаев, Р. Г. Пиотровск и й, Об инженерной лингвистике, ВЯ, 1973, 2, стр. 173—180.

<sup>28</sup> Первая колонка цифр — номера словоформ, вторая колонка цифр — частоты

нина: «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» и «Задачи союзов молодежи» (Речь на III съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г.)]. Эксперимент осуществлен на ЭВМ «Минск-22» и «Минск-32».

1 ши	170	1 și	173
2 де	161	2 de	170
3 ын	146	3 în	147
4 а	96	4 a	116
5 сэ	78	5 să	76
6 май	66	6 o	62
7 о	52	7 mai	58
8 каре	46	8 din	53
9 дин	42	9 care	49
10 ку	39	10 cu	45

1 чя май маре	5	1 cea mai mare	5
2 де а се	4	2 de a se	4
3 ши де кэтре	4	3 internaționalei a 2-a	4
4 чя май аспрэ	3	4 de aceea	3
5 ын кытева	2	5 și de către	3
6 ын примул	2	6 ce este expus	2
7 ын рындул	2	7 cea mai dezgustătoare	2
8 ын стрэинэтате	2	8 cea mai severă	2
9 веке а фост	2	9 cel mai bun	2
10 дакэ н'ар фи	2	10 cele mai reacționare	2

Вторая задача, которая может быть поставлена перед машиной, состоит в определении с помощью разного рода статистических и информационных критериев<sup>29</sup> функционального веса нормативно-узуальных расхождений между молдавской и румынской литературной речью. Общая сумма весов этих дивергенций и будет являться информационно-статистической экспликацией противопоставления молдавского и румынского языков, — противопоставления, живущего в сознании носителей балканороманской речи. Идя по этому пути, можно было бы получить информационно-статистическую экспликацию дивергенций между другими близкородственными языками (например, чешским и словацким, таджикским и персидским), а также между вариантами одного языка (например, австрийским и немецким, кубинским и испанским).

Располагая достаточно представительным материалом лингвостатистических и информационных экспликаций для дивергенций, существующих между близкородственными языками и вариантами (диалектами) одного языка, мы могли бы приступить к определению тех лингвистических критериев, с помощью которых можно было бы решать вопрос о самостоятельности того или иного «говорения».

<sup>29</sup> Речь здесь может идти не только об использовании ранговых критериев, а также критерия соответствия  $\chi^2$ , критерия Стьюдента, но также и о сопоставлении информационных измерений текстов как с точки зрения селективной, так и смысловой информации (ср.: Х. Ц. Георгиев, В. И. Богодист, Т. Ф. Коженец, В. Н. Пестунова, Р. Г. Пиотровский, С. В. Райтар, Измерение смысловой информации, «Частные вопросы автоматического анализа текстов», Минск, 1972, стр. 6—16).

С. Н. СЫРОВАТКИН

### ЗНАЧЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЯЗЫКА В СЕМИОТИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКЕ

0. В предлагаемой заметке рассматриваются две в значительной степени перекрывающиеся фундаментальные проблемы языкознания — вопрос о характеристиках высказывания как целого в плане содержания и, в связи с этим, вопрос о функциях языка. Указанные проблемы, несомненно, принадлежат к числу наиболее актуальных и широко дискутируемых<sup>1</sup>. Полагаем, что их выяснению может способствовать анализ соответствующих понятий в рамках лингвосемиотики — дисциплины, использующей результаты общей семиотики и ориентированной на естественный язык.

1. Приведем некоторые исходные определения. Термин «высказывание» — один из редких в лингвистике почти однозначных терминов: он регулярно обозначает отрезок говорения, отграниченный от аналогичных единиц сменой говорящего лица<sup>2</sup>. Синекдохически этот же термин употребляется и в смысле «минимальное высказывание», т. е. высказывание, не делимое далее на единицы с теми же признаками. В этом же последнем смысле используются термины «предложение»<sup>3</sup> и «фраза», как в настоящей работе. С формальной стороны фраза характеризуется как интонационная единица.

Гораздо более сложным оказывается определение понятия «содержательные характеристики минимального высказывания, или фразы». Пока ограничимся самыми предварительными, рабочими определениями. В качестве исходного момента возьмем некоторые наблюдения, сделанные еще древнегреческими философами. То, что в современной семиотике называется семиотической ситуацией, или семиозисом, было вполне компетентно описано уже Платоном в связи с чисто семиотической проблемой эквивалентности звукового и незвукового языков<sup>4</sup>. Семиозис — такая ситуация, в которой используется известное средство («органон») «объяснять друг другу вещи», т. е. осуществлять коммуникацию. Ясно, что в каждом непосредственно данном акте семиозиса коммуникативная функция реализуется в высказывании и минимальном высказывании.

<sup>1</sup> Достаточно указать, что в коллективной монографии «Общее языкознание» (М., 1970) функции языка рассматриваются с разных точек зрения почти каждым из авторов разных глав.

<sup>2</sup> См.: Ch. F r i e s, *The structure of English*, London, 1957; K. L. P i k e, *Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior*, Glendale, 1955. Для этой единицы предлагался термин-калька «эттерема» (см.: О. С. А х м а н о в а, К вопросу об основных понятиях метаязыка лингвистики, ВЯ, 1961, 5). Иные употребления этого термина редки (см., например: Д. С. У о р т, Об отображении линейных отношений в порождающих моделях языка, ВЯ, 1964, 5).

<sup>3</sup> См.: П. С. П о п о в, Суждение и предложение, «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950; Е. В. К р о т е в и ч, Предложение и его признаки, Львов, 1954.

<sup>4</sup> «Античные теории языка и стиля», М.—Л., 1936, стр. 47.

Естественно определить фразу по ее функции как инструмент осуществления коммуникации — знаковый коррелят незнаковых сущностей, относительно которых в акте коммуникации устанавливается взаимопонимание.

В тесной связи с приведенной характеристикой высказывания стоит одна его специфическая черта, также подмеченная в древнегреческой философии. Стоиками был сформулирован тезис о принципиальном отличии предложения как всегда значащей, нечто сообщающей единицы от всех других типов единиц, составляющих языковой универсум, например, от слов<sup>5</sup>: «Слово отличается от предложения тем, что предложение всегда значаще, слово бывает и незначащим, например, βλίτιον, а предложение — никоим образом». В приведенном высказывании стоиков нетрудно обнаружить логический парадокс, разрешение которого приводит к интересным заключениям по проблеме содержательных характеристик высказывания. В самом деле, согласно стоикам, слово бывает незначащим, а предложение всегда значаще. Есть основания полагать, однако, что любое слово может (при определенных условиях контекста, включая контекст ситуации) быть предложением. Таким образом, словом-предложением может оказаться незначащий элемент — вопреки основной посылке. Единственный способ преодолеть указанное затруднение — это расщепить понятие значения предложения на значение слова и значение высказывания. В этом случае однословное предложение может не иметь никакого значения как слово, т. е. не быть элементом кода, и тем не менее иметь значение иного, «несловарного» типа.

Возникает вопрос, насколько такая логическая операция оправдана фактами речевой деятельности. Существуют ли такие единицы значения, которые передаются всем высказыванием в целом, а не отдельными его компонентами? По этому поводу высказываются две резко противоположные точки зрения. Некоторые авторы с порога отрицают возможность положительного ответа на поставленный здесь вопрос: «значение предложения сводится к значениям индивидуальных морфем, которые его составляют»<sup>6</sup>. Этому взгляду можно противопоставить мнение Н. С. Трубецкого: «Обозначаемым в речи является совершенно конкретное сообщение, которое имеет смысл как целое»<sup>7</sup>. Такой же точки зрения придерживаются пражские функционалисты в наше время: «с точки зрения содержания (значения) высказывание не является, по-видимому, простой суммой или интеграцией значений отдельных наименований; оно от этих значений в определенной степени не зависит»<sup>8</sup>.

В пользу известной автономности содержания высказывания от значения его компонентов говорит возможность семантизации нерасчлененных или почти нерасчлененных звуковых комплексов, например, высказываний на незнакомом языке, при условии типичности ситуации общения и взаимодействия с неязыковыми семиотическими системами (например, языком жестов). С целью демонстрации этого тезиса было проделано множество экспериментов следующего типа. В аудитории, не владеющей никакими иностранными языками, кроме английского, в ситуациях определенного типа произносились фразы на других языках — немецком, французском, испанском, итальянском, сербском, суахили и др. Результат эксперимента считался положительным, если испытуемый правильно реагировал на реплику на неизвестном языке или давал хотя

<sup>5</sup> «Античные теории...», стр. 70.

<sup>6</sup> L. A n t a l, Content, meaning and understanding, The Hague, 1964, стр. 22.

<sup>7</sup> Н. С. Т р у б е ц к о й. Основы фонологии, М., 1960, стр. 8.

<sup>8</sup> J. K u s h a ř, К общей характеристике номинации, «Travaux linguistiques de Prague», 3, 1968, стр. 125.

бы приблизительно верный перевод. Число удачных испытаний превзошло ожидания экспериментатора. Относительная автономность содержания высказывания от значений его компонентов поддается экспериментальной проверке также с помощью испытаний прямо противоположного характера, а именно заданием испытуемым слов и выражений с совершенно прозрачными «словарными» значениями, не представляющих собой сообщений (например, «восемь», «стенка», «зеленый», «и» и т. д.) в ситуациях, которые никак не могут быть увязаны с этими значениями. Вполне естественно, эти акты речи вызвали реакции непонимания («Что восемь?» «Какая стенка?» «О чем вы?»), т. е. некоторое измерение значения осталось неизvestным интерпретатору.

Изложенные здесь соображения наталкивают на вывод о том, что суть собственно «фразового» слоя в глобальном значении высказывания (включающем значения составляющих высказывания) целиком определяется его функцией как средства общения. Наделенные этой функцией бесструктурные сигналы обладают специфически фразовым значением, а лишенные ее «словарно» понятные отрезки говорения лишены и специфически фразового значения, так что значение и функция (или функции), принадлежащие собственно высказыванию (не его составляющим), могут быть отождествлены. Отсюда вывод: если мы хотим построить систему, описывающую содержательные характеристики высказывания, следует принять в качестве исходного материала то, что известно о функциях высказывания. Но рассматривать функции высказывания — значит рассматривать функции языка и речи в целом, поскольку все они интегрируются и реализуются именно в высказывании.

2. Обращаясь к литературе вопроса, обнаруживаем, что среди лингвистов и философов нет не только единства мнений в решении этой проблемы, нет даже единства в ее постановке. Как правило, та или иная функция языка постулируется в качестве единственной или доминирующей как нечто само собой разумеющееся. Акцент на той или иной функции имеет следствием выбор для исследования той сферы языкового материала, для которой эта функция характерна, что в свою очередь в известной мере предопределяет существо теоретических построений. Соответственно почти каждое лингвистическое направление имеет особое (хотя и не всегда четко оформленное) воззрение по данной проблеме. Разбору многообразных мнений о функциях языка можно было бы посвятить специальное исследование (приводимая ниже подборка имеет чисто иллюстративный характер).

Выделялись такие функции языка: 1) средство «объяснять друг другу вещи» (см. выше), т. е. коммуникативная; 2) средство воплощения духа нации (Гумбольдт); 3) средство выражать мысли (Мюллер); 4) средство воплощения индивидуальной психики (Штейнталь); 5) = 1) средство общения (Соссюр, женевская школа); 6) средство эстетического самовыражения (Фосслер); 7) средство актуализации индивидуума в актах общения (лингвисты бихевиористской ориентации); 8) функции символическая и эмотивная (Огден), научная и эстетическая (Черри); познавательная и силовая (Ушенко); 9) информативная, оценочная, систематизирующая, побудительная (Моррис); 10) ключ к системе человеческой психики (Ельмслев); 11) эмотивная, вокативно-императивная, референтная, метаязыковая, поэтическая (Якобсон); 12) коммуникативная (регулирующая поведение), интеллектуальная, функция овладения общественно-историческим опытом человечества, национально-культурная, познавательная (А. А. Леонтьев), и т. д.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Аналогичную подборку см. в работе Г. В. Колшанского «О функции языка» («Ин. яз. в высш. шк.», 1963, 2).

В рамках советского языкознания существуют резко противоположные точки зрения по этому вопросу: с одной стороны, выдвигаются теории полифункциональности языка (А. С. Чикобава, А. А. Реформатский, Б. Н. Головин, авторы коллективной монографии «Общее языкознание»), а с другой, — язык рассматривается как явление монофункциональное (Г. В. Колшанский, Р. В. Пазухин). В одних работах имеются в виду функции глобального объекта («язык вообще», рассматриваемый безотносительно к членению на систему и текст, сообщение и код), в других говорится о функциях языка как о чем-то отличном от функций речи, причем толкование понятия «функции языка», «функции речи» у разных авторов различно (ср. взгляды А. А. Леонтьева и В. А. Звегинцева). Для полноты картины можно отметить, что многие авторы строят лингвистические системы большой степени общности, совершенно не касаясь вопроса о функциях языка (Р. А. Будагов, Ю. С. Степанов, С. К. Шаумя и И. И. Ревзин и др.).

3. Мы полагаем, что проблема функций языка (и тем самым значения высказывания) может быть правильно поставлена и решена лишь в рамках определенного взгляда на язык как семиотический феномен. При таком подходе вопрос о функциях языка ставится на конкретную почву обсуждения функций и свойств языковых знаков. Базой позитивного решения проблемы будут следующие определения.

Знак есть материальное объективно воспринимаемое образование, предмет<sup>10</sup>, конституируемый в качестве знака своими отношениями 1) обозначения — к материальным или идеальным предметам, 2) выражения — к отражению этих предметов в психике, 3) импликации — к другим знакам. Соответственно можно выделить три основные функции знака — семантическую, прагматическую, синтактическую<sup>11</sup>. Знак в указанном смысле — это «реальный знак»<sup>12</sup>, знак в процессе семиозиса, употребляемый конкретным субъектом для обозначения определенных сущностей и фактов, находящийся в конкретных, определяемых ситуацией и контекстом отношениях к другим знакам — отношениям выбора и сцепления. Будем называть такой знак актуализованным знаком (А-знаком), а его функции — актуализованными функциями (А-функциями).

Выделение А-знаков предполагает, что они в каком-то смысле существуют, и не будучи актуализованными. Предпосылкой актуализованного бытия знака является языковая способность, знание (разумеется, не только сознательное) кода, позволяющее субъекту соотносить знаки и предметы примерно таким же образом, как и множество других членов языковой общности. При рассмотрении знака как элемента кода (назовем его кодовым знаком, или К-знаком) в сравнении с А-знаком обнаруживаем, что его функции претерпевают определенные изменения в сторону абстрагирования. Прежде всего он лишается перцептивной функции<sup>13</sup>, т. е. атрибута чувственной воспринимаемости (с этой точки зрения вряд ли можно согласиться с распространенным определением языка как системы материальных знаков). Против этого можно возразить, что можно «материализовать» знак, не актуализуя его (ср. приводившиеся выше примеры типа «восемь», «стенка»)<sup>14</sup>. Однако естественно видеть здесь

<sup>10</sup> В смысле А. А. Зиновьева; см.: А. А. Зиновьев, Об основах абстрактной теории знаков, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963.

<sup>11</sup> В классической работе Я. Морриса эти функции рассматриваются как три и з м е р е н и я семиозиса, но их определение — чисто функциональное, в духе сказанного выше; см.: Ch. Morris, Foundations of the theory of signs, Chicago, 1945, стр. 6.

<sup>12</sup> А. А. Леонтьев, Язык, речь, речевая деятельность, М., 1969, стр. 47.

<sup>13</sup> А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 29.

<sup>14</sup> Аналогичными примерами фрагментарного цитирования системы знаков оперирует А. А. Ветров (см.: А. А. Ветров, Семиотика и ее основные проблемы, М., 1968).

просто пример крайне ущербной актуализации знака — случай, когда функции знака оказываются плохо определенными (в особенности в том, что касается денотативной функции). Практика свидетельствует, что случаи идеальной актуализации знаков вообще не бывает, и что удачность актуализации варьирует в чрезвычайно широком диапазоне. Отсюда вывод: не следует исключать из множества А-знаков и примеры плохо актуализованных знаков, относя их целиком к коду.

В «снятом» виде представлены в коде и другие К-функции знака, являющиеся отвлечениями от его А-функций. Абстрактный характер К-функций предопределяется утерей знаком его перцептивной функции при транспозиции его в систему, в код. О К-знаке можно говорить лишь как о некоей нематериальной точке в множестве других точек, положение которой в так называемом поэтическом пространстве определяется тремя координатами, принадлежащими трем классам К-функций.

Так, денотативная, или референциальная функция А-знака не может быть прямо перенесена в код: нематериальный знак не имеет актуальной соотношенности с определяемыми условиями семиозиса фактами и сущностями. В этом плане К-знак определяется особой семантической К-функцией — десигнативной, т. е. отношением потенциального обозначения фактов и сущностей некоторых классов.

Прагматическая функция А-знака — быть выразителем отношения данного субъекта к миру объективных предметов и к партнеру в конкретном семиотическом акте. В понятие соответствующей К-функции входят обобщенные, константные признаки совокупного множества знаков, рассматриваемых как средство воплощения указанных отношений, т. е. способа перцепирования субъектами объективного мира и их позиции в коммуникативном акте.

Синтаксическая функция А-знаков определяется их логической связанностью с другими А-знаками и способностью заменять другие А-знаки в определенных ситуациях. Соответствующая К-функция воплощает общие признаки, в которых манифестируется соотношенность знаков с другими знаками на синтаксической и парадигматической осях системы. А-функции являются, таким образом, манифестациями К-функций, они всегда богаче по содержанию, но беднее по объему, чем последние.

Имеются существенные различия между А-знаками по способу проявления в них К-функций. В одних случаях в А-знаках манифестируются центральные значения К-функций, в других — маргинальные. Различия между ними — в степени определенности: центральные значения К-функций определены точно, маргинальные — приблизительно. Эти кодовые характеристики детерминированы особенностями использования знаков в речевой деятельности: центральные кодовые значения знаков актуализируются в речи узуально, а маргинальные — окказионально. Противопоставление центральных и маргинальных значений в семантическом измерении покрывает, как представляется, различие значения и содержания (и соответственно универсальных и частных высказываний), проводимое Л. Анталом<sup>15</sup>. Однако, в отличие от указанного автора, мы полагаем, что в компетенцию лингвистики входит изучение как центральных, так и маргинальных значений, поскольку и те, и другие содержатся в коде, хотя и в различных субкодах, которым должны соответствовать различные лингвистические субмодели. Все значения составляющих актуального знака предсказуемы на основании К-функций — в более или менее обобщенной форме. С этой точки зрения, задача заключается в том, чтобы разработать типологию субкодов и изучить их взаимоотно-

<sup>15</sup> L. Antal, указ. соч., стр. 21 и сл.

шения друг с другом, а также с лингвистическими кодами. Последнее оказывается необходимым, так как в семиотическом акте взаимопонимание достигается не только с помощью натурального звукового языка, — в нем функционируют также иные знаковые системы. Кроме того, сам А-знак как физическое явление включает аспекты и компоненты, релевантные относительно семиозиса, но не относящиеся к коду натурального знака, а лишь создающие так называемый образ говорящего.

4. Дальнейшее уточнение функций языкового знака связано с выделением из всего множества А-знаков основной знаковой единицы. Из данного ранее определения знака ясно, что в качестве такой основной единицы следует принять высказывание, точнее, минимальное высказывание — фразу<sup>16</sup>. Образуемый кодовыми характеристиками класса фраз абстрактный объект будем называть семионом. Составляющие фразы являются А-знаками именно в качестве составляющих фразы, поэтому их можно считать вторичными А-знаками, а классы таких вторичных знаков, задаваемые кодовыми характеристиками, естественно называть синсемионами. Образования более сложные, чем фраза — цепь связанных фраз, абзац, строфа, глава<sup>17</sup> — актуализируются пофразно и потому поддаются описанию в терминах семионов и синсемионов. Ввиду этого они также не могут претендовать на роль центральной из знаковых единиц<sup>18</sup>; классы гиперфраз, взятых в содержательном аспекте, можно обозначить термином эписемионы<sup>19</sup>.

Возвращаясь теперь к определению высказывания § 1, видим, что определение его по коммуникативной функции было не неверным, но далеко не полным. Кодовые содержательные характеристики фразы (то, что входит в понятие семиона), вовсе не исчерпываются тем измерением семиозиса, которому принадлежат ее коммуникативные свойства. Вполне очевидно, что признаки, определяющие коммуникативную целевую установку высказывания (функции декларативная, побудительная, вопросительная) входят в прагматическое измерение (как в родовую функцию). Так же очевидно, что они этого измерения не исчерпывают: имеется группа признаков высказываний, выделяемых безотносительно к двусторонности акта общения — в плане отношения высказывания к высказываемому. Признаки этого последнего типа (видовые функции) можно было бы назвать экспликативными (родовая функция). Сюда входят актуальная расчлененность, расчлененность на субъект и предикат (и соответственно отсутствие таких членений), утвердительность — отрицательность, полнота — неполнота, законченность — незаконченность и т. д.

Прагматическое измерение значения высказывания в звуковом языке является доминирующим, но это не значит, что содержание семиона может быть адекватно описано без учета двух других измерений — семантического и синтаксического. Признаки семантического порядка (такие,

<sup>16</sup> Эта точка зрения аргументируется в таких, например, работах: В. Г. Г а к. О двух типах знаков в языке (высказывание и слово), «Материалы к конференции, „Язык как знаковая система особого рода“», М., 1967; А. С. М е л ь н и ч у к. О знаковой природе предложения, там же; L. J. P r i e t o, Principes de noologie, The Hague, 1964.

<sup>17</sup> Для этих образований нами предложен термин «гиперфразы», см.: С. Н. С ы р о в а т к и н, О путях совершенствования порождающих моделей языка, «Вопросы английской филологии», Пятигорск, 1966.

<sup>18</sup> Противоположная точка зрения выражена Д. С. Уортом (указ. соч.).

<sup>19</sup> Использование терминов «семион» и «эписемион» в настоящей работе не имеет ничего общего с их применением С. К. Шаумяном, который из всех функций знака рассматривает лишь десигнативную; см.: С. К. Ш а у м я н, Структурная лингвистика, М., 1965.

как отношение высказывания к действительности) непременно присутствуют во всех теориях высказывания, не ограничивающихся формальной стороной языковых явлений. В свете сказанного ясно, что описания высказываний в этом аспекте недостает общей перспективы. Например, вне семиотического подхода вряд ли может быть осознан тот факт, что отношение высказывания к фрагменту действительности (объективной или воображаемой) есть родовая функция, могущая быть расчлененной на ряд видовых признаков — таких, как категорематичность (мотивированность фразы некоторым фактом, событием, отсылка к которому составляет содержание фразы), энтичность (способность фразы обозначать «сущности», т. е. предметы в отвлечении от акциденций), мотивированность (причинно-следственную связь фразы с денотатом), темпоральность, модальность и др.

Синтаксические значения также входят неотъемлемой частью в характеристику семиона. Как указывалось выше, синтаксическое измерение значения высказывания покрывает многообразные отношения импликации знаков в синтагматике и парадигматике. В последнее время наблюдается мощное (правда, скорее по объему, чем по результатам) развитие исследований в области взаимосвязи высказываний на синтагматической оси — в особенности на материале русского и английского языков. Как представляется, в большинстве этих исследований<sup>20</sup> отчетливо проявляется тенденция применять метаязык лингвистического синтаксиса за пределами его законной области — отношений синсемионов. Прогресс в этой сфере невозможен без осознания несостоятельности таких операций и перехода на метаязык с е м и к и — так можно предположительно назвать отрасль лингвосемиотики, имеющую своим объектом функционирование высказываний в контексте семического акта. Выступающая в качестве родовой имплицативная функция может быть расщеплена на ряд видовых — таких, как функция респонсивности (ответ имплицитно подразумевает вопрос), элицитивности (в паре высказываний первое содержит недостаточную информацию, запрашиваемую с помощью второго, элицитивного высказывания), дискутивности (дискутивная фраза имплицитно предшествующую в силу того, что выражает согласие или несогласие субъекта с высказанным в этой предшествующей фразе), и т. д.

5. Разумеется, приведенные здесь соображения — не более чем эскиз системы содержательных характеристик высказываний, формулируемой на семиотической основе. За пределами статьи остались такие проблемы, как: 1) обоснование метода, с помощью которого точно и единообразно фиксируются видовые функции, частично перечисленные выше; 2) оценка выдвинутой гипотезы о системе семических функций с точки зрения ее простоты и полноты, или продуктивности; 3) вероятно-статистическая интерпретация логической схемы. Работа в этих направлениях подтверждает плодотворность семиотического подхода к описанию содержательной стороны высказываний.

<sup>20</sup> Имеем в виду работы Н. Ю. Шведовой (в особенности «Очерки по синтаксису русской разговорной речи». М., 1960), Г. А. Вейхмана, С. С. Беркнера и др.

Д. И. АРБАТСКИЙ

О СПЕЦИФИКЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТИПАХ

Изучение семантических определений, способов толкования лексических значений слов является одним из важнейших вопросов семасиологии, лексикографии<sup>1</sup>. Анализ этих определений в свете диалектико-материалистической теории познания представляется вполне закономерным и необходимым.

В рамках формальной логики семантические дефиниции толкуются обычно как однофункциональные высказывания, которые выполняют лишь «чисто» языковую функцию. В отличие от «реальных» определений они относятся к словам, иногда — к понятиям, но не к предметам и явлениям объективного мира<sup>2</sup>. Представители математической логики вообще отвлекаются от мыслительного и предметного содержания этих определений и трактуют их лишь как чисто условные формулы перевода с одного языка на другой или как правила сокращения высказываний<sup>3</sup>. Между тем семантические определения — это многофункциональные высказывания, они одновременно выполняют целый ряд взаимосвязанных между собой познавательных функций.

Прежде всего семантические определения обращены к слову, к языку, их главное назначение состоит в том, чтобы ввести новое слово или термин в язык коллектива или индивидуума, а также раскрыть значение нового или недостаточно ясного слова, термина. Эти дефиниции образуют значения из других значений, раскрывают объем слова, термина и его содержание (смысл), т. е. количественную и качественную сторону значения слова. Система семантических определений фиксирует семантическую систему языка в целом, раскрывает процесс ее развития, формирования.

Но при этом дело отнюдь не ограничивается установлением чисто языковых соответствий между словами, терминами. Слова языка указывают на объекты речи, мысли, поэтому толкование значения слова заключается в конце концов в том, чтобы раскрыть их предметную связь, дать предельно краткое описание мыслимого предмета речи. Таким образом, семантические определения — это определения не только слов, но также и отраженных в сознании объектов речи.

<sup>1</sup> См.: Л. В. Щербачева, Опыт общей теории лексикографии, «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1959, стр. 69; В. В. Виноградов, Семнадцатитомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания, ВЯ, 1966, 6, стр. 25.

<sup>2</sup> См.: P. C a w s, The functions of definition in science, «Philosophy of science», 26, 3, 1959, стр. 224; G. K l a u s, Spezielle Erkenntnistheorie, Berlin, 1960, стр. 197—198; K. P a s e n k i e w i c z, Logika ogólna, I, Warszawa — Kraków, 1963, стр. 51; см. также: X. K a s a r e s, Введение в современную лексикографию, 1954, стр. 174.

<sup>3</sup> См.: A. N. Whitehead, B. R u s s e l, Principia mathematica, I, 2-nd ed., Cambridge, 1935, стр. 11; Л. Витгенштейн, Логико-философский трактат, М., 1951, стр. 76; А. Чёрч, Введение в математическую логику, I, 1960, стр. 388; Х. Карри, Основания математической логики, М., 1969, стр. 164.

Мысль о том, что определения значения слов — «имен вещей» — это в конце концов определения самих предметов и явлений, обозначаемых поясняемым словом, высказывались многими авторами, взгляды которых по этому вопросу часто не отличались строгой последовательностью.

Еще Т. Гоббс утверждал, что определение значения слова достигается в конце концов «посредством возможно краткого описания вещи»<sup>4</sup>. Всякое номинальное определение не подразумевает, а открыто содержит в себе реальное определение, т. е. определение предмета. Это несомненно материалистическая по своей сути формулировка лежит в основе высказываний многих лексикографов по этому вопросу. Главная проблема истолкования значений слов в словарях — это выявление их предметной направленности, соотношения слов и обозначаемых ими предметов, явлений действительности<sup>5</sup>.

Классики марксизма-ленинизма никогда не противопоставляли определения самих вещей, явлений объективного мира и определения значения слов, терминов. Напротив, они исходили из того, что определения значений слов даются посредством указания на предметы, что определения предмета является одновременно и определением значения слова. Так, В. И. Ленин формулирует определение ликвидаторства как определение смысла слова, как семантическое определение. «Ликвидаторство в тесном смысле слова, ликвидаторство меньшевиков, состоит идейно в отрицании революционной классовой борьбы социалистического пролетариата вообще и, в частности, в отрицании гегемонии пролетариата в нашей буржуазно-демократической революции»<sup>6</sup>.

При анализе роли массы в революционном процессе В. И. Ленин дает как равноценные определение самой массы и определение значения слова *масса*.

Вначале В. И. Ленин определяет массу в предреволюционный период. Это определение соответствует «реальному» вопросу, что такое масса. «Если несколько тысяч беспартийных рабочих, обычно живущих обывательской жизнью и влачащих жалкое существование, никогда ничего не слыхавших о политике, начинают действовать революционно, то перед вами масса»<sup>7</sup>. В дальнейшем речь идет уже об определении значения слова *масса*, а это соответствует вопросу, что понимать под словом *масса*: «Это слово начинает означать нечто другое. Понятие массы изменяется в том смысле, что под ним разумеют большинство, и притом не простое лишь большинство рабочих, а большинство всех эксплуатируемых; другого рода понимание недопустимо для революционера, всякий другой смысл этого слова становится непонятным»<sup>8</sup>. В толковых словарях советской эпохи энциклопедические по своей сути определения материи, сознания, классов, капитализма, социализма, империализма, данные классиками марксизма-ленинизма, систематически используются в качестве соответствующих семантических (словарных) определений.

<sup>4</sup> Т. Г о б б с, Избр. произведения, М. — Л., 1926, стр. 58; см. также: С. М и л л ь, Система логики, М., 1914, стр. 100; К. Д. У ш и н с к и й, Собр. соч., 10, стр. 236 и др.

<sup>5</sup> В. В. В и н о г р а д о в, Основные типы лексических значений слов, ВЯ, 1953, 5, стр. 6; О. С. А х м а н о в а, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1958, стр. 91; А. П. Е в г е н ь е в а, Определение в толковых словарях, сб. «Проблема толкований слова в филологических словарях», Рига, 1963, стр. 11; см. также: Д. П. Г о р с к и й, О видах определений и их значения в науке, «Проблемы логики научного познания», М., 1964, стр. 300.

<sup>6</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 19, стр. 45.

<sup>7</sup> Там же, 44, стр. 31.

<sup>8</sup> Там же, стр. 31—32.

Таким образом, противопоставление семантических и энциклопедических определений в том смысле, что первые касаются только слов (а не вещей), а вторые относятся лишь к вещам (но не к понятиям или словам) лишено оснований. Каждая из этих дефиниций имеет свои цели, сферу преимущественного применения, однако объекты определения тех и других в итоге в большинстве случаев совпадают<sup>9</sup>.

Семантические определения — это отнюдь не чисто условные формулы, а фиксирование наиболее общих признаков, отношений объективного мира, выражение многообразной классификации предметов и явлений реальной действительности. Эффективность этих определений зависит прежде всего от того, насколько точно и полно они раскрывают ту связь, которая лежит в основе значения слова между предметами и словами, вещами и терминами.

Поскольку объективная информация, фиксируемая семантическими определениями, отражается в сознании, мышлении человека, то семантические дефиниции одновременно выполняют еще одну существенную функцию — являются средством экспликации и формирования соответствующих понятий, представлений. В данных определениях фиксируется и закрепляется за словами объективная информация в той мере и в том виде, как она отражается в нашем мышлении и соответствующих понятиях и представлениях.

«Семантические» понятия и представления менее точны и менее содержательны, чем энциклопедические понятия и представления. Это — естественно, ибо они в целом отражают менее существенную информацию. Однако в целом они весьма близки к ним, нередко даже тождественны. «Тривиальные понятия, составляющие содержание слов обычной речи, замечает М. Борн, — отличаются от научных понятий некоторой расплывчатостью, их границы плохо очерчены, а лежащие в их основе классификационные признаки и представления недостаточно точны, а иногда и ошибочны. Но в принципе они однородны с абстрактными понятиями науки и отличаются от них только допуском, аппроксимацией, степенью приближения»<sup>10</sup>. В связи с расширением научных знаний и повышением уровня образования семантические понятия и представления становятся более точными и содержательными. Расхождение между семантическими и энциклопедическими понятиями тем меньше, чем выше уровень культурного развития и образования данного коллектива, общества.

Таким образом, семантические определения обладают тем же «набором» важнейших познавательных функций, что и энциклопедические дефиниции, они: а) раскрывают смысл слов, вводят новые слова и термины, развивают и совершенствуют семантическую систему языка, б) фиксируют классификации предметов и явления объективного мира, наиболее существенные связи и отношения, познанные наукой и практикой, в) формируют, обогащают, обновляют понятия, представления, связанные со словами, терминами. В то же время определения данных двух типов существенно различаются как по форме, так и по содержанию. Энциклопедические определения предназначаются прежде всего для раскрытия сущности предметов и явлений, поэтому мыслеформирующая и семантическая функции этих определений вторичны, они выполняются лишь в той мере, в какой это необходимо для раскрытия главной предметной функции. В семантических же определениях, наоборот, основной функцией является семантическая, предметная же и мыслеформирующая функция

<sup>9</sup> См.: Д. И. Арбацкий, Об объектах семантических определений, «Вопросы теории и методики изучения русского языка», IV, Ижевск, 1965, стр. 20—22.

<sup>10</sup> М. Борн, Физика в жизни моего поколения, М., 1963, стр. 95.

у них осуществляется лишь в той мере, в какой это необходимо для раскрытия семантической функции. Таким образом, семантические дефиниции отличаются от энциклопедических дефиниций не совокупностью функций (в этом они тождественны), а своей главной направленностью, степенью осуществления данных функций. Из этого основного различия вытекает различие в содержании и структуре определений.

Теоретические воззрения исследователей исходят обычно из представления о функциональной однородности семантических определений, ведутся поиски наиболее оптимального единого типа толкований<sup>11</sup>. Между тем сам характер лексических значений слов и конкретные цели, обстоятельства применения семантических определений весьма разнообразны, поэтому ни один универсальный тип толкований не может в равной мере удовлетворить все потребности в раскрытии значений слов. В лексикографической практике уже давно сформировался целый ряд функциональных разновидностей семантических дефиниций, которые в совокупности позволяют наиболее полно, всесторонне раскрыть всю семантическую систему языка в процессе ее развития. Не раскрыв специфику данных функциональных разновидностей, невозможно в полной мере понять существо семантических определений, их познавательную роль.

По способам построения семантические определения делятся на остенсивные (наглядные) и вербальные (словесные).

Остенсивные определения являются, несомненно, наиболее элементарными способами анализа значений слов. Б. Рассел и его последователи относят сюда такие случаи, когда пояснение дается через показ предмета, сопровождающийся произнесением его названия, например, слова *тигр* при виде тигра в зоопарке<sup>12</sup>. Однако это сравнительно редкий случай, в практике гораздо чаще используются двучленные остенсивные определения типа *хаки* — цвет, *тукан* — птица, *тенор* — вид голоса, *джерси* — ткань и др. В данных полуостенсивных определениях вербальная часть играет, несомненно, большую роль в раскрытии значений слов, причем решающее значение остается за демонстрацией самого предмета или явления.

Остенсивные определения закладывают основу семантической системы индивидуума, наиболее прочно связывают слова (язык) с предметом (реальным миром); одно остенсивное определение стоит нередко многих длинных описаний. Однако в силу слабой расчлененности, диффузности их возможности ограничены. Наиболее эффективными являются, несомненно, вербальные толкования, передающие необходимую информацию наиболее точно, расчлененно и обобщенно.

Сфера применения остенсивных и вербальных определений неодинакова. Имеются такие слова, значение которых устанавливается прежде всего при помощи остенсивных дефиниций, например, обозначения цвета, звука, запаха, вкуса, и др. С другой стороны, значения слов типа *абстрактный*, *число*, *обобщение* и под. могут быть раскрыты лишь с помощью вербальных толкований. Однако в большинстве случаев сфера применения этих определений совпадает. Поэтому наиболее эффективными для формирования значений слов являются не чисто вербальные, а вербально-остенсивные дефиниции, которые одновременно формируют и общие понятия, и наглядное представление о том или ином предмете. Такие определения особенно

<sup>11</sup> См.: U. W e i n r e i c h, Lexicography definition in descriptive semantics, «International journal of American linguistics», 1962, 2, стр. 32.

<sup>12</sup> Б. Р а с с е л, Человек и познание, М., 1957, стр. 98—106; Д. П. Г о р с к и й Проблема значения (смысла) знаковых выражений как проблема их понимания, сб. «Логическая семантика и модальная логика», М., 1967, стр. 62—63; К. П о п а, Логический и гносеологический аспекты остенсивных определений, ВФ, 1969, 12.

важны для раскрытия значений слов, требующих непосредственного наблюдения, например, *ехидна, нефть, турбина, завод* и под. В этих случаях задача заключается в том, чтобы найти наиболее эффективные способы объединения анализируемых дефиниций в единое целое.

Каждое семантическое определение фиксирует объем значения (отраженный в сознании класс, множество предметов) и содержание значения (отраженные в сознании отличительные признаки данного класса предметов)<sup>13</sup>. Имеется немало семантических дефиниций, которые в одинаковой мере раскрывают объем и содержание значений слов или терминов. Однако в практике далеко не всегда бывает возможным и необходимым в одинаковой мере полно и подробно фиксировать обе стороны значения. Поэтому все чаще используются определения, которые, сохраняя оба аспекта, тем не менее наиболее полно раскрывают лишь одну сторону лексического значения — его объем или содержание.

**Ф о р м а л ь н ы е** (э к с т е н с и о н а л ь н ы е) д е ф и н и ц и и предназначаются прежде всего для точного выделения сферы применения того или иного слова, для разграничения значений, многозначности или омонимии. В силу этого данные определения ограничиваются лишь минимумом сведений, необходимых для точного выделения значения слова среди других смежных или сходных значений; в них фиксируются лишь дифференцирующие семантические признаки, лежащие в основе мало-содержательных «формальных» понятий<sup>14</sup>. Так, для полного раскрытия современного содержания слова *вода* необходимо указание на целый ряд признаков — химический состав, агрегатное состояние, роль в жизни животного и растительного мира, распространенность на земле, форма существования и др. Для составления формального дифференцирующего определения достаточно указать минимум отличительных признаков — отношение к классу жидкостей, отсутствие цвета и запаха.

Нередко формальные определения не столько раскрывают смысл слова, сколько показывают смысловые связи, соотношения между словами данной лексико-семантической группы или системы. Таковы так называемые отсылочные определения. Сами по себе они не способны дать достаточные пояснения в силу своей бессодержательности, тем не менее они эффективны, поскольку раскрывают семантические связи однокоренных слов, используют информацию других определений. В итоге они позволяют сократить объем описания, не снижая его содержательности.

Представители формального направления, в частности дескриптивисты, постулируют в качестве семантических (языковых) лишь «дистинктивные» признаки предметов<sup>15</sup>. Однако это, несомненно, односторонний подход, сформировавшийся на основе формально-логической теории определения. В значение слова часто входят наиболее существенные признаки предметов, которые необходимы не только для его выделения, но и для его понимания, раскрытия его сущности.

Диалектическая логика показывает ограниченность чисто формальных дифференцирующих дефиниций, она раскрывает важность и необходимость применения содержательных определений, которые наиболее полно и всесторонне раскрывают качественное своеобразие предмета. Такие с о д е р ж а т е л ь н ы е (и н т е н с и о н а л ь н ы е) д е

<sup>13</sup> См.: G. F r e g e, Über Sinn und Bedeutung, «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», Leipzig, 1882, стр. 30; Э. В. С к о р о х о д ь к о, Форма и содержание определений в толковых словарях, ФН, 1965, 1, стр. 97.

<sup>14</sup> С. Д. К а ц н е л ь с о н, Содержание слов, значение и обозначение, М.—Л., 1965, стр. 18—24.

<sup>15</sup> Л. Б л у м ф и л д, Язык, М., 1968, стр. 144.

ф и н и ц и и используются также и для раскрытия значений слов. По своей функции они противоположны формальным дефинициям: если последние фиксируют минимум разграничительных признаков предмета, то содержательные определения описывают все существенные свойства предмета или явления, которые необходимы для глубокого понимания слова или термина. Такие определения содержат в себе часто больше информации, чем это необходимо для простого ограничения сферы применения слова. Так, для указания сферы применения слова *человек* вполне достаточно указать такие элементарные признаки, как отношение к двуногим существам и наличие широких ногтей (Платон). Однако современное содержание слова *человек* не исчерпывается этими сведениями, оно включает в себя такие существенные признаки, как способность пользоваться членораздельной речью, производить орудия труда и использовать их в процессе производства материальных благ. Эти свойства — необходимые элементы содержательного толкования значения слова *человек*.

Содержательные («смешанные», по терминологии Х. Касареса) семантические определения применяются прежде всего к синтетической лексике (названия растений, животных, веществ и материалов и др.). Они используются также для раскрытия малоизвестных читателям конкретных слов, в том числе диалектных слов, обозначающих конкретные предметы быта, ремесла<sup>16</sup>. Развернутые семантические толкования применяются часто для переосмысления значений слов в связи с более глубоким познанием предмета или явления. В работах В. И. Ленина мы находим замечательные образцы содержательных семантических определений, используемых для переосмысления в свете нового марксистского мировоззрения общественно-политической лексики: *империализм, революция, коммунизм, капитализм, лотерея* и др.<sup>17</sup>. Такие определения фиксируют в себе максимум семантических компонентов слова, формируют наиболее полные и всесторонние семантические понятия и представления.

Несмотря на свою противоположность, формальные и содержательные семантические определения не исключают, но предполагают опору друг на друга. С одной стороны, эти определения дают возможность раскрыть наиболее полно разные стороны лексического значения слова — его объем и содержание, с другой — они отражают процесс развития значений слова, процесс все более углубленного познания обозначаемых объектов. Формальные семантические дефиниции нередко фиксируют начальный этап формирования значения слова, его неглубокое, поверхностное понимание. Содержательные же определения, напротив, отражают наиболее полное, всестороннее понимание значения слова и его истолкование.

Таким образом, вопрос о качестве и количестве содержащейся в семантических определениях информации не может решаться лишь на основе формально-логического требования о минимуме разграничительных признаков, о формальной соразмерности определения. Решающее значение здесь, как учит диалектическая логика, имеет учет конкретных обстоятельств применения определения, сам характер значения. В одних случаях возможны и целесообразны предельно краткие формальные и даже неполные определения, в других — более точные и содержательные, в третьих — развернутые определения, дающие максимум сведений, необходимых для точного и полного понимания и применения слова. Задача семасиологии и теории лексикографии заключается, стало быть, не в том,

<sup>16</sup> Ф. П. Ф и л и н, Проект «Словаря русских народных говоров», М.—Л., 1961, стр. 144—145.

<sup>17</sup> См.: Г. А. П а н о в, Способы объяснения смысла слов В. И. Лениным, ФН, 1970, 3, стр. 96.

чтобы утвердить одни определения за счет других, а в том, чтобы выявить условия применения каждого типа определений. Односторонняя ориентация на один какой-либо тип определения неизбежно ведет, с одной стороны, к явно избыточному истолкованию бытовой лексики, типа *стол*, *свинья*, *нос* и под.,<sup>18</sup> а с другой — к явно недостаточному толкованию значений многих содержательных слов, терминов, например, *коммунизм*, *гуманизм*, *индуизм*, *право* и др.<sup>19</sup>

В лексическом значении слова содержится, несомненно, нормативный аспект, который отражается в противопоставлении констатирующих и нормативных определений<sup>20</sup>.

Констатирующие семантические определения фиксируют существующее фактическое словоупотребление и словопонимание, они строятся по схеме: «Слово Т применяется так-то, под словом Т понимается то-то». Основное назначение этих определений заключается в том, чтобы точно констатировать содержание данного слова, поэтому они одновременно фиксируют все факты словоупотребления и словопонимания независимо от ложности или истинности обозначаемого понятия.

Ценность такого рода толкования всецело обусловлена той степенью точности, с которой фиксируется то или иное словоупотребление или словопонимание. Поэтому для построения таких определений основную роль играет анализ и обобщение как можно большего количества употреблений поясняемого слова или термина.

Определения через констатацию в основном обращены к прошлому словоупотреблению и словопониманию. Они используются для составления исторических и диалектных словарей, а также словарей языка писателей и являются своего рода семантическим ключом к языку прошлых эпох.

Нормативные семантические определения также, как и констатирующие дефиниции, фиксируют определенные факты из области словоупотребления и понимания слов, опираются на тот или иной контекст, но их главная цель заключается в том, чтобы установить, утвердить определенную норму, т. е. показать, как следует употреблять и понимать то или иное слово. Построение этих дефиниций можно передать формулой: «Термин Т надо применять так-то, под термином Т следует понимать то-то и то-то».

Нормативные определения опираются на факты прошлого словоупотребления и понимания, но их основная задача — дать руководство к последующему словоупотреблению, указать на то, как оно должно пониматься и применяться. «Было бы большой ошибкой, — цитирует К. Д. Ушинский Милля, — представлять себе трудное и благородное занятие определениями не чем иным, как выяснением принятого значения слова». Необходимо определять «скорее не то, *каково есть*, но *каково должно быть*» значение слова<sup>21</sup>. Так, словарные определения значения слова *нация* — «исторически

<sup>18</sup> См.: Я. К. Г р о т, Филологические разыскания, I, СПб., 1885, стр. 228—232; В. Д а л ь, Толковый словарь, I, М., 1935, стр. 2; В. А. М а л а х о в с к и й, К вопросу о принципах смысловой характеристики слова в толковом словаре (Анализ приемов толкования слов в Оксфордском словаре английского языка), «Лексикографический сборник», III, М., 1958, стр. 85—86.

<sup>19</sup> См.: Д. И. А р б а т с к и й, О достаточности словарных определений, «Вопросы теории и методики изучения русского языка», IV, Ижевск, 1965, стр. 36—38.

<sup>20</sup> В логической литературе это противопоставление рассматривается под терминами констатирующих и арбитражных (устанавливающих, условных) дефиниций. См.: W. D u b i s l a v, Die Definition, 3 Aufl., Leipzig, 1931, стр. 2; G. K l a u s, указ. соч., стр. 198; R. R o b i n s o n, Definition, Oxford, 1950, стр. 9.

<sup>21</sup> К. Д. У ш и н с к и й, Собр. соч., М.—Л., 1950, 10, стр. 236.

устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры», слова *государство* — «политическая организация господствующего класса, имеющая задачу защитить интересы этого класса и подавить его классовых противников» имеют целью утвердить марксистское понимание и применение указанных слов. Составители словарей, констатируя подобные определения, чувствуют себя больше не историками, а законодателями словоупотребления и словопонимания<sup>22</sup>.

Нормативные определения играют важную роль в развитии и формировании семантической системы языка. Опираясь на итоги научного познания, они приближают «общелитературное» или народное понимание того или иного слова, термина к научному его пониманию. Если констатирующие определения сохраняют семантическую систему языка в неизменном виде, то нормативные дефиниции обновляют, совершенствуют смысловую сторону языка, являются важнейшим фактором ее развития. Содержание этих дефиниций меньше зависит от языкового контекста, так как они часто отвергают прежний контекст как не соответствующий новому пониманию слова и порождают новый контекст, отражающий переосмысленное значение слова.

Наиболее широкое применение дефиниции этого типа получают в нормативных толковых словарях, имеющих целью научить правильному пониманию слов и новому словоупотреблению. Представители формального и дескриптивного направления трактуют семантические определения нормативных толковых словарей как констатирующие дефиниции, а словарь — как сосредоточение всех применений и пониманий слов, получивших в данном обществе более или менее широкое применение<sup>23</sup>. Они полагают даже, что в словаре в качестве его национальной специфики должны найти отражение всевозможные ошибочные религиозные или культовые воззрения, предрассудки<sup>24</sup>. Однако такое толкование словарных определений противоречит нормативным задачам национального словаря<sup>25</sup>; толковый словарь — это не пассивный аккумулятор фактического словоупотребления и словопонимания, а активный борец за новое более точное и глубокое понимание слова<sup>26</sup>. Игнорирование нормативных задач словаря неизбежно ведет к снижению его научного уровня.

Процесс развития, совершенствования семантической системы языка имеет две взаимосвязанные стороны: а) развитие внутренней смысловой стороны языка, уточнение объема и углубление содержания значений, б) развитие внешней стороны языка — обогащение словарного состава, необходимого для выражения новых значений слов и их оттенков. Семантические определения являются одновременно средством формирования и развития той и другой стороны языка. Однако в практике толкований сформировались такие семантические дефиниции, которые предназначаются для выполнения лишь одной из этих функций.

<sup>22</sup> R. Robinson, указ. соч., стр. 59.

<sup>23</sup> U. Weinreich, указ. соч., стр. 43.

<sup>24</sup> Л. Ельмслев, Можно ли считать, что значение слов образуют структуру?, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 138—139; Е. А. Найдя, Анализ, значение и составление словарей, там же, стр. 56.

<sup>25</sup> «Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка (в трех томах)», М., 1953, стр. 7; А. М. Бабкин, Новый академический словарь русского языка. Проспект, Л., 1971, стр. 22.

<sup>26</sup> См.: «Словарь русского языка, сост. Вторым отд. имп. Акад. наук», II, СПб., 1896, Предисловие, стр. 7; В. И. Чернышев, Принципы построения академического словаря современного русского литературного языка, «Избр. труды», I, М., 1970, стр. 348—349.

Толковые семантические определения предназначаются для развития внутренней смысловой стороны языка. Эти определения дают расчлененное выражение уже известных значений слов, необходимое для усвоения языка новыми поколениями людей: они уточняют, углубляют прежние значения слова в связи с более глубоким и точным познанием соответствующего предмета или явления, например, толкования к таким словам, как *труд*, *гуманизм*, *свобода*, *социализм* в словарях русского языка послереволюционной эпохи. Они формируют новые значения старых слов, ср., например, толкования к словам *пионер*, *совет*, *бригада* в толковых словарях русского языка. Толковые определения конструктивны, всегда содержат в себе расчлененную положительную информацию, поэтому они обычно уточняют, формируют семантические понятия и представления.

Переводные определения предназначаются для формирования, обогащения словарного состава языка. Эти определения, вводят, во-первых, новые слова взамен устаревших по той или иной причине, во-вторых, синонимы или синонимические эквиваленты для обозначения того же предмета в иных языковых или стилистических условиях, в-третьих, слова, служащие для сокращения более длинных описаний, например, в переводных или диалектных словарях. По своему содержанию данные определения не конструктивны, они не вносят в значение ничего нового, а лишь опираются на уже известные и ранее сформировавшиеся значения слов.

В теоретических работах рассматриваемые типы определений разграничиваются недостаточно четко, а нередко и отождествляются. Одни определения предлагаются вместо других (например, толковые определения для переводных словарей), выводы, сделанные при изучении одних определений (например, переводных) без достаточных оснований переносятся на другие (толковые) определения. Однако между этими определениями имеются глубокие расхождения как формального, так и содержательного характера. Толковые определения более содержательны, для их построения необходим богатый и емкий язык. Переводные дефиниции, напротив, в целом малосодержательны, и могут обойтись минимальным языком. Естественно, что в большинстве своем они не взаимозаменяемы.

В некоторых работах структурального направления переводные определения применяются весьма широко, образуя некий универсальный переводный семантический язык, который рассматривается как основной инструмент содержательного анализа слов. Вся задача сводится к нахождению минимального переводного словаря, которым можно было бы породить все разнообразие реальных значений слов<sup>27</sup>. Однако, поскольку основу лексического значения слова образует система отраженных в сознании и закрепленных за словами отличительных свойств предметов, явлений объективного мира, постольку решающую роль в раскрытии и формировании лексических значений имеют не переводные, а толковые определения. Абсолютизировать роль переводных определений и вообще перевода с одного языка на другой как средства семантического анализа означает заранее ограничивать себя рамками чисто словесных соответствий без вхождения в реальную область лексического значения и его семантических компонентов.

<sup>27</sup> См.: А. К. Жолковский, И. А. Мельчук. О семантическом синтезе, «Проблемы кибернетики», 19, 1967; Ю. Д. Апресян, О языке для описания значений слов, ИАН ОЛЯ, 1969, 5; его же, Толкование лексических значений слов как проблема теоретической семантики, там же, 1969, 1.

Рассмотренные типы определений охватывают лишь основные функциональные разновидности семантических дефиниций. Но уже из данного анализа видно, что представление о едином универсальном типе семантических определений не соответствует реальному положению вещей, задачам анализа и синтеза значений слов. Современные семантические определения — это целая система различных, но взаимосвязанных друг с другом подтипов. Формирование этой системы отражает процесс развития лексико-семантической системы языка. Глубокое теоретическое осмысление данных типов будет способствовать лучшему их практическому освоению, а также более глубокому и всестороннему познанию лексического значения слова.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О. А. ЛАПТЕВА

ГОМОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ — ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ  
РУССКОГО НЕКОДИФИЦИРОВАННОГО УСТНО-РАЗГОВОРНОГО  
СИНТАКСИСА

Исследование различных особенностей русского устно-разговорного синтаксиса выявило ряд парадоксов, свидетельствующих о противоречивости объекта. Оказалось, что в современном устно-разговорном синтаксисе существует целый ряд остро специфических моделей предложения (геср. высказывания), не свойственных синтаксису общелитературному. Их появление в речи современных носителей литературного языка обладает высокой степенью обязательности, а сами они обнаруживают ярко выраженное свойство нормативности. Структурные признаки этих синтаксических моделей весьма определены, сами модели довольно разнообразны. Хотя внимание исследователей, увлеченных поисками и открытиями, было направлено, естественно, прежде всего именно в сторону изучения специфики объекта<sup>1</sup>, оказалось в то же время, что самый объект обнаруживает и иные свойства, отличные от названных и даже противоположные им. А именно, синтаксические построения устно-разговорной литературной речи нередко бывают слабооформленными и не обнаруживают ни специфических конструктивных признаков, ни свойств нормативности. С другой стороны, и общелитературные синтаксические средства без какой-либо трансформации свободно входят в арсенал устно-разговорного синтаксиса, специфических же по своим структурно-грамматическим качествам моделей насчитывается немного.

Эти предварительные итоги непосредственно ведут к постановке вопроса о природе внутрисистемной организации устно-речевых синтаксических средств. Первые попытки в этом направлении уже сделаны. Они основываются прежде всего на учете тех из названных свойств, которые связаны с яркой специфичностью устно-речевых построений; вопрос переводится в плоскость выяснения их парадигматических и синтагматических характеристик, что служит основанием для вывода о признании устно-разговорного синтаксиса, как и всей области разговорной речи в целом, особой языковой системой<sup>2</sup>. При этом свойства второго рода рассматриваются лишь как вкрапления иносистемных элементов, в связи с чем они специально не изучаются и по сути дела оставляются без исследовательского внимания.

Выяснение парадигматических и синтагматических свойств моделей имеет первостепенное значение для понимания характера их организации,

<sup>1</sup> См. работы О. Кафковой, К. Кожевниковой, А. А. Никольского, О. А. Лаптевой, О. Б. Сиротининой, Г. Г. Инфантовой, Е. А. Земской, И. Н. Кручининой, Е. Н. Ширяева.

<sup>2</sup> Е. А. Земская, Русская разговорная речь (Прспект), М., 1968.

принципа их системности<sup>3</sup>. Но оно должно непременно включать в себя не только постижение внутривидовых показателей синтаксических моделей, должно быть результатом не только описания «изнутри» конструкции, но и, основываясь на выявленном наличии моделей, должно охватывать изучение отношений между этими моделями, выяснение характера их взаимосвязей, которые, как уже сейчас видно, отнюдь не хаотичны. Именно это и позволит понять способы системной организации устно-разговорного синтаксиса.

1. Весь корпус предикативных конструкций современного русского литературного устно-разговорного синтаксиса состоит из средств специфического грамматического оформления (и значения), принадлежащих только устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка, средств общелитературного синтаксиса и средств, не обнаруживающих четкого грамматического оформления (и значения) и приближающихся (или вплотную смыкающихся) к окказиональным образованиям. Слабооформленность последних, равно как и немаркированный характер общелитературных средств, препятствует тому, чтобы основной принцип системности устно-разговорного синтаксиса складывался и проявлялся на их материале. Напротив, специфически устно-разговорные построения оказываются именно той областью, где прежде всего находит свое воплощение способ организации всех отдельных синтаксических моделей в единую систему, в которую оказываются вовлеченными — в качестве периферийных областей — и конструкции второго и третьего типов.

Эти построения, составляющие центр поля устно-разговорного синтаксиса, целесообразно рассматривать в качестве т и п и з и р о в а н н ы х построений. Типизированные построения обладают рядом лишь им свойственных признаков:

1) Их структура в своем генезисе обусловлена особенностями устной формы их реализации и бытования. Они очень удобны и органичны в устном произнесении при линейном формировании высказывания.

2) Четкость их структурной организации обуславливает принципиальную определяемость и исчислимость их конкретных признаков. Это не исключает возможности варьирования модели.

3) Поскольку типизированные построения образуют синтаксические модели, они контекстуально не зависимы<sup>4</sup>. Это их свойство распространяется и на сложившиеся способы линейного расположения компонентов в составе моделей.

4) Типизированные построения высоко частотны, воспроизводимы, они обладают свойством высокооблигаторной нормативности, обязательности для речи носителей литературного языка в условиях определенной ситуационно-тематической ее обусловленности, при выполнении определенного коммуникативного речевого задания<sup>5</sup>. Это не исключает возможности их синонимических отношений с соответствующими общелитературными построениями.

<sup>3</sup> Ср. наблюдение Е. А. Земской над синтагматикой именительного падежа в РР, которая отличается от его синтагматики в кодифицированном языке благодаря наличию большего числа означаемых в РР.

<sup>4</sup> Это и другие свойства типизированных построений не позволяет относить к их числу ситуативно прикрепленные и невоспроизводимые в качестве модели высказывания типа *звони на лыжах* (Е. Н. Ш и р я е в, О некоторых аспектах описания конструктивных высказываний разговорного языка, сб. «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», Горький, 1972).

<sup>5</sup> См. об этом: О. А. Л а п т е в а, Нормативность некодифицированной литературной речи, сб. «Синтаксис и норма» (в печати).

5) Типизированные построения охватывают всю устно-разговорную разновидность современного русского литературного языка во всех ее разветвлениях. Они не знают принципиальных ограничений в своем распространении в ее пределах, но в наибольшей степени концентрируются в ее центральной сфере — обиходно-повседневной (в которую входит в качестве подвида обиходно-бытовая сфера).

6) В пределах устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка типизированные построения, образующие различные модели, выступают совместно, входя друг с другом в системные отношения и организуясь в синтаксические ряды. С этим связано свойство их предсказуемости (появление в речи одного из типизированных построений означает возможность появления других при благоприятных ситуационно-тематических условиях).

Из предложенной характеристики типизированных построений явствует, что это не просто выборочно взятые устно-разговорные модели, но наиболее характерные, ведущие, образующие костяк устно-разговорного синтаксиса. Набор их, как об этом позволяют судить произведенные к настоящему времени исследования, невелик (разумеется, это не означает, что он уже определен окончательно).

Можно назвать следующие шесть конструкций, участвующих в организации синтаксических рядов (выбор терминов, обозначающих модели, условен и носит предварительный характер): 1) конструкции с именительным темой (типа — *А дочка ваша, она историк?*); 2) конструкции добавления (типа — *Они все такие изголки*); 3) вопросительные конструкции с дополнительной фразовой границей (типа — *Это ты нарочно, да? сырое бревно притащил*); 4) бессоюзные подчинительные конструкции (типа — *А где шнурок носила ты?*); 5) конструкции наложения (типа — *Это телецентр, а ей башню она спросила*); 6) конструкции обращения (типа — *Пройдите кто на банки!*)<sup>6</sup>.

Каков же характер языкового поля, образуемого этими синтаксическими построениями?

Результаты исследований последних лет показывают, что оно устроено согласно принципу волн, с перемежающимися и переливающимися одна в другую зонами сгущения и разрежения характерных черт моделей. Такое устройство позволяет полю быть непрерывным, диффузным, не иметь четких и резких границ между зонами, представляющими отдельные модели. Эти зоны, являющиеся центрами сгущения специфических характеристик моделей, постепенно переходят в периферийные области, где напряжение сгущения специфических свойств ослабевает, уступая место меньшей структурной определенности. Располагаясь между центрами, эти периферийные области создают текучесть поля, при которой модели с разными

<sup>6</sup> Их описание выполнено в работах: О. А. Лаптева, О некодифицированных сферах современного русского литературного языка, ВЯ, 1966, 2; е е же, Некоторые эквиваленты общелитературных подчинительных конструкций в разговорной речи, сб. «Развитие синтаксиса современного русского языка», М., 1966; е е же, О структурных компонентах разговорной речи, «Р. яз. в нац. шк.», 1965, 5; е е же, гл. 7 в кн. «Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М., 1968; е е же, Литературная и диалектная разновидность устно-разговорного синтаксиса и перспективы их сопоставительного изучения, ВЯ, 1969, 1; е е же, Общие устно-речевые синтаксические явления литературного языка и диалектов, сб. «Русская разговорная речь», Саратов, 1970; Е. А. Земская, Русская разговорная речь; Е. Н. Ширяев, Интерференция в синтаксисе разговорной речи, сб. «Вопросы синтаксиса русского языка», Калуга, 1971; е т о же, Связи свободного соединения между предикативными конструкциями в разговорной речи, сб. «Русская разговорная речь», Саратов, 1970; И. Н. Курчинина, Синтаксис разговорной речи, «Русская речь», 1968, 1; е е же, Конструкция с местоимением *который* в современном русском языке, ВЯ, 1968, 2.

характеристиками постепенно, без резких стыков переходят одна в другую. Диффузность структурных характеристик, представленных в периферийных областях, весьма удобна при спонтанной речевой деятельности и позволяет этим областям одновременно являться производными от разных моделей. Таким образом, получается формальное смыкание моделей в периферийных областях материально в одних и тех же реализациях. Тем самым периферийные, переходные, в структурном отношении слабо оформленные области приобретают первоочередную роль в формировании поля устно-разговорного литературного синтаксиса. Именно они придают входящим в него языковым средствам гибкость и подвижность, необходимую для реального функционирования спонтанной речи, где сознательность выбора модели и момент обдумывания практически отсутствуют. Автоматизм в выборе языкового средства ведет к употреблению модели и ее модификаций с четко отшлифованными в узусе характеристиками, свободное маневрирование этим средством — к употреблению формально менее четко организованных и многочисленных ее реализаций. Говорящий черпает синтаксические средства то из центральных, то из периферийных зон поля. Противоположности смыкаются.

Если бы поле было представлено лишь одними сгущениями характерных свойств моделей, оно не смогло бы полностью отвечать свойству спонтанности речевого акта, «раскованному», ассоциативному ходу мыслительно-речевого процесса, не позволило бы говорящему оторваться от набора клише.

Итак, модели сходятся. Но какие? И вот здесь обнаруживается наиболее интересное и важное свойство поля. Оказывается, что гибкость устройства поля, проявляющаяся в его континуальности<sup>7</sup>, позволяет смыкаться не только собственно устно-разговорным моделям (в их реализациях), но и этим моделям с моделями другого поля — поля общелитературного синтаксиса. Тем самым обеспечивается единство и цельность современного русского литературного синтаксиса (и, шире, языка) в целом. И это оказывается тем более необходимым, что говорящему носителю русского литературного языка приходится черпать речевые средства отнюдь не только из первого, но и из второго поля, пользуясь при этом не только реализациями общелитературных моделей, но и самими этими моделями. Корпус синтаксических средств устно-разговорной литературной речи в целом оказывается шире специфических средств, составляющих поле устно-разговорного синтаксиса.

Чем же реально обеспечивается языковая непрерывность поля устно-разговорного синтаксиса? Первоочередную роль в формировании его гибкости играет принцип трехчленности ряда, охватывающий внутреннюю организацию модели. Устно-разговорная синтаксическая модель представляет собою трехчленный гомофункциональный синтаксический ряд, состоящий из собственно модели, ее структурных модификаций и их конкретных речевых реализаций<sup>8</sup>. Предлагаемый

<sup>7</sup> Ср.: Ю. М. Скребнев, Подъязык «разговорной» речевой сферы и совокупный лингвистический объект, сб. «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи».

<sup>8</sup> В каком-то смысле первые два из предлагаемых терминов можно соотнести с известными терминами «структурная схема предложения» и «регулярные ее реализации», однако такое соотнесение неполно и неточно, во-первых, из-за трехчленности устно-разговорной системы и двучленности литературной, во-вторых, из-за большей емкости понятия «собственно модель», включающей не только главные члены предложения. Ближе по содержанию понятия «модификация» и «регулярная реализация». Остается

термин «гомофункциональный» показывает, что модель, ее модификации и реализации 1) относятся к одной функциональной сфере языка, 2) однородны по структуре и выполняемым функциям. Эти ряды могут быть названы также «гомогенными», исходя из того, что составляющие их конструкции 1) одного происхождения (порождены условиями устно-речевого функционирования синтаксиса), 2) имеют одно и то же грамматическое значение.

Собственно модель, входящая в гомофункциональный ряд, представляет собою сгущение структурно-функциональных признаков, позволяющее ей стать моделью, отличной от других моделей. Она может быть представлена и одним, ведущим признаком, отражающим основной принцип устройства модели. Модель обычно бывает представлена не только такой «головоной» конструкцией, но и рядом м о д и ф и к а ц и й, сохраняющих основные структурно-функциональные свойства модели и при этом обнаруживающих какое-либо дополнительное (дополнительные) свойство (свойства), высокая степень формализации которого (которых) позволяет модификации остаться обобщенным типом, «подмоделью». В реальном речевом потоке возможно появление многочисленных и разнохарактерных р е а л и з а ц и й модели и ее модификаций, которые, однако, сохраняют ведущее структурно-функциональное свойство модели (и структурно-функциональное дополнительное свойство модификации), отличаясь от нее и различаясь между собой как разные синтаксические формы второстепенными характеристиками. Реализации неустойчивы, неклишированы. Автоматизированность устно-речевого потока проявляется в них лишь в ведущем принципе их организации, но не в самом их структурном оформлении (как это происходит с собственно моделью и модификацией, проявляющими свойство типизированности и обобщенности в связи с клишированностью их формы и значения). В силу этого количество реализаций неучитываемо, в то время как количество модификаций исчислимо (обычно оно не бывает большим). Реализации в принципе невозможно классифицировать и описать по их структурным типам из-за отсутствия таковых. Близко подходя к области немоделируемых, слабооформленных и окказиональных построений (которые мы не включаем в поле по причине отсутствия у них свойства воспроизводимости, повторяемости, что лишает их системно-языкового характера), реализации являются тем звеном, в котором совершается переход этих слабооформленных построений в число образующих поле и превращение их в реализации определенной модели. Так расширяются возможности устно-разговорного синтаксиса, происходит его развитие и обогащение. Реализации модели выступают в качестве наиболее динамического звена системы, в качестве лаборатории будущих сдвигов и изменений в синтаксисе. Они своим существованием как бы узаконивают факт бытования в литературной речи построений самого разного, совершенно необычного с точки зрения кодифицированного синтаксиса вида (не возводя их, конечно, в ранг нормы), показывающего колоссальный резерв возможностей адекватного выражения мысли, создают пре-

---

недостаточно ясной соотнесенность обоих рядов терминов с понятиями «предложение» и «высказывание». Думается, что понятие «предложение» применимо к членам «собственно модель» и «модификация» (характеризуются четкими формально выраженными признаками), хотя уровень абстракции собственно модели может оказаться выше уровня абстракции предложения и тогда «собственно модель» окажется лишь конструктом. Понятие «высказывание» применимо к членам «модификация» и «реализация». Положение «модификации» на пересечении свойств предложения и высказывания может быть расценено как отражающее ее изморфность — одновременную ее принадлежность уровню более высокой абстракции, обладающему свойством формализации, и уровню конкретного проявления ее в речи.

красные возможности для их появления в речи<sup>9</sup>. А если прибавить к этому их свойство осуществлять смыкание моделей, то их роль в формировании выразительных возможностей средств поля устно-разговорного синтаксиса и самого структурного каркаса этого поля предстанет как ведущая, несмотря на более низкий (сравнительно с моделями и модификациями) уровень их грамматической абстракции.

Трехчленность ряда — свойство идеальное. Его материализация в виде полного построения «собственно модель — ряд модификаций — неисчисляемые реализации» обычно осуществляется относительно наиболее широко представленных в речи конструкций, отражающих ведущий принцип линейной организации устно-речевого высказывания в целом (например, относительно конструкций с именительным темой). Такой разветвленный ряд отчетливо показывает нахождение его членов на разных уровнях грамматической абстракции. Конструкции более специфического грамматического значения могут быть представлены суженным, неполным рядом, в котором реализации могут следовать непосредственно за собственно моделью. Может оказаться и так, что разнообразие реализаций невелико, и их функции в ряду принимают на себя модификации. В случае материализованного трехчленного ряда собственно модель может уступить (но не обязательно уступает) свое место реализованного в речи построения модификациям и в таком случае оказаться лишь идеалом, конструктом. В случае неполного ряда этого не происходит, и собственно модель воплощается в реальную конструкцию.

Если ряд, составляющий модель, представить как вертикальный, то окажется, что он существует наряду с рядом горизонтальным. Такой гомофункциональный (к нему также приложимо это название, но только по первому основанию) ряд, тоже трехчленный, создает языковую непрерывность поля устно-разговорного синтаксиса и складывается из двух полюсов — двух разных собственно моделей (с их модификациями), между которыми располагается общая для них реализация (реализации). Глубинно-вертикальный и горизонтально-положенный ряды создают текучесть поля во всех измерениях с центрами максимальных сгущений свойств в областях собственно моделей и максимального их разрежения в областях реализаций. Так вертикальный ряд переливается в горизонтальный.

Охарактеризованные ряды не являются синонимическими, поскольку входящие в них построения — в случае вертикального ряда — несут общее грамматическое значение и имеют однотипные, объединенные общим принципом, функционально-структурные свойства. В случае горизонтального ряда значение реализации обычно диффузно и позволяет ей соединять в себе разные значения разных в функционально-структурном отношении моделей<sup>10</sup> (в синонимическом же ряду грамматическое значение членов ряда общее или близкое, а формально-структурные их свойства различны).

Заметим, что существуют и гетерофункциональные синтаксические ряды, в качестве одного из членов которых выступает устно-разговорная модель, в качестве другого (других) члена (членов) — модель какого-либо функционального стиля или (и) общелитературная. Такие ряды — синонимические. Если гомофункциональный ряд строится на свойстве разной

<sup>9</sup> В этом состоит ответ на вопрос Е. Н. Ширяева о месте слабооформленных построений в корпусе синтаксических средств устно-разговорной разновидности (см.: «Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966—1969 гг. Синтаксис», М., 1973, стр. 129).

<sup>10</sup> Заметим, что это не вопрос интерпретации, как это считает, упрекая автора этой статьи в смещении лингвистических объектов, Е. Н. Ширяев («Связи свободного соединения ...», стр. 167), по свойство самого объекта.

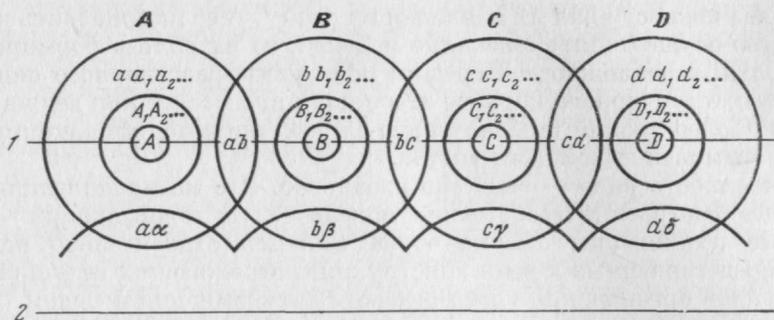


Рис. 1. Принцип устройства поля современного русского устно-разговорного некодифицированного литературного синтаксиса: ... *A, B, C, D*... — модели, ... *A, B, C, D*... — собственно модели, *A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>...*, *B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>...*, *C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>...*, *D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>...* — модификации моделей, *a, a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>...*, *ab, aα, b, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>...*, *bc, bβ, c, c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>...*, *cd, cγ, d, d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>...*, *dδ* — реализации моделей и модификаций; 1 — поле устно-разговорного синтаксиса; 2 — поле общелитературного синтаксиса

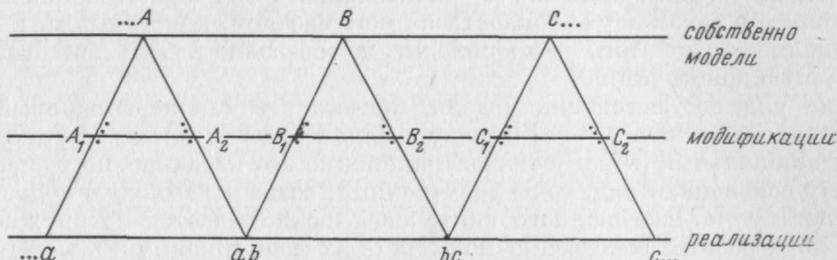


Рис. 2. Принцип устройства горизонтальных и вертикальных гомофункциональных рядов поля современного русского устно-разговорного некодифицированного литературного синтаксиса: ... *A, B, C*... — собственно модели; *A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>...*, *B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>...*, *C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>...* — модификации моделей; ... *a, ab, bc, c*... — реализации моделей и модификаций; *AA<sub>1</sub>A<sub>2</sub> aab*, *BB<sub>1</sub>B<sub>2</sub> ab bc*, *CC<sub>1</sub>C<sub>2</sub> bc c*... — вертикальные ряды; ... *AA<sub>2</sub> ab B<sub>1</sub>B*, *BB<sub>2</sub> bc C<sub>1</sub>C*... — горизонтальные ряды

степени абстрактно-грамматической оформленности конструкции, то гетерофункциональный ряд строится на началах семантико-синтаксической эквивалентности разных, но одноуровневых синтаксических конструкций одинаковой степени грамматического абстрагирования. В построении гомофункционального ряда участвуют и глубинные, и поверхностные структуры, организованные иерархически; в построении гетерогенного, синонимического ряда участвуют только глубинные структуры — равноправные члены ряда.

На рис. 1 и 2 представлены основные принципы устройства поля и гомофункциональных рядов. Исследование их свойств проводилось здесь на материале шести типизированных построений.

2. Как же конкретно проявляется охарактеризованный общий принцип гомофункционального ряда в устройстве поля русского устно-разговорного литературного синтаксиса?

Названные выше входящие в него типизированные синтаксические построения распадаются на две основные группы в зависимости от ведущего принципа их организации: построения группы А организуются по принципу и з б ы т о ч н о с т и формально-грамматических средств, построе-

ния группы Б по принципу экономии этих средств. Эти принципы противоположны. По принципу избыточности средств обычно организуются высказывания, оформляющиеся способом раздельного сообщения частей. Это конструкции с именительным темы (составляющие первую подгруппу, для которой характерно присутствие всех элементов сообщения в первоначальных его коммуникативных установках) и конструкции добавления, а также вопросительные конструкции с дополнительной фразовой границей (составляющие вторую подгруппу, для которой характерно присутствие не всех элементов сообщения в первоначальных его коммуникативных установках). Помимо названных структурно-грамматических построений, в каждой подгруппе представлены и построения, организуемые лишь средствами порядка слов. Согласно волновому принципу зон сгущений и разрежений характерных синтаксических признаков, в группе А представлены явления перехода между именительным темы и конструкцией добавления, конструкцией добавления и вопросительной конструкцией с дополнительной фразовой границей.

По принципу экономии формально-грамматических средств организуются построения, образующие две подгруппы. Для первой характерна элиминация информативно избыточных элементов, которые могут быть служебными элементами (первый подвид) и повторяющимися лексически значимыми элементами (второй подвид). Первый подвид составляют бессоюзные подчинительные построения и построения с двойными глаголами, второй подвид составляют конструкции наложения. Для второй подгруппы характерно возникновение дополнительного синтаксического значения и как результат — диффузность общего синтаксического значения конструкции. Сюда относятся конструкции обращения. Как и в группе А, в группе Б представлены явления перехода между членами группы — между бессоюзными подчинительными конструкциями и конструкциями наложения, между бессоюзными подчинительными конструкциями и конструкциями обращения. Наличие переходных явлений внутри одной группы, члены которой построены по одному ведущему принципу, представляется естественным.

Поразительно другое — широкое наличие переходных явлений между построениями, относящимися попарно к группам А и Б, т. е. организованных по диаметрально противоположным принципам. Можно назвать явления перехода между конструкциями с именительным темы и бессоюзными подчинительными конструкциями, между конструкциями с именительным темы и конструкциями наложения, между конструкциями добавления и бессоюзными подчинительными конструкциями, между конструкциями добавления и конструкциями наложения. Видимо, волновой принцип организации поля оказывается сильнее принципа организации самих входящих в него конструкций и побеждает при столкновении с ним. Специфичность формы служит препятствием для возникновения переходных явлений между: конструкциями с именительным темы — вопросительными конструкциями с дополнительной фразовой границей (группа А); конструкциями с именительным темы — конструкциями обращения (группы А и Б); конструкциями добавления — конструкциями обращения (группы А и Б); конструкциями с дополнительной фразовой границей — конструкциями подчинения, наложения, обращения (группы А и Б); конструкциями наложения — конструкциями обращения (группа Б). Отсюда следует, что необходимым условием возникновения переходных явлений следует считать отсутствие непреодолимых препятствий со стороны их формы, которые оказываются сильнее даже волнового принципа поля (хотя конкретно трудно установить, где грань такой формальной непреодолимости, да и само формальное подобие не выступает в качестве очевидного условия сближе-

ния изначально несходных моделей, отчетливо проявляясь лишь на уровне реализаций). Думается, что в целом при смыкании в одной реализации построений, относящихся к группе А, и построений, относящихся к группе Б,

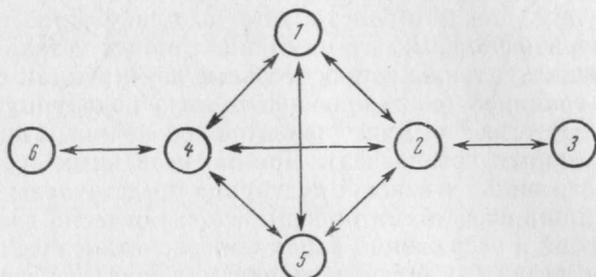


Рис. 3. Устройство корпуса основных типизированных конструкций современного русского устно-разговорного некодифицированного литературного синтаксиса с точки зрения количества их попарных связей: 1 — конструкции с именной темой; 2 — конструкции добавления; 3 — вопросительные конструкции с дополнительной фразовой границей; 4 — бессоюзные подчинительные конструкции; 5 — конструкции наложения; 6 — конструкции обращения

робеждает принцип экономии средств языкового выражения, поскольку в результате одно построение используется для передачи диффузной совокупности различных грамматических значений<sup>11</sup>.

Итак, типизированные конструкции в отношении их взаимных попарных связей (число которых возрастает от 1 до 4, минуя 2) организованы так, как показано на рис. 3.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Типы фиксированные построения современного русского устно-разговорного литературного синтаксиса

- А. Организованные по принципу избыточности формально-грамматических средств
1. Все элементы сообщения присутствуют в первоначальных коммуникативных установках
    - а) Явления структурно-грамматические
      - Именительный темы
    - б) Явления порядка слов
  2. Не все элементы сообщения присутствуют в первоначальных коммуникативных установках
    - а) Явления структурно-грамматические
      - Добавление
      - Дополнит. фраз. граница
    - б) Явления порядка слов
- Б. Организованные по принципу экономии формально-грамматических средств
1. Организованные способом элиминации информативно избыточных элементов
    - а) Элиминация служебных элементов
      - Бессоюзное подчинение
    - б) Элиминация одного из повторяющихся лексически значимых элементов
      - Наложение
  2. Организованные способом совмещения основного грамматического значения с дополнительным
    - Обращение

<sup>11</sup> Явлениями экономии в русском разговорном синтаксисе занимается Г. Г. Инфантова. См.: Г. Г. Инфантова, О системном подходе к изучению явлений экономии в синтаксисе современной русской разговорной речи, сб. «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», и др. ее работы.

Общий список типизированных конструкций, между которыми попарно возникает формально-грамматическое совпадение в их реализациях

Им. темы:	бессоюзн. подчинение } наложение	другой принцип
Добавление:	добавление	тот же принцип
	им. темы } дополнит. фраз. граница }	тот же принцип
Дополнит. фраз. граница:	наложение } бессоюзн. подчинение }	другой принцип
	добавление	тот же принцип
Бессоюзн. подчинение:	добавление } им. темы }	другой принцип
	наложение } обращение }	тот же принцип
Наложение:	им. темы } добавление }	другой принцип
	бессоюзн. подчинение	тот же принцип

Общий список типизированных конструкций, между которыми не возникает формально-грамматического совпадения

Им. темы:	дополнит. фраз. граница } обращение	тот же принцип другой принцип
Добавление:	обращение	другой принцип
Дополнит. фраз. граница:	им. темы } бессоюзн. подчинение }	тот же принцип другой принцип
	наложение } обращение }	другой принцип
Бессоюзн. подчинение:	дополнит. фраз. граница } дополнит. фраз. граница }	другой принцип другой принцип
	обращение } дополнит. фраз. граница }	тот же принцип другой принцип
Обращение:	добавление } им. темы }	другой принцип
	наложение	тот же принцип

3. Предложенные схемы можно конкретизировать на материале всех шести типизированных конструкций. Здесь мы ограничимся лишь первой из них — конструкцией с так называемым именительным темы, характеризующейся неограниченным распространением по всей сфере устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка во всех ее градах и жанрах, богатством модификаций, большим многообразием конкретных реализаций. Она уже неоднократно, с разной степенью подробности, описана, что облегчает здесь нашу задачу: основной структурно-грамматический принцип конструкции сформулирован, многообразие ее модификаций выявлено, богатый материал реализаций приведен в иллюстрациях. Это позволяет, вкратце напомнив о полученных результатах, направить основное внимание на выявление статуса диффузных реализаций, позволяющих ярко специфической конструкции с именительным темы в ее пограничных звеньях вплотную сомкнуться с некоторыми другими конструкциями и незаметно перейти в них. Сделаем это на материале, еще не зафиксированном в литературе.

Итак, основной принцип конструкций с именительным темы состоит в стремлении к максимальной формально-грамматической независимости части предложения, выражающей информативный центр высказывания, которое проявляется прежде всего в расщеплении синтаксических связей этой части с остальной частью предложения. Этот принцип вызывает к жизни целую серию модификаций, порой вовсе не соотносимых с исходным условным термином «именительный темы», поскольку в функции такого именительного и в рамках исходного принципа может употребляться и

винительный падеж, и законченный предикативный комплекс. Были отмечены такие способы конструктивного закрепления формальной независимости, как инициальная позиция именительного, его обособление, его употребление в позиции синтаксически зависимого падежа, анафорический подхват, включение в состав именительного темы местоимений *который, какой*, расширение именительного темы как в позиции субъекта, так и в позиции объекта действия вплоть до формы цельного предикативного комплекса, включающего глагол, и некот. др. Для этих модификаций были приведены их суммарные интонационные характеристики.

Обратимся к одной из них, чрезвычайно широко представленной в обиходно-повседневной речи и имеющей четкую структуру. В этой модификации в позиции объекта выступает форма именительного падежа, сопровождаемая предикативным членом и его распространителем; в отдельных реализациях распространители могут отсутствовать; при форме именительного падежа может выступать уточняющий определитель *такой*, в составе предикативного комплекса — актуализаторы типа *там, тут, вон, вот*, усиливающие его коммуникативную самостоятельность; наблюдается интонационная непрерывность на стыке управляющего глагола и независимого члена, где не возникает ни пауз, ни перепада тона, поскольку глагол полностью реализует свою валентность. С валентностью беспредложного сильного управления: — *Л., принеси на холодильник фонарь стоит*<sup>12</sup>; *Завтра принесу бутылка коньяка у меня на работе стоит*; — *Ж., ты можешь принести пила висит там такая садовая искривленная в этом в сарайчике*; — *Дать тебе еще тут есть одна? дать?*; — *Мы сейчас снимем с полатей там у нас есть бутылка сока; Они так все пожирают. Я им дала помнишь был кусок черного хлеба. И они все склевали*; — *Дай мне пожалуйста вон со стула рубашка моя лежит*; — *А., дай мне «Новгородская правда» вон рядом с тобой; Мне подарили ручка светлая такая (последние два примера хорошо показывают свободное поведение реализаций — глагол в них отсутствует, но предикативность выражена)*; *А можно купить тебе такая штука как у нас была*; — *Я куплю вот у нас стоит коробка; Она кормила этого парня, и потом еще кормила там еще какой-то недоношенный мальчик был*; — *Он инъяз кончает. — Он не инъяз кончает, а он кончает там есть курсы при инъязе; Я сегодня в столовой съела запеканка была такая творожная*; — *Тряпок не хватает. Я вот щас найду тут одна была*; — *Почитай!* — *Щас. Я собираю вот тут носочки валяются, видишь, нехорошо?* Разновидность модификации с валентностью предложного сильного управления: — *Он уперся. Он уперся там у меня лежит посторонняя часть и он в нее уперся*; — *Я тебе щас заверну где-то мой платок был; Вон там попей чашечка стоит; А потом ее пригласили в Новосибирск, причем не просто в Новосибирск ее пригласили, а под Новосибирском есть такой Академгородок называется*; — *Я из кружки налью*; — *Не надо, налей вон у тети И. есть еще чай; Давай вот эти трусы повесим вот здесь у нас есть гвоздик*; — *Н., где твой белый стрептоцид?* — *Он там, около палатки, лежит такая сумочка маленькая.*

Достаточно маленького формального нюанса (а модификации легко допускают разные вариации), чтобы реализации модификации приобрела диффузность в своем значении и слилась с реализацией иной модели. Так, в случае формальной омонимии винительного и именительного происходит слияние реализаций рассматриваемой модификации и конструкции наложения (напомним, что в конструкции наложения пограничное между двумя предикативными структурами слово одновременно, не повторяясь дважды, принадлежит им обеим), ср.: *Она даже я помню привезла нам из Китая*

<sup>12</sup> Тире перед примером означает начало реплики.

*палочки такие у нас были для еды...; — К., ты видела там на дне цепь лежит?* (последнее слово проговорено убыстренно, что способствует и возникновению реализации глагольной модификации добавления); — *Я вчера заходила в мастерскую, мне надо было пришить задничек у меня лопнул* (здесь тоже сомкнулись сразу три реализации — именительного темы, конструкции наложения и бессоюзного подчинения) (другие примеры с омонимией винительного и именительного падежей см. выше). Вот наглядный пример: в первом случае только реализация рассматриваемой модификации именительного темы, во втором она сливается с реализацией конструкции наложения: — *Будете в Переделкине, посмотрите там могила сразу вправо у входа; — Будете в Переделкине, обязательно посмотрите там кладбище есть*. А в следующем случае причиной слияния реализаций именительного темы и наложения явилось изменение местоположения частей высказывания: — *Но она в гнезде выводит. — Но гнездо-то у нее где-то в кустах она прячет, не на камнях выводит* (возможно, что перед нами одновременно и реализация глагольной модификации конструкции добавления). Еще пример, хорошо иллюстрирующий зависимость принадлежности реализации одной или нескольким моделям от элементов ее формы: — *Т. купил какую-то книжечку в Детгизе вышла* — бессоюзное подчинение; — *Т. купил какая-то книжечка в Детгизе вышла* — именительный темы; — *Т. купил какую-то книжечку в Детгизе папина вышла* — бессоюзное подчинение и добавление; — *Т. купил какая-то книжечка в Детгизе папина вышла* — именительный темы и добавление.

А вот как возникает слияние реализаций рассматриваемой модификации и конструкции бессоюзного подчинения: достаточно, например, перемещения во фразе частицы *там*, и эффект налицо: — *Дай мой компот там стоит где-то рядом с моей миской* (ср.: — *Дай там мой компот стоит...* — реализация именительного темы и наложения). В следующем случае к тому же эффекту ведет изменение падежа независимого члена: — *П. очень любит беже она печет*. Вот еще примеры совмещения реализаций бессоюзного подчинения и именительного темы (возникновение подчинительного значения обусловлено особенностями валентности управляющего глагола): — *А завтра обещали дождь будет* (последнее слово произнесено скороговоркой, в связи с чем возникает дополнительно реализация глагольной модификации добавления; омонимия форм именительного и винительного падежей дает и реализацию наложения); — *Я наверно больше не смогу так поплавать. — Да нет, мы сегодня с дядей С. вылезали тоже был песчаный пляж; — Вы там были? — Да. — А видели там на самом конце сосна растет?*

Рассмотренная модификация конструкции с именительным темы сходна с другой его модификацией, в которой предикативно распространяемый номинатив занимает позицию независимого субъекта действия. В целом для нее также характерна интонационная непрерывность. Глагол первой предикативной части предложения является сказуемым при предикативно оформленном номинативе, имеющем сказуемое (здесь особенно наглядно проявляется принцип избыточности). Таким образом, в самой структуре этой модификации уже заложены возможности ее совпадения с конструкцией наложения, ср. — *Ю., тебе нужен телефон тут чей-то записан у тебя; Меня очень соблазнили удочки были немецкие за 18 рублей; А у него там есть аппаратик какой-то небольшой остался; — Надо ее туда поставить. — Только тогда надо те достать. — Откуда? — Оттуда. У нас там есть чашки стоят* (последний глагол произносится убыстренно, возникает реализация глагольной модификации добавления); *Есть такой автор у нас был, который...; Говорят, очень хорошо калина протертая с сахаром продается у нас там нужно купить; В нашем блоке будет жить М. С.,*

наш председатель месткома, ее муж и девочка во втором классе учатся, так что Н. не будет скучно. В последнем случае конструкция перечисления не дала осуществиться реализации наложения, зато произошло совпадение реализации именительного темы с реализацией бессоюзного подчинения. А вот совмещение трех реализаций — именительного темы, наложения, бессоюзного подчинения: — У меня в верхнем ящике стола лежат открытки красивые я купил.

Легкость формальной варибельности в спонтанном неподготовленном речевом потоке лежит в основе богатства синонимических возможностей средств выражения. Одно и то же коммуникативное содержание может быть выражено множеством реализаций с незначительными формальными мутациями. Вот какие синонимические ряды могут возникать при этом: — *Посмотри там брызна может быть будет* (последние три слова добавлены скороговоркой для оправдания формы именительного падежа и соблюдения формы модификации именительного темы; при этом возникает реализация глагольной модификации добавления)  $\approx$  *Посмотри, может быть там будет брызна* (общелитературная конструкция)  $\approx$  *Посмотри там брызну и окказ.*  $\approx$  *Посмотри там брызна*  $\approx$  *Посмотри там брызна если будет*. Еще ряд: — *Па, где у меня здесь вобла?*<sup>13</sup>  $\approx$  *Па, где у меня здесь вобла лежала?* (реализация именительного темы; в случае убыстренного произнесения конечного глагола получается ее совпадение с реализацией глагольной модификации добавления)  $\approx$  *Па, где у меня вобла здесь лежала?* (реализация бессоюзного подчинения). Еще ряд: — *Там я тебе сварила супчик стоит* (реализации именительного темы, наложения, а в случае убыстренного произнесения глагола — добавления)  $\approx$  *Там я тебе супчик сварила стоит* (реализация глагольной модификации добавления)  $\approx$  *Там супчик стоит у тебе сварила* (реализация бессоюзного подчинения). Еще ряд: — *Вы не знаете, коляска с одной ручкой удобная?* (общелитературная конструкция)  $\approx$  *Вы не знаете, вот коляска есть такая с одной ручкой, она удобная?* (реализация именительного темы)  $\approx$  *Вы видели коляска есть с одной ручкой, она удобная?* (реализация первой модификации именительного темы). Ср. также ряды, приведенные выше.

Во второй рассмотренной модификации им. темы есть разновидность, для которой характерно возникновение паузы перед самостоятельно оформляемым членом, связанной с моментом обдумывания, формулирования мысли. Эта пауза наполняется и структурным смыслом — она служит стыком формально резко различных членов (их различие резче, чем в первых двух разновидностях)<sup>14</sup>. Ср.: ... но ее вчера не ругали зато на... педсовет вчера был, а О. А. ругали; — *Это у вас статья? — Это будет четыре статьи. — Где? — Три в С. и одна... вот будет такой сборник в институте; Нужно зайти в Транспортное агентство, купить билет... т. е. не билет, а открытки такие специальные есть; — Чайник! — Чего чайник? он с холодной водой. Это шилит... калли вот снаружи; ... или туда, или... у них одновременно будет второй сборник; ... она вдруг увидела ... знаешь, у нас такая банка есть, вон эмалированная стоит; Мы не к С. И. пойдём, и не в тот кабинет, где греют носик. Мы пойдём... еще один кабинет там есть, я тебе покажу; — Скажите, пожалуйста, у вас есть... вот у меня рецепт, вот не знаю, не то жидкость Костелляни, не то Колбелляни; ... к вам*

<sup>13</sup> О. Б. Сиротина, неправомерно отказывая конструкциям типа — *А чай у меня где пачка?* в нормативности, одновременно тонко подмечает их близость к конструкциям добавления (см. ее статью «Разговорная речь» в сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 389).

<sup>14</sup> Ср.: Т. М. Николеева, Новое направление в изучении спонтанной речи, ВЯ, 1970, 3.

*вот тут придет... есть такой П.* В этой разновидности особенно заметно, что именительный темы оказывается удобной формой выражения усложненных, многочленных представлений. Эта разновидность близка к общелитературным построениям (которые, естественно, могут быть незаконченными).

Итак, мы рассмотрели всего лишь две модификации конструкции с именительным темы и случаи слитных, диффузных реализаций. Картина оказалась достаточно сложной, но все же и она препарирована. Чтобы показать гибкость модификации и неучитываемость, бесконечную текучесть ее реализаций и готовность их поступиться отчетливостью грамматического значения в пользу его диффузности, приведем еще некоторый материал, не поддающийся типизации. — *Дядя Женя! — Что, дорогой? — Где-то вы... тесемку резали. У вас нет ее?* (т. е. «где-то была тесемка, которую вы резали»; в первой фразе последней реплики лишь формальное, но не по существу синтаксического членения, смыкание с общелитературной конструкцией; *где-то* создает на базе модификации неповторимую реализацию); — *А это что? — Это таблеточку щас выпьем* (отличие от общелитературной конструкции создается наличием элемента *это* и словорасположением); — *А у вас пересадка. Вы прямо садитесь и прямо доезжаете без пересадки?* (т. е. «а как у вас насчет пересадки?»); ...*идет вот, у нас у сторожа собака, так она бросалась на нее* (о кошке); — *Слушай, Л., насчет хозяйства. Ты практикуешь вот прошлый год замороженные овощи были болгарские?; ... и тут я совершенно случайно налетела есть там милейшая такая женщина которая ведет канцелярию Т. И. и она говорит.*

А вот разного рода диффузные реализации с разными возможностями толкования (не надо думать, что все дело в контексте: принципиальная диффузность значения — факт, принадлежащий самой конструкции и не проясняемый контекстом). Немоделируемость их формальных признаков не позволяет с несомненностью квалифицировать реализации: — *И за сколько времени это сделают? — Сделают недели две будут делать* (именительный темы, наложение?); — *Так, девочка, вот тебе сейчас я даю... тарелка (≈ -у) (наложение, бессоюзное подчинение, именительный темы?); Может быть знаешь какое название мне пришло в голову (именительный темы, наложение, добавление?); — Кс.! Вам письмо бросили в наш ящик* (протягивая письмо; последние три слова убыстренно, на слове *письмо* ударение и понижение тона; именительный темы, добавление, наложение, бессоюзное подчинение? совпадение с общелитературной конструкцией лишь формальное: синтаксическое членение иное); — *С. П., я забыла спросить телефон поменяли новый института языкознания в Ленинграде* (вопрос о новом номере телефона; именительный темы, добавление, наложение?); — *Па, а где же вот здесь вот кусок отвалился?* (именительный темы, наложение, бессоюзное подчинение?); — *Они тут кончат? — Да. А некоторые кончат вот мы проезжали мост железнодорожный и там кончат* (именительный темы, добавление?); — *Вот там вот где мы гуляли ходили там поганка или еще какой гриб я видела* (именительный темы, бессоюзное подчинение, добавление?); — *А вы были в резиновом цехе? — Был. — А сталевары ... а ты никогда не был вот у нас на кухне повара работают* (именительный темы, наложение, бессоюзное подчинение?).

Мы вплотную подошли к выявлению случаев и условий смыкания реализаций рассмотренных нами модификаций именительного темы с общелитературными построениями. Приведем наиболее очевидные: — *У меня есть только серый сатин, а у них ... они тебе подберут саржу по цвету;* — *Я заходила в магазин, когда я была у папы, там есть мебельный, и там продается кресло;* — *А голову мыть не будем, будем надевать шапочку.*

помнишь у нас там в Москве шапочки есть такие (здесь стихия разговорности сказалась в способе ритмической организации конструкции); — Я М. провожу и поеду мне кое-что нужно купить; — Откройте дверь здесь женщина не успела сойти (последние два слова убыстренно; одновременно представлена реализация бессоюзного подчинения; в последних двух примерах все же есть отличие от общелитературного варианта: она в отсутствии интонационного перепада). Вот группа случаев, где наблюдается почти полное структурное совпадение общелитературного и устно-разговорного вариантов; различие лишь в усиленном употреблении в устно-разговорном варианте указательных и наречно-местоименных актуализаторов, способствующих раздельному донесению до слушателя частей сообщения: — А вот этой мазью, которой я мажусь, хочешь помазаться?; — Иди в ванну и жди, там Л. тебя ополоснет; — А вот слева полоса, это острова или все-таки берег?; — М., помой, пожалуйста, там немного посуды, ладно?; — Т., сходи, там что-то такое звякнуло около байдарок (опущение посмотри равно присуще обоим функциональным разновидностям); Не опрокиньте там банки мои на верстаке. Заметим, что насыщение высказывания элементами вот, там и под. в целях раздельного представления частей высказывания происходит в конструкциях самого разного типа, ср.: — Сходи там посмотри, какая колбаса; — Вот постарайся в два. Тогда я успею сходить там процедуру одну сделать; Вот потри вот здесь вот у тебя сильная грязь. Иногда формальное совпадение реализации рассмотренных модификаций с общелитературными вариантами не исключает возможности несовпадения синтаксических функций членов: — А я? — А ты? Вон там еще лежит мусор (ситуационный смысл вопроса: «а что я буду подметать, если ты все уже подмела?»; в устно-разговорном варианте сравнительно с общелитературным сильнее объектное значение); — Тут козьяка сидит. — Не козьяка, а просто между зубов попал кусочек апельсина (просто в общелитературном варианте выступает как обстоятельствоное определение при глаголе, в устно-разговорном как детерминант при именительной теме).

Как видим, специфика рассмотренных модификаций столь определена, что даже и в случаях, где форма реализации обеспечивает совпадение с соответствующим общелитературным вариантом, осуществление такого совпадения все же нередко встречает то или иное препятствие «подструктурного», скрытого характера. Но это не значит, что такое положение можно обобщить относительно всего устно-разговорного синтаксиса. Стоит лишь обратиться еще к одной модификации конструкции с именительным темой, как будет видно, что совпадение может быть действительно полным. Специфика этой модификации состоит в том, что самостоятельно оформляемый член получает неограниченно распространенное выражение и полное синтаксическое и интонационное завершение в виде отдельного сообщаемого высказывания, занимающего начальное положение в вопросительном комплексе из двух высказываний. Второе из них имеет местоименно-анафорический подхват употребленного в первом обозначения предмета речи и непространное строение краткой вопросительной реплики. Ср.: — Ты, между прочим, хотела клавиатуру в порядок привести. Ты это сделала или нет?; — Вот ты этот сыр купила. Ты ела его или нет?; — А вот там вводилось летнее расписание поездов с 30 мая. Оно и для дальних поездов тоже изменилось или нет?; — Тут к вам заходил молодой человек. Он не электрик был?; — А вот ты слез со стула. Почему б тебе его не задвинуть? Общелитературный характер подобных построений доказывается таким, например, случаем из газеты (язык газеты здесь идет даже впереди событий, совмещая приемы парцелляции и объединения двух высказываний в вопросительном комплексе и лишая при этом

первое из них законченного характера): *Но если в семье уже кто-то заболел. Что вы порекомендуете окружающим?* («Неделя», 73.1).

Как и в других случаях, между полным и неполным совпадением реализации данной модификации именительного темы с общелитературным вариантом — лишь один шаг. Стоит специфике модификации несколько усилиться путем употребления в начале первого высказывания управляющего глагола, валентность которого простирается за пределы формально выраженной придаточной части, как оно теряет коммуникативную законченность (при сохранении формальной) и обращается в аналог предложения, ср.: — *Скажите, пожалуйста, (вот) у вас было кресло дачное за 19 рублей. Оно у вас еще есть?*; — *Скажите, пожалуйста, у вас на прошлой неделе был желтый линолеум. Он еще есть у вас?*; — *Ты не знаешь, вот эта банка стоит. Это тушенка или нет?*; — *Мам, вот угадай, мы Наташу встретили на выставке. Она обедала или нет?*; — *Вы не знаете, вот киоск там книжный. Он когда работает?*; — *Вы не знаете, ремонт делали. Кончили они или нет?*<sup>15</sup>.

4. Приведенные наблюдения и соображения позволяют сделать некоторые общие заключительные замечания относительно характера системности устно-литературного синтаксиса и отношения этой системы к общелитературной синтаксической системе. Самый вопрос о наличии такой системности и ее отличительных свойств, как кажется, сомнений не вызывает. Системность организации собственно устно-разговорных синтаксических средств обеспечивается: 1) самим наличием типизированных построений, характеризующихся специфическими признаками формы и значения и другими приметам (они названы выше); 2) организацией этих построений в специфические для данной системы гомофункциональные ряды, обеспечивающие тесную взаимную связь этих построений — и в смысле собственно структурном, и в смысле совместной встречаемости в речи<sup>16</sup>.

Однако эта специфичность рядов такова, что она, будучи продуктом устно-речевой стихии, в итоге обеспечивает широкие выходы системы устно-разговорного синтаксиса в общелитературную синтаксическую систему и создает возможность их постепенного взаимного перехода, отсутст-

<sup>15</sup> И эта модификация (или ее разновидность невоприсительной модальности) имеет не поддающиеся типизации и формальному учету реализации, ср.: — *Вот придем, надо тебе проиграть. Там есть пластинка с неоконченной симфонией Шуберта; Я приеду полдвенадцатого. Если до этого времени придет Т., у нее там открытки, она рисовала. Написать буквально по несколько слов на каждой;* — *Да, мам, знаешь, что я тебя очень попрошу купить? В Детском Мире продаются на руку надеваются медведь и волк;* — *А вот вчера я была в Боткинской, там знакомая лежит. И вот она говорит ...;* — *М., ты куда вчера дела сыр?* — *Там внизу стоит какой-то мешочек, по-моему со свеж-лой (отсутствует добавление: и вот в нем).*

<sup>16</sup> На стр. 39, 84 и др. проспекта «Русская разговорная речь» Е. А. Земской говорится о таких признаках системности, как наличие специфического набора языковых средств и их особая синтагматика, которая обнаруживается в типических функциях средства. Выявляются особые, специфические синтаксические возможности соединения словоформ и более крупных строительных блоков. При всей важности выявления подобных характеристик, предполагающего в первую очередь постижение структурных особенностей конструкции, они не могут служить конечной инстанцией установления характера системности, но являются лишь необходимой базой такого установления. Вызывает некоторое сомнение ограничение описания установлением функций конструкции, называемым ее синтагматикой. Что касается ее парадигматики, которая применительно к синтаксису в «Перспекте» не разрабатывается, то ее поиски, как нам кажется, лежат на пути изучения трехчленных гомофункциональных рядов.

В литературе наблюдается крен и в иную сторону. Так, И. Н. Кручинина считает возможным говорить о неграмматичности некоторых ограничений в синтаксисе сложного предложения на основании констатации факта их отсутствия в разговорной речи (И. Н. Кручинина, Тенденции развития современной теории сложного предложения, ВЯ, 1973, 2, стр. 114—115). Такой подход базируется на отождествлении системности устно-разговорной и общелитературной. Почему, однако, нельзя допустить, что самый характер ограничений в обеих сферах разный?

вие резких границ между ними. Осуществление принципа трехчленности гомофункционального ряда вызывает к жизни богатый набор реализаций моделей и их модификаций, основным признаком которых является легкость формальных мутаций. Самый незначительный сдвиг в формальном устройстве модификации, столь легко осуществляемый в спонтанном неподготовленном речевом потоке, ведет к возникновению реализаций обобщенно-диффузного синтаксического значения, в которых смыкаются разные модели, причем принадлежащие как одной устно-разговорной системе, так и разным системам — устно-разговорной и общелитературной. Таких сдвигов в раскованной речи может быть сколько угодно, они не сдерживаются какими-либо регламентациями. В связи с этим число реализаций практически неограниченно, они принципиально не типизируемы — в отличие от моделей и модификаций, к которым они принадлежат. Это очень важное ведущее их свойство, создающее огромные возможности для передачи содержательной стороны речи, с одной стороны, и для создания непрерывного языкового поля, с другой. Чуть строже выдерживается в реализации формально-структурный принцип — и она приближается к модификации, чуть больше отступление от него — и она стремится совпасть с окказионализмом. Видимо, возможны наблюдения статистического плана, которые могли бы показать, что одни типы слияний реализаций наблюдаются чаще, другие реже.

Конечно, не все реализации дают такие слияния. Важна самая эта возможность. Важно также нахождение их в пределах гомофункционального ряда на особом формально нетипизируемом уровне.

Итак, с нашей точки зрения, сама системность устно-разговорного синтаксиса несомненна. Однако система эта весьма ограничена в своих средствах. Типизированных моделей немного (наверное, больше названных шести, но не намного). Обходиться лишь ими, лишь их системой говорящих на современном русском литературном языке был бы просто не в состоянии. В его распоряжении всегда находятся синтаксические средства общелитературной системы. Огромный «остаток», получающийся после вычета типизированных построений из всей массы синтаксических средств устно-разговорной разновидности, принадлежит общелитературной системе и гомофункциональных рядов не образует. Такие построения могут в отдельных моментах своего лексического наполнения или в употреблении актуализаторов типа *вот, вон, там* отличаться от общелитературных (это момент узуальный), могут и не иметь никаких отличий. Важно то, что это уже область общелитературного синтаксиса. Вот для примера несколько записей устно-разговорной литературной речи (такие случаи как неспецифические обычно не фиксируются исследователями разговорной речи и считаются «неинтересными»): — *Вообще-то она будет издана, С. говорит, в 74 году; — А у меня завязана ножка? — Нет. — Почему? — Доктор сказал что не надо; — А что мне читать? — Завтра я пойду на работу, Т. Я тебе принесу что-нибудь; — Течет! — Ну зачем пицать-то? Вот тряпка сзади тебя. Возьми и вытри; — Мам, у меня есть лента? — Знаешь что? Вот там на кухне на холодильнике стоит корзинка. В ней сидит твоя собака. У нее на шее лента. Вот можешь ее взять.* В последних трех примерах нетрудно увидеть воплощение того же принципа, что и в типизированной устно-разговорной конструкции с именительным темой, но здесь самостоятельность грамматического оформления члена, несущего основной информативный смысл высказывания, доходит до степени законченной предикативности общелитературного построения.

Таким образом, общелитературные синтаксические средства входят в устно-разговорный синтаксис тремя способами: 1) непосредственно включаясь в корпус его синтаксических средств; 2) будучи членом гетерофунк-

ционального синтаксического синонимического ряда, т. е. выступая синонимом специфического типизированного средства (большая или меньшая возможность осуществления такой синонимии определяется рядом экстралингвистических факторов — например, более или менее однозначной прикрепленностью данного типизированного построения к определенному ситуационно-тематическому циклу: чем ярче прикрепленность, тем меньше возможность синонимии)<sup>17</sup>; 3) будучи членом гомофункционального ряда, т. е. совпадая с его диффузной в своем грамматическом значении реализацией. Здесь мы подробнее осветили третий способ как имеющий непосредственное отношение к характеру системности современного русского литературного неcodифицированного устно-разговорного синтаксиса. Взаимоотношение корпуса средств устно-разговорного и общелитературного синтаксиса и положение системы типизированных устно-разговорных средств показано на рис. 4.

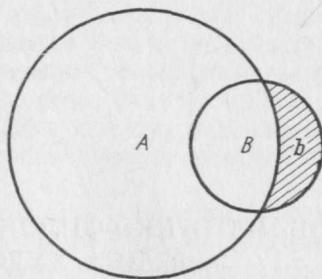


Рис. 4. Взаимное соотношение систем общелитературного и неcodифицированного устно-разговорного синтаксиса и положение корпуса устно-разговорных синтаксических средств: *A* — общелитературный синтаксис; *B* — корпус устно-разговорных средств; *b* — специфически устно-разговорный неcodифицированный синтаксис

\*

До сих пор основное внимание исследователей русской разговорной речи в области синтаксиса было обращено на выявление его специфических моделей. Настало время, не ослабляя внимания к этому направлению, исследовать и неспецифические, переходные его области, и детально изучить механизм, обеспечивающий единство современного русского литературного языка при всем многообразии его функционально-стилевых проявлений.

<sup>17</sup> См. об этом: О. А. Лаптева, Устно-разговорная разновидность современного русского литературного языка и другие его компоненты, ст. первая и вторая, «Вопросы стилистики», вып. 7 и 8, Саратов (в печати).

Н. Г. БЛАНДОВА

ОБ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЯ  
ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«...Раздваиваясь, единое сохраняет единство, примером чего может служить строй лука и лиры...»

(Платон, Избранные диалоги.)

1. Выделение стилистики художественной речи в особую отрасль филологической науки, теоретически обоснованное в исследованиях В. В. Виноградова<sup>1</sup>, обусловило появление работ, посвященных одному из важнейших вопросов стилистики — месту языка художественной литературы в системе стилей литературного языка. Вопрос этот и сейчас остается острым и не решенным до конца, а мнения исследователей нередко оказываются прямо противоположными<sup>2</sup>.

Молодость науки о языке художественной литературы объясняет и недостаточную разработанность методов и приемов исследования, и отсутствие систематического описания стилистики художественной речи в исторической перспективе. Происходящее на наших глазах обособление науки способствует тому, что некоторые исследователи склоняются к полному выведению языка художественной литературы за пределы системы стилей литературного языка<sup>3</sup>. Отсутствие исторического описания не позволяет судить об общности стилистических черт в литературе целого исторического периода или литературного направления<sup>4</sup>; пока затруднительно связать индивидуальные особенности стиля одного автора или произведения непосредственно с историей литературного языка.

Язык художественной литературы действительно отличается от любого другого вида литературной речи, и приемы его исследования неизмеримо богаче и разнообразнее приемов исследования других стилей литературного языка. Тем не менее представляется возможным общий типологический подход к определению и рассмотрению любого языкового стиля, в том числе и стиля художественного. Этот подход определяется единым принципом исследования стилей литературного языка. Стиль языка основывается «не столько на совокупности установившихся „внешних“ лексико-фразеологических и грамматических примет, сколько на своеобразных экспрессивно-смысловых принципах отбора, объединения, сочетания и мотиви-

<sup>1</sup> В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959; е го же, Проблема авторства и теория стилей, М., 1961; е го же, Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963; е го же, О теории художественной речи, М., 1971.

<sup>2</sup> Ср., например: Р. А. Будагов, К вопросу о языковых стилях, ВЯ, 1954, 3; е го же, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, В. Д. Левин, О некоторых вопросах стилистики, ВЯ, 1954; е го же, О месте языка художественной литературы в системе стилей национального языка, «Вопросы культуры речи», I, М., 1955. См. также другие материалы дискуссии по вопросам стилистики: ВЯ, 1954, 1—6; 1955, 1.

<sup>3</sup> См.: В. Д. Левин, О некоторых вопросах стилистики, стр. 80; е го же, О месте языка художественной литературы..., стр. 68.

<sup>4</sup> См.: А. Н. Соколов, Теория стиля, М., 1968, стр. 152.

вированного применения выражений и конструкций»<sup>5</sup>. Различие целей высказывания определяет мотивированность отбора языковых средств, используемых в разных стилях<sup>6</sup>. «Выбираем мы те или иные средства в каждом отдельном случае, исходя не из отвлеченных требований жанра, а учитывая конкретное содержание и назначение речи. Этот выбор определяется отношением пользующихся языком людей к данному содержанию, их всякий раз конкретными представлениями о назначении, функции данной речи»<sup>7</sup>.

Выделяя два вида просторечия, одно из которых, употребляющееся в художественной литературе<sup>8</sup>, входит в литературный язык, Ф. П. Филин тем самым еще раз подчеркивает, что язык художественной литературы в целом входит в состав литературного языка, составляя особое значительное образование в системе других его стилей<sup>9</sup>.

Проблема целевой установки в языке художественной литературы, которая в коммуникативном аспекте может быть соотнесена с функцией воздействия, гораздо сложнее, чем в других стилях. Она также и более многопланова, так как включает в себя соотнесенность с содержанием литературного произведения, его темой, идеей, сюжетом, жанром, композицией и, наконец, художественным методом писателя в целом. Проблема художественного стиля — это культурно-, литературно- и лингво-историческая проблема.

Положение о том, что язык художественной литературы не входит в систему стилей литературного языка, приводит исследователей к отрицанию системности художественной речи как особого явления, к признанию ее простой арифметической суммой индивидуальных стилей, находящихся в неопределенном положении по отношению к национальному языку в целом и литературному языку как его высшей форме. Язык художественной литературы не может рассматриваться и как механическое соединение элементов функциональных стилей.

Стилистика вообще и стилистика художественной речи в особенности — наука не просто описательная, а конструирующая, так как предмет ее — результат творчества. Она должна руководствоваться в своем развитии не формальной, а диалектической логикой, не логикой вывода, а логикой открытия<sup>10</sup>. Только в этом случае будет возможно при исследовании каждого стилистического факта — а в художественном тексте их бесконечное множество — нахождение особого приема, или варианта приема, при общем методе исследования.

Стилистика литературного языка включает в себя стилистику художественной речи, стиль художественный существует наряду с другими стилями языка, а на разных этапах исторического развития сам выступает в

<sup>5</sup> В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, стр. 196—197.

<sup>6</sup> Термин «функциональный» следует понимать не в смысле «функционирующий», а «соответствующий цели высказывания». Это значение было дано термину при его рождении в Пражском лингвистическом кружке. См.: «Тезисы Пражского лингвистического кружка», в сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 17 и сл.

<sup>7</sup> Ю. С. Сорокин. К вопросу об основных понятиях стилистики, ВЯ, 1954, 2, стр. 74.

<sup>8</sup> Именно такое употребление просторечной лексики писателями на практике и дает им в какой-то мере право считать «фикцией» литературный язык в смысле рафинированной нейтральной речи (Ф. А. Абрамов, Язык, на котором говорит время, Лит. газ. 22 XI 72).

<sup>9</sup> Ф. П. Филин, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2, стр. 8, 12.

<sup>10</sup> «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и „опосредствования“. Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок...» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 42, стр. 290).

роли фактора, формирующего стили литературного языка. В речи на Втором Всесоюзном съезде советских писателей В. В. Виноградов говорил: «От состояния языка и его стилей, от обусловленных историей народа путей и возможностей его развития, от народно-художественных традиций словесного творчества зависит во многом судьба национальной литературы. Вместе с тем развитие литературы и ее стилей оказывает мощное воздействие на культуру народной речи, на темпы и характер совершенствования национального литературного языка»<sup>11</sup>.

2. На разных этапах исторического развития взаимодействие и взаимовлияние языковых стилей оказывается различным. Это хорошо видно на примере развития русского литературного языка середины XIX в. 50—60-е годы XIX в. — годы становления и утверждения литературно-критического направления в публицистике, лучшими представителями которого стали В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев. Сформировалась терминология, сложился язык, характеризующийся соединением научности категорий и их образности, первой целью которого была понятность и доступность широкому читателю. Родился язык науки, на отсутствие которого сетовал А. С. Пушкин<sup>12</sup>.

Широта вовлечения образованных людей, владеющих литературным языком своего времени, в работу со словом, в мастерскую слова обусловило то явление, которое В. В. Виноградов назвал общей «литературностью» языка середины XIX в. Это явление в истории литературного языка отмечал еще И. В. Киреевский: «В наше время изящная литература составляет только незначительную часть словесности ... [ее] заменила словесность журнальная. И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал только периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями. В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты»<sup>13</sup>.

Значительные преобразования литературного языка середины XIX в. в первую очередь связаны с изменениями в общественном развитии. Это время мощного подъема революционно-освободительного движения, острой идеологической борьбы в философии. Время, характеризующееся «языковой смутой», в какой-то мере подобной «смуте» Петровской эпохи, не создает преград для взаимодействия между художественной речью и формирующимися функциональными стилями языка в индивидуальном творчестве. Художественная литература перестает играть ведущую роль в системе стилей литературного языка, но продолжает активно влиять на его развитие приемами словесной композиции, риторического воздействия, художественной образности, лексическими и фразеологическими средствами художественной речи.

В связи с этим в структуре литературного языка изменяется и соотношение стилей. Доминирующее положение занимают стили публицистический и научный. Они оказывают влияние на художественную литературу,

<sup>11</sup> «Вопросы культуры речи», 1, стр. 52.

<sup>12</sup> «...просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны» (Полн. собр. соч. в 10 томах, М. — Л., 1949, VII, стр. 31).

<sup>13</sup> И. В. Киреевский, Обзорение современного состояния литературы, цит. по кн.: В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1934, стр. 238.

на состав речевых средств и нормы употребления их в художественной речи, подвергаясь в свою очередь влиянию имеющего большую традицию языка художественной литературы<sup>14</sup>.

Пожалуй, самым характерным примером, иллюстрирующим такое положение в литературном языке 50—60-х годов XIX в., может служить роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Выработанные в языке публицистики своеобразные формы синтаксиса, семантики слова, лексических сочетаний и фразеологии входят в художественный текст романа без напряжения, легко и непринужденно сливаются с социально-речевой характеристикой персонажей, вплетаются в авторское повествование, используются в диалогах. В истории русской литературы можно сослаться на подобное органическое слияние элементов публицистического стиля с художественной речью в ткани литературного произведения, придающее всему художественному целому характерную стилевую доминанту. Образец такого сложного синтеза — «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева<sup>15</sup>. Подобное совпадение принципов синтезирования двух стилистических планов вызывается сходными общественными обстоятельствами и подобием процессов, происходящих в истории литературного языка обоих периодов, ср. распад традиционной для классицизма системы трех стилей, формирование системы новых функционально-речевых стилей с середины 70—80-х годов XVIII в. и типологически сходные явления, уже отмеченные выше, в середине XIX в.

Сходство и различие стилистического характера романов А. Н. Радищева и Н. Г. Чернышевского определяются, с одной стороны, ростом общественно-политического сознания, возникновением революционных идей переустройства общества на разных этапах его развития, с другой стороны, это сходство и различие вызвано публицистической направленностью романов в условиях, неодинаковых с точки зрения уровня развития литературного языка.

У Радищева обращение к старославянской лексике служило средством формулирования политической декларации автора. Славянизмы для него были испытанным средством выражения высоких гражданских чувств<sup>16</sup>. Для Чернышевского характерно иное построение публицистического наслоения на художественную речь. Оно выражается общим синтаксиско-интонационным строем фразы при использовании нейтральной лексики с самым ограниченным привлечением лексики специальной, необходимой автору лишь для более четкого определения понятий. Ориентируясь на широкого читателя, Чернышевский избегает сложных терминов, а его синтаксис приобретает афористичность и лаконизм, определяющие ритм сложной фразы.

Чернышевский — представитель второго этапа революционного движения в России<sup>17</sup>, нового этапа развития критического реализма в истории литературных направлений<sup>18</sup>, он, наконец, представитель и нового этапа в развитии русского литературного языка, когда происходит его дальнейшая демократизация в связи с приходом разночинной интеллигенции в число мастеров слова. Общепонятный язык обрабатывается уже не только писателями. И сам Чернышевский подходит к художественному творчеству зрелым литературным критиком, автором многих философских и эконо-

<sup>14</sup> А. И. Ефимов, История русского литературного языка, М., 1955, стр. 315.

<sup>15</sup> В. П. Вомперский, Стиль «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Р. яз. в шк.», 1972, 4, стр. 10.

<sup>16</sup> А. И. Горшков, История русского литературного языка, М., 1969, стр. 277—286.

<sup>17</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 21, стр. 261.

<sup>18</sup> М. Б. Храпченко, Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы, М., 1970, стр. 258, 261—263.

мических работ, создателем материалистической эстетики, блестяще владеющим литературным языком своего времени: «В России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я», — отмечал он сам<sup>19</sup>.

Ю. С. Сорокин приводит следующий отрывок из заключительной части рецензии Чернышевского на «Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов» Г. К. Кэре<sup>20</sup>: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дубри. Кто боится быть открытым пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя». И комментирует его: «Какой характер имеет здесь речь? Как будто бы ответ может быть один, если исходить из предмета речи и из положения и назначения данного отрывка в контексте всей рецензии: возвышенный. А чем это выражается? Подбором каких-то особых слов, выражений, форм, синтаксических построений, каждое из которых в отдельности мы могли бы назвать специфически возвышенным? Отнюдь нет. Напротив, здесь выбраны самые обычные, простые слова, здесь представлены такие синтаксические конструкции, которые применяются Чернышевским и по другим поводам, в других стилистических контекстах. Значит, чем-то другим, что еще должно быть определено...»<sup>21</sup>. Вот пример из заключительной части романа «Что делать?»: «По крайней мере дамы раз пять-шесть переглядывались между собой с тяжелою встревоженностью. Раза два Вера Павловна украдкой шепнула мужу: „Саша, что если это случится со мною?“. Кирсанов в первый раз не нашелся, что сказать, во второй нашелся: „Нет, Верочка, с тобой этого не может случиться“. — „Не может? Ты уверен?“ — „Да“. И Катерина Васильевна раза два шепнула украдкой мужу: „Со мною этого не может быть, Чарли?“ В первый раз Бьюмонт только улыбнулся, не весело и не успокоительно; во второй раз тоже нашелся: „По всей вероятности, не может, по всей вероятности“. Но все это были только мимолетные отголоски, да и то лишь сначала. А вообще вечер шел весело, через полчаса уж и вовсе весело. Болтали, играли, пели»<sup>22</sup>.

В этой небольшой картине обнаруживается подтекст политического и психологического содержания: тревога участников вечера передается намеками, она вызвана обстановкой кануна ожидаемой революции и начавшегося преследования революционеров. И здесь в очень важном для романа отрывке не найти каких-то «особых» языковых форм. Автор использует слова в их контекстном значении, в отношении экспрессивно-стилистической окраски они нейтральны. И только повторяющееся в разных формах указательное местоимение *это* определяет отношение автора к неназванному предмету. Он остается неназванным, а только угадывается, предчувствуется. Конечно, немаловажную роль играет здесь краткость, даже отрывочность синтаксических конструкций в репликах и авторских ремарках. Только смысловой акцент, падающий на местоимение *это*, его повтор создает тот эмоциональный тон, который выливается в напряженной интонации отрывка, прекрасно улавливаемой читателем. Полное содержание и подтекст нейтральной как будто речи автора и героев может проясниться в общем контексте целого. Отрывок, приведенный вы-

<sup>19</sup> Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в 15 томах, М., 1950, XV, стр. 774.

<sup>20</sup> Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., М., 1950, VII, стр. 923.

<sup>21</sup> Ю. С. Сорокин, К вопросу об основных понятиях стилистики, стр. 77.

<sup>22</sup> Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., М., 1939, XI, стр. 332.

ше, — часть всего романа. И действие, описанное в нем, не может быть до конца понято без перспективы всего произведения, без цепи ассоциаций, связанных в единую динамическую конструкцию.

Возникает противоречие: с одной стороны, полная семантическая и экспрессивно-стилистическая характеристика слова возможна только в контексте, только в словесном окружении слово проявляет в полной мере свое значение и функционирует эстетически; с другой — анализ должен начаться с относительной изоляции слова от окружающего контекста<sup>23</sup>. Предусматривает возникновение подобной трудности Д. Н. Шмелев. Прямо указывая, что «взаимосвязь отдельных языковых средств и приемов, их соотношение с общим стилем произведения могут быть правильно поняты только на основе тщательного лингвистического анализа текста, взятого в его смысловой и содержательной конкретности», он замечает: «взаимосвязь, несомненно, существует, она может быть показана и на некоторых отдельно выбранных элементах художественного произведения, но этот выбор не должен быть случайным и внешним по отношению к самому произведению»<sup>24</sup>.

3. Вся идейно-художественная основа романа «Что делать?», особенность композиции жанровых форм внутри его<sup>25</sup>, тематическое своеобразие обусловили выбор языковых форм для ее реализации. Роман Н. Г. Чернышевского — не столько критика существующего строя, самодержавия и зреющих капиталистических отношений, не столько литература обличительная, ставшая ведущей к середине XIX в. (М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов, Н. Г. Помяловский и др.), сколько роман положительных героев, утверждающий новые идеи и пути развития общества, будущую революцию и даже описывающий результаты ее свершения. Это своеобразие занимаемого романом Н. Г. Чернышевского места в истории русской литературы обусловило характерную черту его языкового воплощения, особую стилистическую его доминанту.

В литературе середины XIX в., пожалуй, не найдется ни одного произведения, которое можно было бы поставить с романом «Что делать?» в один ряд по общей стилистической направленности. Романы М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Помяловского, Ф. М. Решетникова и ряда других писателей-демократов, близких Н. Г. Чернышевскому в социально-политическом отношении, построены на гиперболе<sup>26</sup>, роман Чернышевского — на преднамеренной литоте<sup>27</sup>. Критическая направленность сатиры Щедрина кроется в явно преувеличенном, гиперболическом изображении отрицательных сторон современного ему общественного строя; у Чернышевского, напротив, утверждение положительных идеалов, новых людей, возвеличение героя-революционера, свободного труда и любви — вся утверждающая философия романа — выражается через недоговаривающую всего иронию. Он даже как будто и не всегда оправдывает своих героев, подсмеивается над ними, но доверяет им, отмечает их маленькие слабости, не пре-

<sup>23</sup> О проблеме выбора элементов для анализа, не искажающего общей характеристики стиля художественного произведения, см.: В. В. В и н о г р а д о в, Пoesия Анны Ахматовой, Л., 1925, стр. 51; В. Т у р б и н, Что же такое стиль художественного произведения?, «Вопросы литературы», 1959, 10, стр. 128, 134.

<sup>24</sup> Д. Н. Ш м е л е в, Об анализе языка художественного произведения, «Вопросы литературы», 1958, 7, стр. 128.

<sup>25</sup> См.: Н. Г. Б л а н д о в а, Черта между строк, «Русская речь», 1972, 1, стр. 3.

<sup>26</sup> См.: «Здесь ... налицо гротескность и гиперболичность ..., так популярные в сатирах Щедрина и, несмотря на свою внешнюю неестественность, точно обобщающие и формулирующие самый смысл явлений» (А. И. Е ф и м о в, Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, М., 1953, стр. 484).

<sup>27</sup> Имеется в виду литота как литературный и стилистический прием общего преуменьшения — прием, обратный гиперболе («Краткая литературная энциклопедия», 4, М., 1967, стр. 394).

уменьшая достоинств, используя стилистический прием литоты, употребляющейся для замаскирования, сокрытия высокой идеи романа. Выявление стилистической доминанты романа подводит нас к пониманию языковой формы построения образа автора<sup>28</sup>.

Постановку проблемы изучения языковой структуры образа автора — этого нового, глубокого пласта, в исследовании стилистики художественной речи, связанного с изучением языка и стиля литературного произведения как словесно-художественного единства, мы находим в трудах В. В. Виноградова<sup>29</sup>. «В „образе автора“, — писал он, — в его речевой структуре объединяются все качества и особенности стиля художественного произведения: распределение света и тени при помощи выразительных средств, переходы от одного стиля изложения к другому, переливы и сочетания словесных красок, характер оценок, выражаемых посредством подбора и смены слов и фраз, своеобразие синтаксического единства»<sup>30</sup>.

Понятие образа автора не всегда адекватно автору-человеку, личности. Возможность такого смещения, однако, постоянно присутствует и представляет собой серьезную опасность, подстерегающую исследователя. В литературном произведении художник не всегда ставит своей целью отразить полностью всю сумму своих знаний о мире, его философия может вступить в противоречие с его художественным талантом. Последнее подчеркивал В. И. Ленин при анализе общественно-политических взглядов и творчества Л. Н. Толстого. И тем не менее автор присутствует в художественном произведении независимо от своего стремления объективизировать повествование и заслонить себя образами персонажей; его присутствие прорывается в оценке событий, в отношении к героям, во внешне объективно-нейтральной авторской речи. Иногда же писатель прямо вводит в текст автора, заинтересованного, не скрывающего своего участия в происходящих событиях и резюмирующего их.

Образ автора всегда индивидуален, всегда в какой-то мере отражает субъективный характер автора-человека и обязательно — объективный, отражающий реальную действительность, взгляд художника. Это противоречие само по себе объективно: образ автора — не непосредственное отражение личности писателя, а отражение, опосредованное всей структурой художественного произведения. Стилистическое единство произведения наиболее ярко выражается в своеобразной языковой структуре образа автора<sup>31</sup>.

Возникновение нового предмета исследования в языке художественной литературы вызывает и критические замечания. Так, М. Б. Храпченко пишет: «Поиски образа автора в произведениях, которые создавались вне его воплощения, нередко напоминают процесс разгадывания мудреных картинок, когда требуется ответить на вопросы: где охотник, лисица, медведь, рыболов и т. д. И если при этом не всегда отыскивается сам „спрятавшийся“ автор, то обнаруживаются признаки, позволяющие судить о его облике»<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> См.: Д. Н. Шмелев, Слово и образ, М., 1964, стр. 110—111.

<sup>29</sup> См. также: Г. О. Винокур. Об изучении языка литературных произведений, сб. «Избр. работы по русскому языку», М., 1959, стр. 236—238; е г о ж е, Биография и культура, М., 1927, стр. 81—82.

<sup>30</sup> В. В. Виноградов. О языке художественной литературы, стр. 155.

<sup>31</sup> Изучение структурообразующей роли образа автора в тексте дает возможность научного построения литературной эвристики — «система способов и методов определения подлинности или подложности текста, а также установление его авторства, принадлежности тому или иному писателю, литературно-общественному деятелю» (В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, стр. 259 и сл.).

<sup>32</sup> М. Б. Храпченко, указ. соч., стр. 151.

По-видимому, действительно нельзя исследовать образ автора в произведении лишь по внешним атрибутам текста, т. е. видя в нем непосредственное лицо, представленное личным местоимением или глагольными формами. Иногда бывает трудно найти и знаки его присутствия, однако от объективно существующих трудностей изучения предмета сам он исчезнуть не может.

История литературы и литературного языка подтверждает, что становление и утверждение в литературе индивидуальности писателя и образа автора как ее первого и главного выражения обусловлено исторически: от анонимной и псевдонимной древней литературы<sup>33</sup> через литературную систему классицизма, где литературное произведение соотносится не столько с именем автора, сколько с принадлежностью к определенному жанру, а понятие индивидуального стиля еще очень неопределенно и смутно, до литературы реалистической.

В литературной системе классицизма стилистические приемы, образные речевые средства, правила и возможности их сочетания и пропорций устанавливались в пределах одного жанра как его индивидуальные образцы и «были свободны или легко освобождались от имени и индивидуального стиля автора, отчуждались от личной принадлежности и становились общим достоянием мастеров художественного слова»<sup>34</sup>.

В последней четверти XVIII в. и особенно к середине XIX в. проблема индивидуализации стиля приобретает чрезвычайную остроту, которая позже (к концу XIX — началу XX в.) выльется в борьбу с бесстилем, шаблоном, подделкой и нивелированием индивидуального стиля. Эта проблема тесно связана с образом автора, так как индивидуализация стиля есть отражение индивидуально-авторского осмысления действительности, проявляющаяся в значительной мере в языковом строе художественного произведения. «Жестикуляционная» и «мимическая» выразительность<sup>35</sup> создается ритмико-интонационным рисунком художественной речи; именно в нем «проявляется с наибольшей выразительностью соотносительная значимость отдельных элементов языка писателя. Этот рисунок не является чем-то внешним по отношению к выражаемому содержанию. Интонация высказывания всегда ощущается как элемент самого содержания и определяется именно им»<sup>36</sup>.

М. Б. Храпченко пишет об «интонации» литературного произведения: «Интонация в широком смысле слова — это не просто эмоциональная окраска повествования или драматического действия, это нечто большее. Так как интонация срастается с образным раскрытием объекта творчества, в ней выявляются черты того особенного, своеобразного, что несет с собой индивидуальное видение жизни»<sup>37</sup>. Подчеркивая эту мысль, М. Б. Храпченко ссылается на мнение создателей словесно-художественных произведений — писателей, которые свидетельствуют, что найти верный «тон» всему произведению, заговорить особым, никому больше не свойственным голосом, т. е. создать такой образ автора, в котором это было бы выражено, задача не просто трудная, а мучительная. К приведенным в книге высказываниям можно добавить слова Л. Н. Толстого: «Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все

<sup>33</sup> Д. С. Лихачев, Поэтика древнерусской литературы; его же, Человек в литературе Древней Руси, М., 1970.

<sup>34</sup> В. В. Виноградов, Проблема авторства и теория стилей, стр. 60—61.

<sup>35</sup> Там же, стр. 67.

<sup>36</sup> Д. Н. Шмелев, Слово и образ, стр. 118—119.

<sup>37</sup> М. Б. Храпченко, указ. соч., стр. 123.

построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного, нравственного отношения автора к предмету»<sup>38</sup>.

Единственно нужный писателю «тон повествования, создаваемый именно речевыми средствами — подбором и расстановкой слов, синтаксическим рисунком фразы и т. д. — предопределяется, в конечном счете, тем, какую „роль“ избирает себе автор, какой тон он берет для своего повествования, насколько и как он вводит читателя в описываемые события»<sup>39</sup>. Однако приводя пример ошибочной атрибуции текста, основанной на произвольном определении интонации автора<sup>40</sup>, понятой исследователем субъективно, В. В. Виноградов предостерегал от свободного, бездоказательного оперирования термином «интонация». «Интонация — замечал он, — вещь очень деликатная и очень субъективная»<sup>41</sup>. Чисто внешнее проявление интонации может быть понято чрезвычайно широко и неверно, обращение же к ее языковому выражению может обеспечить правильную ее оценку.

Если понимать под образом автора «воплощение того сознания, той точки зрения, которая определяет весь состав изображаемого в произведении...»<sup>42</sup>, то нельзя считать его принадлежностью только языковой структуры произведения. Нельзя также и поставить знак тождества между общей интонацией литературного произведения и образом автора, хотя точек соприкосновения здесь много. Так, именно на примере исследования образа автора особенно ясно встает главная проблема комплексного подхода к построению науки о языке художественной литературы, использующей методы и достижения поэтики и истории литературы, стилистики и истории литературного языка.

Исследование стиля литературного произведения, индивидуального стиля автора требует обращения к некоторым понятиям, ставшим традиционно литературоведческими. Стиль художественного произведения в широком понимании этого термина<sup>43</sup> включает в себя: 1) совокупность интонационных средств; 2) архитеконику литературного произведения (тема, идея, сюжет, композиция и др.); 3) язык как явление стиля<sup>44</sup>. «Слагаемых стиля много. Трудность овладения ими заключается в том, что они лишены абсолютного существования. Ритм, мелодика, словарь, композиция не живут независимой жизнью, они связаны, наподобие шахматных фигур... Нельзя „поправить“ в произведениях литературы только ритмику, только словарь, не повлияв при этом на другие слагаемые стиля. Зачеркивая слово, я меняю строй целой фразы, ее музыку, ее стопу, ее отношение к окружающей сфере»<sup>45</sup>, — пишет К. А. Федин.

Такое понятие стиля предполагает решение большого круга проблем. Функциональная стилистика художественной речи не может ограничиться

<sup>38</sup> Л. Н. Толстой, Полн. соб. соч. в 90 томах, М., 1949, 30, стр. 18.

<sup>39</sup> Д. Н. Шмелев, Слово и образ, стр. 119.

<sup>40</sup> В. В. Виноградов, Проблема авторства ..., стр. 75—79.

<sup>41</sup> Там же, стр. 77.

<sup>42</sup> Г. А. Гуковский, Реализм Гоголя, М. — Л., 1959, стр. 200.

<sup>43</sup> Д. С. Лихачев, Человек в литературе Древней Руси, стр. 3—5; В. М. Жирмунский, Вопросы теории литературы, Л., 1928; стр. 50: «В живом единстве художественного произведения все приемы находятся во взаимодействии, подчинены единому художественному заданию. Это единство приемов поэтического произведения мы обозначаем термином „стиль“».

<sup>44</sup> См.: М. Б. Храпченко, указ. соч., стр. 120, 127, 138, 159.

<sup>45</sup> К. А. Федин, Писатель, искусство, время, М., 1957, стр. 344.

только изучением языковых средств, выбранных писателем из сокровищницы языка, она обязательно должна учитывать соотнесенность языка в произведении со всеми составляющими стиля в широком его понимании. Лишь в этом случае язык изучается именно как «первоэлемент» литературы.

«Для развития современной науки, — писал Ф. П. Филин, — характерно возникновение новых дисциплин на стыках старых ... Надо поддержать исследования на стыке языкознания и математики. В то же время нельзя забывать и о других, не менее важных „стыках“. К таким „стыкам“ принадлежат области, связанные с изучением проблем языка и мышления, языка и психики и пр. Нужно развернуть также широкие разыскания на стыке языкознания и истории. Языкознание не должно и не может развиваться однобоко, с обязательным креном в какую-либо сторону»<sup>46</sup>. Синкретизм филологической науки прошлого перешел в глубокое исследование ее областей при резком разграничении языкознания и литературоведения. Современное состояние науки не только настоятельно требует их соединения на новом, более высоком уровне, но и представляет для этого серьезные возможности.

<sup>46</sup> Ф. П. Ф и л и н, К проблеме социальной обусловленности языка, сб. «Язык и общество», М., 1968, стр. 21—22.

Е. А. КОНЮС

## К ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ ВРЕМЕН В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Как известно, в английском языке прошедшее время в главном предложении сопровождается, как правило, прошедшим временем в придаточном предложении. Однако возможно и колебание — не только наличие, но и отсутствие согласования.

Это колебание бывает в определенных случаях: когда речь идет о настоящем времени с точки зрения говорящего или пишущего, о «до-настоящем», о будущем или о времени в более абстрактном, общем смысле (например, *He knew what poverty means*). Именно эти случаи, эти колебания будут исследоваться в данной статье. Вопрос поставлен следующим образом: как и чем отличаются друг от друга примеры согласования и его нарушения в английском языке.

Случаи так называемого «свободного» согласования (по терминологии И. П. Ивановой<sup>1</sup>) остаются за пределами настоящего рассмотрения. Случаи свободного согласования — это случаи с одной возможностью, когда имеет место повествование о прошлом, «до-прошлом» или будущем с точки зрения прошлого, но это «будущее» уже тоже было в прошлом. Пример свободного согласования: «Part of the afternoon had waned but much of it was left, and what was left was of the finest and rarest quality. Real dusk *would not arrive* (согласование в рассказе о прошлом) for many hours, but the flood of summer light had begun to ebb, the air had grown mellow, the shadows were long ...» (H. James, *The portrait of a lady*).

В данной же статье, как было сказано, исследуются случаи как согласования, так и его нарушения, что бывает, когда речь идет о настоящем времени (включая и настоящее в широком смысле), о «до-настоящем» или о будущем для говорящего. И. П. Иванова в таких случаях называет согласование «формальным» согласованием.

Еще в двадцатых годах, рассматривая колебание между согласованием и его нарушением, О. Есперсен давал следующий ответ на вопрос о причинах этого колебания применительно к отдельным приводимым им примерам: «Нарушение согласования здесь говорит о том, что говорящий сам уверен в истинности утверждения, тогда как наличие согласования переносит ответственность за высказывание на человека, чьи слова говорящий повторяет»<sup>2</sup>. Следовательно, в определенных случаях О. Есперсен связывает колебание согласования и его нарушения с модальностью. В другой своей работе О. Есперсен, однако, дает и иное объяснение наличию согласования: «Очень часто, однако, наличие согласования ... просто бывает в результате умственной инерции (is due simply to mental inertia): мышление говорящего обращено к прошлому и не останавливается для того, чтобы отдать себе отчет, к какому времени относится утверждение в придаточном

<sup>1</sup> См., например, ее работу «Вид и время в современном английском языке», (Л., 1961), стр. 166—167.

<sup>2</sup> O. J e s p e r s e n, *The philosophy of grammar*, London, 1951, стр. 294.

предложении. Человек просто продолжает говорить, употребляя время, подходящее времени в главном предложении... *Oh, Mr. Summer, I didn't know you were here (you are here, but I didn't know)... What did you say was your friend's name?*<sup>3</sup>.

Примерно через сорок лет к мнению О. Есперсена о связи в определенных случаях согласования и его нарушения с модальностью присоединился Б. А. Ильиш, который связывал согласование и его нарушение с модальностью в большом количестве случаев.

Однако изложение вопроса о согласовании и его нарушении в целом ряде практических пособий показывает, что, в частности, О. Есперсен не убедил их авторов в правоте своего мнения о возможности связи согласования и его нарушения с разными модальными оттенками.

В предлагаемой работе к исследованию согласования времен (на основе изучения примеров современного английского литературного языка) привлекался статистический метод. Исходные лингвистические положения при этом определялись непосредственно теоретическим курсом современного английского языка, который читался О. С. Ахмановой в 1962—1966 годах в МГУ. Исследовались произведения И. Во, Г. Грина, С. Моэма, Г. Пинтера и других английских авторов; Э. Хемингуэя, Т. Уильямса, Э. Олби и других американских писателей; газеты «Morning Star», «Daily World», «People's World». В результате получилась выборка из 305 случаев согласования и его нарушения. При этом в случаях с согласованием отбирались формы только изъявительного наклонения, прошедшие времена («чистое» согласование времен для английского языка). Примеры, в которых в придаточном предложении употреблялись формы сослагательного наклонения, не учитывались. В дальнейшем изложении предлагается семантическая классификация исследуемых примеров с учетом согласования и его нарушения. Эта классификация отражает наличие связи между согласованием, его нарушением и модальностью. С точки зрения связи согласования и его нарушения с модальностью, настоящая выборка была случайной. Это значит, что всякий попадавшийся в тексте пример, с точки зрения связи модальности и согласования или его нарушения, имел одинаковую возможность быть выбранным. Классификация, отражающая связь между модальностью и наличием и нарушением согласования, оказалась завершающим этапом работы. На карточках фиксировались не все попадавшиеся в тексте примеры, а лишь те случаи, в которых было нечто новое по сравнению с уже имеющимися — в структуре предложения, в формах глагола-сказуемого главного или придаточного предложения, а также в смысловых оттенках (временных или модальных).

Единица в данной выборке — это отдельное предложение с согласованием или его нарушением. Однако на карточку почти всякий раз выписывалось нужное предложение в широком контексте. Если не учитывать широкий контекст в большинстве случаев, то невозможно более или менее точно определять характер семантических оттенков или их отсутствие при наличии или нарушении согласования в данном предложении. Обязательный учет широкого контекста — это одна из особенностей применения статистического метода при исследовании семантики. Именно широкий контекст позволяет группировать примеры и подсчитывать количество их в каждой группе.

В процессе исследования было проведено несколько классификаций. Это были семантические классификации (учитывались временные и модальные оттенки или их отсутствие при согласовании и его нарушении) и клас-

<sup>3</sup> O. Jespersen, *Essentials of English grammar*, London, 1946 (1-е изд. — 1933). стр. 260—261.

Таблица 1

	I. согласо- вание	II. Нарушение согласования	Итого	%
А Модальные оттенки в придаточном или в главном предложении	124	0	124	56,1
В Следы модальных оттенков или полное отсутствие их	40	34	74	33,5
С Подчеркнутое отсутствие модальных оттенков	0	23	23	10,4
Итого	164	57	221 <sup>1</sup>	100
%	74,2	25,8	100	

<sup>1</sup> Из общего числа 305 примеров в таблице отражен 221 случай. Это — придаточные предложения дополнительные. 67 предложений — обстоятельственные, определительные и сказуемые — в статье не рассматриваются, несмотря на то, что в качественном отношении они подчиняются тем же правилам, что и дополнительные. Относительно остающихся 17 дополнительных предложений см. ниже (стр. 93).

сификации по временным формам, употребляющимся при наличии и отсутствии согласования с учетом значений этих форм в данных случаях. Каждая из этих классификаций представлялась в форме таблицы с цифрами (соответствующим количеством примеров) при каждой рубрике или без цифр. Эти классификации отвергались одна за другой в целом (элементы их, конечно, оставались), поскольку их статистико-математический анализ не давал ясных результатов. Иными словами, на эти классификации невозможно было давать статистический ответ.

Наконец, материал был разгруппирован по имеющимся в нем модальным оттенкам различного характера и степени, которые определялись в результате изучения широкого контекста. Таких групп оказалось три (см. А, В, С в табл. 1). Это, во-первых, контексты совершенно ясные, где определенно видно наличие модальных оттенков сомнения, неуверенности (рубрика А в табл. 1). Во-вторых, это такие контексты, которые не дают определенных оснований констатировать здесь наличие модальных оттенков или подчеркнутое их отсутствие (рубрика В); и, в-третьих, — когда в контексте подчеркивалось отсутствие модальных оттенков сомнения, неуверенности, возникал модальный смысл «это действительно так» (рубрика С).

Может возникнуть естественный вопрос, не являются ли данные, приведенные в табл. 1, наглядно отражающие зависимость между модальностью и наличием или нарушением согласования, результатом случайной выборки, содержащей только 221 пример.

Прежде всего необходимо повторить, что отраженный на таблице 221 пример — это только то, что было выписано в случайном порядке из самой разнообразной литературы в процессе чтения за несколько лет.

Однако факт остается фактом: если удвоить количество примеров, представить 442 случая вместо 221, все равно могли бы возникнуть сомнения в достаточности числа наблюдений — 884 случая и даже 1700 примеров из разнородной литературы, каждый пример в широком контексте, все равно были бы

недостаточны для надежных выводов. Специальная статистико-математическая проверка необходима во всех случаях, когда пользуются ограниченным числом наблюдений.

Удобным явится применение так называемого «критерия хи-квадрат» (Chi-squared test). В данном случае вероятность, что распределение значений на табл. 1 могло получиться вследствие случайностей выборки, оказалась значительно меньшей 0,001.

Таким образом, табл. 1 свидетельствует о том, что зависимость между наличием и нарушением согласования времен и модальностью в придаточном или главном предложении не случайна, а совершенно закономерна для той эпохи и характера литературы, которые отражены в выборке 221 примера. Необходимо повторить, что этот вывод предполагает наличие промежуточной группы, где бывает и согласование и его нарушение, и где выражается «незаметная» обычная модальность изъявительного наклонения.

Согласование и его нарушение прежде всего связаны с модальностью (точнее: с модальными оттенками) разного характера. Согласование связано с модальными оттенками сомнения, неуверенности в придаточном или главном предложении (I A на табл. ). В придаточном предложении это оттенки «по-моему», «по-видимому», «якобы», «может быть». Например: «Delegates to the conference of the Amalgamated Union of Engineering Workers' women's section at Eastbourne called for a day of industrial action to press demands for equal pay. A resolution instructing the national executive to „vigorously pursue the claim for equal pay for work of equal value for women“ was carried by 26 votes to one.

Mr. Hugh Scanlon, president of the AUEW, told delegates that their fight could well become a bulwark of the whole union in its campaign for better wages.

„The next few months seem certain to be a period of real turmoil and change, particularly in the engineering industry“, he said. Equal pay *was* a matter of burning importance (согласование времен, подчиняющееся прошедшим временам в предшествующем изложении; согласование подчеркивает модальный оттенок „по мнению докладчика“) throughout the country. Employers *were turning* (согласование: опять подчеркивается смысл „по мнению докладчика“) men against women workers over the issue» («The Times»).

В главном предложении модальные оттенки выражаются глаголом-сказуемым. Они представляют собой мнение (или отсутствие особого мнения), смыслы «мне казалось, что...», «я полагал, что...», «я бы думал, что...», «я бы сказал, что...», «я не имел представления, что...», «я бы не думал, что...». Например:

«Who's been to stay?»

No one. We had a friend of Tony's called Mr. Beaver last weekend.

John Beaver? ... How very odd! I *shouldn't have thought* he was at all Tony's ticket.

He *wasn't*... What's he like?

I hardly know him. I see him at Margot's sometimes. He's a great one for going everywhere» (E. Waugh, A handful of dust).

Нарушение согласования, в противоположность наличию согласования, связано с подчеркиванием отсутствия модальных оттенков, с подчеркнутой модальностью изъявительного наклонения, когда возникает смысл «это действительно так» (II C на табл. ). Например, «„We'll be watching for you along the road, noting your arrival at each post. You will have to account to us for your time“. He said something to his chauffeur and the man laughed.

„I said to him that he or I *will ask* you questions (и это действительно так будет) if you linger on the road“» (G. Greene, The comedians).

Помимо модальных оттенков сомнения, неуверенности, как показывает таблица (I B), наличие согласования связано с целой шкалой постепенного исчезновения модальных оттенков и даже с их отсутствием, когда выражается простая модальность изъявительного наклонения. Все эти случаи входят в таблицу во вторую, промежуточную группу классификации по модальности. Приведем примеры: «I'm so glad you're here. You remind me of your father. *Did you know* (остаток оттенка „вам не приходило в голову?“), „Вам не казалось?“) *you were like him? Any time I'm needed just send over. I shall be there*» (M. Allingham, *Black plumes*); «*Bit of luck, I call it. You never know who you're going to be put in with. I was jolly glad when I heard you were English*» (W. S. Maugham, *Mr. Know-All*). В этом предложении при отсутствии согласования, думается, был бы смысл „когда я узнал, что вы действительно англичанин“, а этот смысл здесь явно нежелателен. «*Arnold. It's nearly one o'clock, Elisabeth.*»

Elisabeth. I didn't know it was so late» (W. S. Maugham, *The circle*). В последнем примере уже невозможно обнаружить модальный оттенок: выражается обычная модальность изъявительного наклонения, но согласование все еще имеется.

Точно так же нарушение согласования, помимо подчеркнутого отсутствия модальных оттенков сомнения, неуверенности, наличия модального смысла «это действительно так», выражения подчеркнутой модальности изъявительного наклонения, связано с постепенным переходом к обычной модальности изъявительного наклонения и с незаметным, обычным для этого наклонения значением (см. II B в табл.). Например: «„*Yeah, and then nobody picks ya up any more*“,—the hitchhiker said — „... yours was the first car in an hour stopped for me“».

„I always pick'em up“,—my father said. „If Heaven didn't look after fools I'd be in your shoes. *You said you're a cook?*“ (остаток оттенка „я не сомневаюсь в ваших словах“)

„*Annh — I done it*“.

„*My hat's off to you. You're an artist*“» (J. Updike, *The Centaur*); «*Franklin Watts, in the magazine of Nov. 9, remarked that many Negro singers have become famous and successful, but that Negro instrumentalists have not been so lucky*» («*Daily World*», January, 4, 1969). В этом предложении уже ничего ясно не подчеркивается, выражается простая модальность изъявительного наклонения. Следовательно, и согласование, и его нарушение могут быть, когда имеет место незаметная, обычная модальность изъявительного наклонения. Иначе говоря, и согласование, и его нарушение могут означать практически почти одно и то же с точки зрения модальности («почти» — так как каждое из них все же тяготеет к своим полярным значениям).

Необходимо отметить, что когда согласование и его нарушение употребляются одно за другим, в рядом стоящих предложениях, то, видимо, выражаются все же разные оттенки. Например: «*Mommy: Daddy! What a terrible thing to say to Grandma!*

Grandma: *Yeah. For shame, talking to me that way.*  
Daddy: *I'm sorry, Grandma.*

Grandma: *Well, all right. In that case I'll go get the rest of the boxes. I suppose I deserve being talked to that way. I've gotten so old. Most people think that when you get so old, you either freeze to death, or you burn up. But you don't. When you get so old, all that happens is that people talk to you that way. Daddy (contrite): I said I'm sorry, Grandma* (смысл почти «и это действительно так»).

Mommy: *Daddy said he was sorry* (во всяком случае, не подчеркивается отсутствие модальных оттенков)» (Ed. Albee, *The American Dream*).

Применение статистического метода показывает, что случаи наличия и нарушения согласования без выражения особых модальных оттенков являются срединными на шкале перехода между контрастирующими модальными оттенками форм прошедших и настоящих времен изъявительного наклонения при соблюдении и нарушении согласования. Это путь перехода от оттенков сомнения, неуверенности типа «якобы», «по-видимому», «может быть» в придаточном предложении или «я полагал», «надеялся» в главном предложении (сфера наличия согласования) к другому полюсу — подчеркнутой модальности изъявительного наклонения, смыслу подчеркивания справедливости высказывания (сфера нарушения согласования).

В этих срединных случаях, как и в контрастирующих случаях, употребляются формы изъявительного наклонения. Но в срединных случаях эти формы выступают в их наиболее обычном, общем значении соответствия речи действительности. Соответствие речи действительности — это тоже модальность, только особого, незаметного характера, и именно поэтому случаи подобного рода (без заметных модальных оттенков) не выходят за пределы вывода о связи между наличием и нарушением согласования времен и модальностью.

Вывод о связи, зависимости между согласованием, его нарушением и модальностью охватывает и такие ситуации, когда подчеркиваются временные значения тех форм, которые употребляются при нарушении согласования. В настоящей работе это те 17 случаев из общего числа примеров, которые, как говорилось (стр. 90), хотя и не отражены на таблице, однако являются частью предложенной на ней группировки. Например, может подчеркиваться значение настоящего времени: „There's one thing. Do you know, I mean, can you tell me whether Mr. Last made another will?“ „I'm afraid that it is a thing I cannot discuss“.

„No, I suppose not. I'm sorry if it was wrong to ask. I just *wanted* to know how I *am* (в действительности, в настоящее время) with him“.

She still stood between the door and the table, looking lost in her bright summer clothes» (E. Waugh, *A handful of dust*). Случай такого типа, как этот, вошли бы в рубрику II С в таблице. Подчеркивание временного значения является здесь дополнительным оттенком к оттенку модальному. Еще один пример: «Mother: „I also talked to the Doctor.—He was shocked when I *told* him how much you're *running around* (Gloria looks frightened). He mentioned the X-ray pictures. They're not too good“» (T. Williams, *At liberty*). Этот случай мог бы войти в рубрику II В в таблице (отсутствие модальных оттенков). Форма Present Continuous в этом примере подчеркивает отнесенность действия к настоящему времени по сравнению с Past Continuous, которая была бы при соблюдении согласования, но она также является и формой изъявительного наклонения, одного из типов выражения модальности, а именно модальности соответствия речи действительности. Временные значения не могут быть без значений модальных, пусть это даже будет только обычное, незаметное значение изъявительного наклонения. Именно поэтому такие случаи также умещаются где-то на середине шкалы перехода от модальных оттенков типа «якобы», «по-видимому», «может быть» в придаточном предложении (они выражаются прошедшими временами изъявительного наклонения при соблюдении согласования), или от модальных оттенков «я полагал, что», «надеялся, что ...» в главном предложении к модальности подчеркивания соответствия речи действительности (смысл «это действительно так»). На середине этого перехода имеет место нейтральная, незаметная модальность изъявительного наклонения, и именно здесь согласование времен постепенно сменяется его нарушением.

Формы прошедших времен изъявительного наклонения при употреблении для соблюдения согласования выражают модальные оттенки типа «якобы», «по-видимому», «может быть», употребляются после модальных оттенков типа «я полагал, что ...» в главном предложении, а также выражают простую, обычную модальность изъявительного наклонения, которая свойственна им как формам изъявительного наклонения.

Формы настоящего, будущего времени и перфекта настоящего времени изъявительного наклонения, когда они употребляются для нарушения согласования, помимо подчеркнутой модальности изъявительного наклонения, смысла «это действительно так», также выражают и обычную, незаметную модальность соответствия речи действительности, которая свойственна им, как формам изъявительного наклонения.

Таким образом, согласование и его нарушение связаны, зависят от модальности во всех случаях, даже когда не выражается особых модальных оттенков ни при согласовании, ни при его нарушении. Здесь во всех случаях имеет место связь с модальностью, поскольку простая констатация факта наличия действия в формах изъявительного наклонения (например, *Птицы поют в саду*) — это тоже модальность, хотя только как бы нулевая модальность, только как бы начальная точка отсчета. А в полярном противопоставлении согласование и его нарушение связаны с разными модальными оттенками в пределах того же изъявительного наклонения: с оттенком «якобы» и другими оттенками сомнения, неуверенности при соблюдении согласования в противоположность смыслу «это действительно так» при отсутствии согласования.

И согласование, и его нарушение, как отмечалось, могут означать также практически почти одно и то же с точки зрения модальности — они могут просто указывать на наличие действия в настоящем (включая настоящее и в широком смысле), «до-настоящем» и будущем. Именно поэтому возможны случаи, когда после главного предложения с прошедшим временем можно употреблять как формы прошедших, так и настоящих времен. Свободный выбор между согласованием и его нарушением при отсутствии особых модальных оттенков, когда речь идет о настоящих (включая и настоящее в широком смысле), «до-настоящих» и будущих событиях, не будет ошибкой.

О. Н. СЕЛИВЕРСТОВА

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДИКАТИВНЫХ  
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ГЛАГОЛОМ *БЫТЬ*

1. Акад. Щерба писал о том, что создание адекватных словарей и грамматик составляет одну из самых главных и самых сложных задач лингвистики. Он полагал, что кроме трудностей, возникающих при решении любой истинно научной проблемы и связанных прежде всего с извлечением общего из частного (получение адекватного описания языка строится на выведении из данных в опыте фактов речи общего, т. е. того, что принадлежит языку), сложность поставленной задачи заключается в отсутствии ясного представления о том, какими в идеале должны быть эти словари и грамматики<sup>1</sup>. В настоящее время лингвисты выдвинули большое количество гипотез о сущности языковых единиц и методах их синхронного описания. Эти гипотезы частично исключают, частично дополняют друг друга и частично перекрещиваются. Различия их обусловлены разным пониманием самого содержания понятия языкового знака, иногда же касаются главным образом методики исследования. Для оценки справедливости выдвигаемых гипотез необходимо применить их к всеобъемлющему описанию данных в опыте фактов речи. Это условие почти никогда не выполняется в современных теоретических работах: лингвисты чаще всего отбирают только отдельные наблюдаемые факты, иллюстрирующие те или иные положения их теории. В настоящее время задача состоит в том, чтобы на основании разрабатываемой теории попытаться получить такое описание выбранных для исследования единиц, которое могло бы объяснить и предсказать все те особенности их употребления в речи, которые диктуются языком и речевой нормой<sup>2</sup>. Осуществление этой задачи позволит не только проверить истинность разрабатываемой теории, но и получить конкретные результаты, которые впоследствии будут использованы в построении будущих словарей и грамматик. Такая задача ставилась и в предлагаемой статье. В качестве объекта исследования были выбраны два вида предикативных притяжательных конструкций русского языка, а именно: притяжательные предикативные конструкции, построенные с помощью слова *есть* и нулевой формы глагола *быть*. Для удобства дальнейшего изложения представим анализируемые конструкции в виде символических записей «у X есть Y» и «у X Y».

Выбор пути исследования строился на предположении о том, что для получения исчерпывающего семантического описания достаточно установить следующее: 1) ту информацию, которая передается языковым знаком о денотате (эта информация составляет смысловую часть значения); 2) стилистическую характеристику описываемого языкового знака; 3) его экспрессивную или эмоциональную характеристику; 4) конфигуративные

<sup>1</sup> Л. В. Щерба, Очередные проблемы языкознания, «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958.

<sup>2</sup> Те особенности употребления, которые являются следствием того или иного осмысления денотата и которые необязательны для разных говорящих, не должны предсказываться в лингвистическом исследовании.

признаки (т. е. различные особенности в лексической и синтаксической сочетаемости, не объясняемые смысловым содержанием данного знака); 5) особенности в денотативной отнесенности, не предсказываемые однозначно той смысловой информацией, которая передается через означающее данного знака, при условии, что эти особенности обязательны для всех носителей данного языка или по крайней мере для достаточно больших групп говорящих.

В соответствии с принятым подходом исследование должно начинаться с установления той информации, которую слово или другая языковая единица передает о своем денотате. Эта информация предсказывает логически возможную сочетаемость исследуемого языкового знака с другими языковыми знаками. Поэтому цель, которая ставится во многих современных работах — перечислить все возможные окружения исследуемой единицы, — представляется методологически неоправданной. Необходимо установить только те дополнительные ограничения, которые язык накладывает на потенциально возможную сочетаемость языкового знака. Так, установив, о каком именно цвете сообщает слово *коричневый*, было бы излишне перечислять все существительные, определением к которым может служить это прилагательное. Достаточно указать только на то, что прилагательное *коричневый* не может сочетаться с существительными *глаза* и *волосы*, несмотря на то, что денотаты этих слов могут иметь коричневый цвет.

Денотативная отнесенность языкового знака также является функцией от его значения: языковой знак обозначает те элементы действительности, свойства которых соответствуют информации, заключенной в данном знаке. Однако внеязыковая действительность не всегда однозначно членится с точки зрения тех признаков, о которых сообщает тот или иной языковой знак. При этом речевая норма может допускать какое-либо одно осмысление таких «двусмысленных» элементов внеязыковой действительности, несмотря на то, что с логической точки зрения возможно и другое осмысление. Вследствие этого денотативная отнесенность двух языковых знаков с одинаковым значением может совпадать не полностью. В настоящее время многие лингвисты обращают внимание на расхождения в денотативной отнесенности слов разных языков. Поскольку, однако, в начале их исследований далеко не всегда устанавливаются значения анализируемых единиц, отмечаемые ими расхождения могут объясняться и разным осмыслением денотативной ситуации, и нетождественностью значений сравниваемых единиц<sup>3</sup>.

Исследование проводилось методом компонентного анализа. Этот метод позволяет раскрыть как общие признаки, которые имеют члены данной языковой системы в целом или некоторой частной подсистемы, так и признаки, определяющие отличия одной подсистемы от другой или других или одной индивидуальной единицы от других<sup>4</sup>. Полученные результаты про-

<sup>3</sup> Несовпадение значений слов или других единиц разных языков может рассматриваться как следствие неодинакового осмысления действительности лишь в историческом плане, с точки зрения формирования этих значений. Образовавшиеся значения, являясь элементами системы языка, сами составляют лингвистическую причину, которая и распределяет в основном денотативную отнесенность языковых единиц. Поэтому при рассмотрении проблемы соотношения языка и действительности представляется необходимым выделять два разных аспекта: 1) использование в речи существующей языковой системы для описания внеязыковой действительности; 2) отображение внеязыковой действительности в системе значений данного языка. Эти два аспекта часто не различаются при рассмотрении вопроса о соотношении языка и действительности. См., например: В. Г. Г а к, К проблеме соотношения языка и действительности, ВЯ, 1972, 5.

<sup>4</sup> Подробнее о методе см.: «Теория речевой деятельности», М., 1968, ч. III, гл. II; а также: О. Н. С е л и в е р с т о в а, Семантический анализ слов типа *все*, *all* и типа *кто-нибудь*, *some*. КД, М., 1966.

верялись на информантах с помощью той методики, которую Л. В. Щерба назвал применением эксперимента в языкознании<sup>5</sup>.

2. Исследование материала показало, что конструкция «у X есть Y» сообщает о наличии, существовании Y у X. Напротив, конструкция «у X Y» может передавать информацию о том, какой именно Y имеется у X или точнее — члену какого именно класса тождествен тот Y, который есть у X. Например, вопросы типа: *Что у тебя в кармане? Что у тебя в руках?*, которые, очевидно предполагают знание того, что у адресата речи есть что-то в руках, в кармане, могут быть построены только по модели «у X Y». Цель этих вопросов — установить, что именно есть у адресата речи. Напротив, если говорящий вообще не знает о наличии Y у X, он задает вопрос со словом *есть*: *У вас есть что-нибудь в кармане? У вас есть что-нибудь в руках?* Ср. также: *Кто у вас?* и *У вас кто-нибудь есть?* Та же закономерность распределения данных моделей наблюдается и в других типах высказываний. Например, если говорящий знает, что у некоторого лица есть машина, но хочет узнать о тех или иных свойствах этой машины, он построит свой вопрос по модели «у X Y»: *У него хорошая машина? У него «Москвич»?* и т. д. Напротив, нельзя задать вопрос типа *У вас дочь?*, если спрашивающий заранее не знает, что у адресата речи есть дети. Подобный вопрос был бы естествен лишь при наличии предварительных сведений о существовании детей данного лица. В вопросе типа *У него брат или сестра?* говорящий уже знает, что существует лицо, имеющее тех же родителей, что и X, но хочет уточнить, относится ли это лицо к мужскому или женскому полу.

Одним из следствий информации о существовании является неупотребляемость в конструкции «у X есть Y» определений, обозначающих такие свойства Y, о которых обычно сообщают, уже зная о наличии Y у X. Например, в предложении *У вас есть дочь?* обычно нельзя добавить определение *хорошая*, так как маловероятно возникновение такой ситуации, при которой говорящему важно было бы установить наличие у X именно хорошей дочери. Ср., напротив: *У вас есть дети дошкольного возраста?* (есть такие ситуации — например, устройство в детский сад, при которых спрашивающего интересует именно наличие детей дошкольного возраста; существование детей других возрастных групп несущественно).

Одна и та же денотативная ситуация иногда может быть осмыслена разными говорящими по-разному с точки зрения известности — неизвестности наличия качественно неидентифицированного Y у X. Например, можно сказать: *Что я вижу! У вас есть седые волосы* и *Что я вижу! У вас седые волосы*; *О да у вас есть горный хрусталь* и *О, да у вас горный хрусталь*. Предложения со словом *есть* предполагают, что говорящий до акта речи вообще не видел, не замечал Y. Напротив, предложения с нулевой формой сообщают о том, что говорящий до описываемого момента не отождествлял Y с членами данного класса, хотя, возможно, и видел его.

Конструкция «у XY» является немаркированным членом противопоставления по признаку «известность — неизвестность наличия качественно неидентифицированного Y у X»: она употребляется и для передачи информации о наличии Y у X в тех условиях, в которых не может быть использована конструкция «у X есть Y» (см. об этом ниже). Напротив, предложения, построенные по модели «у X есть Y», выступают в качестве маркированного члена рассмотренной оппозиции.

3. Информация о наличии Y у X может быть истолкована как сообщение о том, какой Y имеется (находится) у X при условии, что наличие каче-

<sup>5</sup> Л. В. Щерба, О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, в кн: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. II, М., 1960.

ственно неидентифицированного  $Y$  не предполагается заранее. Такое истолкование позволяет увидеть, что информация о том, какой  $Y$  имеется (находится) у  $X$ , входит в значение обеих анализируемых конструкций. По этому компоненту значения конструкции «у  $X$  есть  $Y$ » и «у  $X$   $Y$ » противопоставлены тем синтаксическим моделям, которые выбираются, когда цель речи — сообщить, у какого именно  $X$  находится  $Y$  или какому именно  $X$  принадлежит  $Y$ . Например, предложение *У меня Маша* показывает, кто находится у  $X$ , а предложение *Маша у меня* — где находится  $Y$ <sup>6</sup>. Ср. также фразы: *Эта книга моя* и *У меня есть эта книга*; только первая из этих фраз может служить ответом на вопрос *Чья эта книга?* (ср. описание подобных различий в терминах актуального членения).

Анализируемые конструкции не имеют в своем значении признака существования, если понимать под этим признаком информацию о приписании  $Y$  свойства «быть реальностью» (а не фикцией, вымыслом). Эта последняя информация, которую мы обозначим знаком  $Ex_1$ , входит в содержание предложений, построенных по моделям «у  $X$  есть  $Y$ » и «у  $X$   $Y$ », лишь в качестве исходной, заданной, предполагаемой общим контекстом высказывания. Об отсутствии компонента  $Ex_1$  в значениях самих конструкций говорит, в частности, возможность их употребления в предложениях типа: *Ты счастливее. У тебя есть Мария* (выбор имени собственного показывает, что о существовании  $Y$  было известно заранее). Однако анализируемым моделям можно, по-видимому, приписать признак  $Ex_2$ , содержание которого составляет информация о том, что  $Y$  находится в пространстве  $S$ , или, иными словами, что положение  $Y$  может быть задано координатами пространства  $S$ , если употреблять слово «пространство» в широком смысле и считать, что оно обозначает не только физическое пространство, но также — качественное пространство, пространство ситуации и т. д. При таком понимании признака  $Ex_2$  его можно выделить в значениях локативных конструкций, а также в значениях многих экзистенциальных и некоторых посессивных конструкций<sup>7</sup>. Эти конструкции различаются между собой, в частности, в зависимости от того, о каком именно пространстве идет речь. Анализируемые синтаксические модели чаще всего несут информацию о нахождении  $Y$  в качественном пространстве, т. е. о наличии  $Y$  среди элементов некоторого множества, которое мы будем обозначать буквой  $M$ . Эти конструкции предполагают также, что множество  $M$  является параметром  $X$ , т. е. связано с  $X$  тем или иным отношением. Представление о том, элементом какого именно множества является  $Y$ , определяется значением слова, обозначающего  $Y$ , и общим контекстом. Например, слово *дочь* в предложении *у меня есть дочь* показывает, что речь идет о наличии  $Y$  среди элементов множества «родственники автора речи», а слово *слабость*, употребленное в предложении *Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у нее есть слабости* (Толстой, Анна Каренина), позволяет отнести  $Y$  к множеству «свойства данного лица». Информация о нахождении  $Y$  в пространствах другого типа возникает, как правило, тогда, когда есть специальный член предложения, обозначающий описываемое

<sup>6</sup> Отметим, что указанная зависимость между порядком слов и информацией может нарушаться при произнесении предложения с особой интонацией.

<sup>7</sup> В лингвистической литературе уже отмечалось, что признак, обозначенный в данной статье знаком  $Ex_1$ , не соответствует содержанию многих экзистенциальных конструкций (см.: Ch. K a h n, *The Greek verb to be and the concept of being*, «International journal of language and philosophy», 2, 3, 1966. В статье Ч. Кана указывалось также, что эти конструкции обычно ассоциируются с пространственными представлениями. В большинстве случаев, однако, экзистенциальные и посессивные конструкции типа анализируемых здесь описываются через признак  $Ex_1$ . См., например: E. C l a r k, *Location: A study of the relations between «existential», «locative» and «possessive» constructions*, «Working papers on language universals», 3, Stanford University, 1970.

пространство (см. ниже). Исключение составляют, по-видимому, только предложения типа *У меня Мама*, которые сообщают о нахождении *У* в пределах некоторого физического пространства.

В дальнейшем мы в основном будем рассматривать информацию о наличии *У* в множестве *М*, хотя большинства сделанных ниже утверждений справедливо для всех случаев употребления анализируемых моделей.

4. Информация о наличии *У* в множестве *М*, связанном с *Х* тем или иным отношением, лежит в основе второго признака, различающего конструкции «*у Х есть У*» и «*у Х У*»: конструкция «*у Х есть У*» сообщает о том, что *У* входит в такое множество *М*, которое имеет или может иметь одновременно с *У* и другие члены. Напротив, конструкция «*у Х У*» не несет информации о том, что число элементов *М* обязательно, хотя бы потенциально, больше *У*.

Соответствие выделенного компонента действительности подтверждается тем, что конструкция «*у Х есть У*» не употребляется, если *Х* не может иметь других членов того класса, которому принадлежит *У*. Например, нельзя сказать: *У Коли есть горб* (горб не рассматривается как часть тела человека и не является одной из точек отдельного параметра: у человека обычно не бывает больше одного горба). Ср., напротив: *У верблюда есть горб* (горб — часть тела верблюда) и *У горбатого человека есть горб* (горб — неприменная составная часть горбатого). В конструкции со словом *есть* не могут также стоять определения, сужающие класс, к которому принадлежит *У*, таким образом, что *У* превращается в единственного представителя этого класса у *Х*. Так, в контексте: *Он нам нужен. У него есть фантазия* нельзя добавить определение к слову *фантазия*, поскольку в этом случае *У* стал бы восприниматься не как член множества «способности данного лица», а как член множества «фантазии данного лица», что абсурдно, если речь идет о способности, а не о результате, продукте этой способности. Подобно этому нельзя сказать: *У него есть острый ум, У него есть интеллигентные родители, У него есть голубые глаза*, поскольку эти предложения предполагают возможность существования<sup>8</sup> у *Х* и не *У* (неострого ума, неинтеллигентных родителей, неголубых глаз).

Таким образом, конструкция «*у Х есть У*» сообщает не только о наличии *У* у *Х*, но и о том, что *У* соотносится с таким параметром *Х*, на котором лежат или могут лежать одновременно с *У* и другие точки.

Напротив, конструкция «*у Х У*» сообщает об отношении *У* к *Х*, взятом изолированно: она не предполагает наличия или возможности наличия у *Х* и других членов того класса, которому принадлежит *У*, т. е. *М* может быть равно *У*. Возможность реализации данной информации является достаточным условием для выбора конструкции «*у Х У*»: эта конструкция употребляется и тогда, когда наличие *У* у *Х* известно заранее, и тогда, когда о нем сообщается в высказывании. Поэтому можно сказать: *У меня тоска, У него умная дочь, У него богатая фантазия* и т. д.

Разница в информации конструкций «*у Х есть У*» и «*у Х У*» влияет не только на их синтагматические связи и на особенности денотативной отнесенности, но и на условия из употребления, связанные с целью высказывания. Так, например, если цель высказывания заключается в том, чтобы перечислить все предметы, составляющие обстановку комнаты, выбирается конструкция «*у Х У*». Например: *У меня в комнате стул, стол и два шкафа*. Напротив, если цель высказывания — сообщить о том, что *У* входит в число предметов, составляющих обстановку комнаты (неважно, является ли перечисление исчерпывающим или нет), употребляется конструкция

<sup>8</sup> При истолковании анализируемых конструкций слово «существование» употребляется в значении *Ех<sub>2</sub>*.

со словом *есть*: *У меня в комнате есть стул, стол и два шкафа*. Ср. также: *У него только одно серьезное заболевание. Это невроз* (множество «серьезные заболевания данного лица» тождественно  $Y$ ) и *У него есть только одно серьезное заболевание. Это невроз* (из множества тех серьезных заболеваний, которые мог бы иметь  $X$ , в действительности существует только одно указанное заболевание). Последнее предложение обычно выбирается, если цель высказывания — опровергнуть явное или неявное предположение о том, что у данного лица много серьезных заболеваний.

В некоторых контекстах об отношении  $Y$  к  $X$  упоминается в связи с каким-либо другим событием. При этом выбирается конструкция «у  $X$   $Y$ », если цель высказывания — сообщить о связи или зависимости этого другого события от отношения  $Y$  к  $X$ : способность  $X$  иметь и другие объекты, принадлежащие к тому же классу, что и  $Y$ , в данном случае несущественна. Например: [Дантес]: *Я женился на ней из-за вас, с одной целью — быть ближе к вам. Да, я совершил преступление. Бежим* — [Пушкина]: *У меня дети* (Булгаков, Последние дни; напоминание о детях служит здесь для указания на причину, препятствующую побегу); *Что тридцать рублей, ваше превосходительство. У меня детишки...* (там же); *Надо, чтобы жена принесла свое, а муж — свое. У меня служба — у нее связи и маленькие средства* (Толстой, Война и мир).

Однако если зависимость второго события от отношения  $Y$  к  $X$  воспринимается как самоочевидное следствие и цель высказывания заключается в том, чтобы сообщить или напомнить о существовании  $Y$  у  $X$ , выбирается конструкция со словом *есть*. Например: *У меня есть уши. Я не могу не слышать; У меня есть глаза, я сама давно видела... и только ждала его приезда, чтобы объясниться* (Чехов, Рассказ неизвестного человека). Очень часто одни и те же денотативные ситуации могут быть описаны через обе анализируемые конструкции. Например: *У меня есть дети. Я должна работать и У меня дети. Я должна работать*.

В большинстве условий употребления конструкция «у  $X$  есть  $Y$ » сообщает о том, что множество  $M$  может, но не обязательно имеет и другие члены, кроме  $Y$ . Однако некоторые предложения, построенные по данной модели, предполагают обязательное существование и других членов множества  $M$ , которые, скорее всего, составляют большую часть этого множества. Противопоставленные им предложения, образованные по модели «у  $X$   $Y$ », показывают, что  $Y$  равен или скорее всего равен  $M$ . Например: *У нее есть седые волосы* (т. е. меньшая часть волос седая) и *У нее седые волосы*<sup>9</sup> (т. е. все или скорее всего все волосы седые); *У меня есть хорошие студенты* (т. е. не все студенты автора речи принадлежат к категории хороших студентов) и *У меня хорошие студенты* (т. е. скорее всего все студенты автора речи хорошие); *У нее есть интересные книги* (т. е. некоторые из имеющихся книг интересные) и *У нее интересные книги* (т. е. скорее всего все книги интересные); *У него в отделе есть хорошие биохимики* и *У него в отделе хорошие биохимики*. Заметим, что анализируемая информация реализуется и в других конструкциях, которые могут оформляться со словом *есть* и без него. Например: — *Напрасно. Здесь есть хорошенькие. А молодому человеку стыдно не танцевать* (Тургенев, Отцы и дети). Слово *есть* в приведенном примере также показывает, что лишь некоторые дамы данного города хорошенькие. Ср. *Дама здесь прехорошенькие*. Таким образом, в рассматриваемых предложениях утверждение о существовании  $Y$  предполагает одновременно существование и не  $Y$  ( $\bar{Y}$ ): неинтересных книг, неседых волос, плохих студентов и т. д. Мы не проанализировали

<sup>9</sup> Это предложение не несет рассматриваемой информации, если оно употреблено в контексте, предполагающем непосредственное обнаружение  $Y$ : *Ой, посмотри! У него седые волосы* ( $Y$  либо равен, либо меньше  $M$ ).

всех условий реализации данной информации. По-видимому, она актуализируется в тех предложениях, в которых  $Y$  обозначен существительным множественного числа, имеющим определение, при условии, что наличие у  $X$  элементов множества  $M$  заранее известно и число этих элементов достаточно велико (совокупность биохимиков данного отдела, библиотека данного лица и т. д.).

Итак, предложения, построенные по модели «у  $X$  есть  $Y$ », сообщают о том, что  $Y$  входит либо в такое множество  $M$ , которое имеет и другие члены, либо в такое множество  $M$ , которое по крайней мере может иметь и другие члены.

Имеются, однако, некоторые условия, при которых конструкция «у  $X$  есть  $Y$ » теряет компонент « $M$  больше  $Y$ ». Первое из этих условий составляет употребление местоимений *кто, что, кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь*, которые вообще не могут использоваться в конструкции «у  $X$   $Y$ ». Например: *У вас есть с кем оставить детей?*; *У вас кто-нибудь, есть?*; *По-моему, у него кто-то есть*. Во-вторых, компонент « $M$  больше  $Y$ » не входит в значение конструкции «у  $X$  есть  $Y$ », когда она используется для передачи информации о том, что  $Y$  у  $X$  все-таки есть. Эти предложения служат возражением на явное или неявное предположение о том, что  $Y$  не существует. Например, можно сказать: *У нее все-таки есть небольшой горбик*; *У вас есть небольшое нагноение*; *У него все-таки есть небольшая опухоль*. Подобные предложения не могут включать определения типа *большой, сильный*. Для введения этих определений требуется добавление особого предложения. Например: *У него есть опухоль. Больше того, она большая*.

5. Выделение смысловых признаков, определяющих различие конструкций «у  $X$  есть  $Y$ » и «у  $X$   $Y$ », не исчерпывает тех проблем, которые встают при семантическом описании этих конструкций. Основная трудность заключается в том, что внеязыковая действительность далеко не всегда однозначно расчлняется при рассмотрении ее под углом зрения выделенного признака. Так, в некоторых денотативных ситуациях отсутствие у  $X$  других членов того класса, которому принадлежит  $Y$ , может считаться нормой. Такие ситуации обычно описываются через конструкцию «у  $X$   $Y$ ». Например: *У него опухоль*, а не: *У него есть опухоль* (отсутствие опухолей воспринимается как норма); *У него синяк*; *У него собственный дом* (обычно можно иметь только один собственный дом). Однако если контекст показывает, что в данном случае  $X$  имеет или мог бы иметь не только  $Y$ , предложение может быть построено по модели «у  $X$  есть  $Y$ ». Например, при перечислении можно сказать: *У него есть еще синяк под правым глазом*; *У него есть собственный дом в Туле*.

Таким образом, восприятие денотативной ситуации как такой, в которой  $Y$  не составляет отдельного параметра  $X$ , а является лишь одной из точек того или иного параметра, зависит от того, насколько часто объекты того же класса, которому принадлежит  $X$ , имеют одновременно больше одного элемента того класса, в который входит  $Y$ .

Формально членами одного класса могут считаться объекты, которые объединены хотя бы одним общим свойством. Однако при интуитивном восприятии действительности, отраженном в речевой деятельности, учитываются значимость, удельный вес, устойчивость этого общего свойства или свойств. Вследствие этого конструкция со словом *есть* обычно не употребляется, если речь идет: 1) о том или ином заболевании; 2) о чувстве, ощущении, испытываемом в описываемый момент времени; 3) о событии; 4) об объектах, объединенных с  $X$  временной пространственной связью, а также о предметах, составляющих одежду  $X$  в описываемый момент времени. Во всех перечисленных случаях связь между  $Y$  и другими подоб-

ными ему элементами воспринимается как временная, несущественная и потому недостаточная для объединения различных объектов в некоторое единство. Однако имеются условия, которые делают возможным использование конструкции со словом *есть* для обозначения перечисленных выше отношений. При указании на заболевание описываемого лица таким условием может быть употребление обобщающего слова, значение которого исчерпывается информацией о принадлежности  $Y$  к классу болезней. Например, можно сказать: *У нее есть только одно серьезное заболевание. Это невроз*, хотя нельзя построить предложения типа: *У нее есть только невроз* или *У нее есть еще катар верхних дыхательных путей*, несмотря на то, что контекст предполагает существование или возможность существования одновременно с  $Y$  и других болезней данного лица.

При описании отношения между предметом и местом его нахождения (конструкция «у  $X$  в  $S$  есть  $Y$ ») слово *есть* может быть употреблено, если  $S$  является местом постоянного нахождения  $Y$ , местом его хранения, а также если контекст показывает, что в  $S$  находится не только  $Y$ . Например: *У меня в комнате есть стул; У меня в кармане есть ключ*. Напротив, нельзя сказать: *У меня в руке есть ключ*<sup>10</sup>. Последнее предложение допустимо лишь при перечислении предметов, которые  $X$  держит в руке: *У него в руке есть еще ключ*. При перечислении всех предметов, которые  $X$  имеет в данный момент (например, и в руке, и в сумке, и в кармане), конструкция со словом *есть* используется, если речь идет об однородных предметах или о предметах, которые осмысляются как достояние, «богатство»  $X$ . Например: *У меня в руке есть еще одна конфета*.

Если  $Y$  представляет собой лицо, конструкция «у  $X$  в  $S$  есть  $Y$ » употребляется также тогда, когда  $S$  воспринимается не как местонахождение, а как некоторая функционально-пространственная система, членом которой является  $Y$ . Например: *У нас в квартире есть дети дошкольного возраста; У меня в этой больнице есть знакомый*<sup>11</sup>. Последнее предложение можно построить, если речь идет о лице, работающем в данной больнице. Напротив, это предложение нельзя употребить, если говорящий хочет сказать, что его знакомый лежит в больнице: больные не считаются членами системы «данная больница».

Со словами, обозначающими чувства, ощущения, события конструкция со словом *есть* регулярно употребляется только тогда, когда их денотаты осмысливаются как постоянные психологические качества  $X$  или как возможности, имеющиеся в  $S$ . Например: *У нее по крайней мере есть чувство страха* (т. е. среди прочих психологических качеств  $X$  есть чувство страха); *У меня в жизни есть только одна радость. Это моя дочь; Она никогда не жалуется, но я хорошо знаю, что у нее есть большое горе; У нас в институте есть занятия по английскому языку; У нас есть прекрасные морские купания*. Указание на одновременную реализацию нескольких однородных событий обычно недостаточно для того, чтобы предложение со словом

<sup>10</sup> Эту особенность употребления можно объяснить не только выделенным признаком, но также — информацией о наличии тесной, существенной связи между  $Y$  и  $S$ . Осталось невыясненным, существуют ли такие особенности употребления, которые зависели бы только от этой информации. Во всяком случае очевидно, что она не всегда входит в значение конструкции «у  $X$  есть  $Y$ » и в большинстве случаев не влияет на возможность употребления этой конструкции.

<sup>11</sup> Поскольку в рассматриваемых предложениях  $Y$  представлен как член системы  $S$ , эти предложения могут быть использованы только тогда, когда связь между  $Y$  и  $S$  воспринимается как более тесная или во всяком случае не менее тесная, чем связь между  $Y$  и  $X$ . Поэтому нельзя, например, сказать: *У меня в этой больнице есть сын. У меня в квартире есть дети дошкольного возраста*, если в данной квартире живет только семья автора речи.

есть неполностью соответствовало языковой норме<sup>12</sup>. Например, все опрошенные (10 человек)<sup>13</sup> считали фразы *У меня сегодня есть еще одна радость*; *У меня есть еще одно несчастье* не совсем правильными. Построение предложения по модели «у X сегодня есть Y» со словами *занятие, урок, консультация, операция* может быть обусловлено также тем, что Y рассматривается как одна из точек временного отрезка, обозначенного словом *сегодня*. Например: *У вас сегодня есть консультация?*; *У меня сегодня есть еще одно занятие*.

Таким образом, объединение различных объектов внеязыковой действительности в один класс, принятое в данном языковом обществе, не определяется однозначно свойствами этих объектов.

Из приведенных выше примеров было видно, что денотаты одних и тех же слов могут рассматриваться — в зависимости от общего контекста или от реализующегося в данном контексте значения этих слов — как члены разных классов. Укажем еще на некоторые случаи соотнесения обозначаемых одного и того же слова с разными параметрами X. Денотат выражения *мания величия* может интерпретироваться и как определенное психическое заболевание и как склонность, наклонность данного лица. При описании ситуации первого типа конструкция со словом *есть* не употребляется. Напротив, вторая ситуация может быть обозначена предложением, построенным по модели «у X есть Y» (Y является одной из психологических особенностей X). Денотат слова *дом* может рассматриваться и как член множества «собственность данного лица» и как член множества «местожительство данного лица». При первом осмыслении можно употребить конструкцию со словом *есть*. Например: *Он вовсе не беден. У него есть дом, сад и достаточное количество денег*. Напротив, если речь идет о местожительстве, конструкция со словом *есть* обычно не используется. Исключения составляют только предложения, употребленные в контексте, который показывает, что описываемое лицо имеет возможность жить в разных местах. Например: *Он снимает у нас квартиру, но у него есть собственный дом*.

Не только общий контекст, но и различные синтаксические средства, используемые для расширения предложения, могут показывать, точкой какого именно параметра представлен в данном тексте Y. Например, в предложении *У него страсть к музыке* нельзя добавить слово *есть*, поскольку словосочетание *к музыке* заставляет воспринимать Y прежде всего как член множества «отношение данного лица к музыке», которое не может иметь других членов, кроме Y. При опущении этого словосочетания появляется возможность построить предложение по модели «у X есть Y». Например: *У него есть только одна страсть. Это страсть к музыке*.

6. Область денотации конструкций «у X есть Y» и «у XY» часто перекрещивается с денотативными классами других синтаксических моделей. Например, можно сказать: *Она молода, Она молодая, У нее есть молодость; Она страстно любит музыку, У нее страсть к музыке; Она живет в отдельной квартире, У нее отдельная квартира* и т. д. «Конкуренция» с другими синтаксическими моделями приводит к появлению конфигуративных ограничений в использовании анализируемых конструкций, а иногда способствует также развитию дополнительных смысловых признаков. Так, эти

<sup>12</sup> Повторение чувства, ощущения или повторение того или иного события не может служить основанием для выбора конструкции со словом *есть*: эта конструкция предполагает возможность одновременного существования нескольких членов множества M. Поэтому нельзя, например, сказать: *У нас есть интересные разговоры; У нее часто есть головные боли* и т. д. Для описания подобных ситуаций используются другие языковые средства и, в частности, конструкция «у X бывает Y»

<sup>13</sup> О методике исследования см.: О. Н. Селиверстова, указ. соч.

конструкции употребляются для описания отношения между свойством и его носителем либо тогда, когда не существует соответствующего прилагательного (например: *У нее есть одно удивительное качество; У нее есть недостатки*), либо тогда, когда говорящий хочет передать информацию о том, что описываемое свойство составляет особое достояние, преимущество *X*. Например: *Ну, о чем вам горевать? У вас (есть) молодость, красота, здоровье*. Развитие этого дополнительного признака связано, по-видимому, с тем, что информация об отношении собственности, входящая в семантический объем анализируемых конструкций, переносится на другие типы отношений и приобретает при этом оценочно-экспрессивный характер.

Информация об отношении собственности может, по-видимому, играть роль различительного признака анализируемых конструкций и в других случаях. Ср., например: *У нее маленький домик* и *Она живет в маленьком домике; У нее есть отдельная квартира* и *Она живет в отдельной квартире; У нее есть муж* и *Она замужем; Почему ты режешь бритвой? У меня в ящике есть ножницы. Возьми их* и *У меня в ящике лежат ножницы. Принеси их мне*.

\*

В статье наиболее полно были рассмотрены те признаки, которые определяют различия конструкций «*у X есть Y*» и «*у X Y*». Было показано, что смысловое содержание этих конструкций различается по двум признакам: конструкция «*у X есть Y*» сообщает (1) о наличии *Y* у *X*, причем предполагается, (2) что *Y* является одним из ряда однородных объектов, которые имеет или может иметь *X* («*M* больше *Y*»). Напротив, конструкция «*у X Y*» необязательно вносит информацию о наличии *Y* у *X*; она может употребляться для указания на то, какой именно *Y* имеется у *X* (наличие качественно неидентифицированного *Y* заранее известно). Эта информация реализуется в тех условиях, в которых выбор конструкции «*у X Y*» не диктуется отсутствием компонента «*M* больше *Y*» (т. е. общий смысл контекста не противоречил бы утверждению, что «*M* больше *Y*»). В других условиях конструкция «*у X Y*» может сообщать о наличии *Y* у *X*, но, в отличие от модели «*у X есть Y*», она не несет сведений о том, что *Y* обязательно является лишь одним из множества однородных объектов, которые имеет или может иметь *X*. Были также выделены условия, в которых конструкция «*у X есть Y*» теряет компонент «*M* больше *Y*», и условия, в которых эта конструкция сообщает о наличии *Y* в таком множестве *M*, которое не только может иметь и другие элементы, кроме *Y*, но и фактически имеет их.

Менее полно были рассмотрены компоненты значения, общие для анализируемых синтаксических моделей, а также те дополнительные стилистические, конфигуративные и, возможно, смысловые признаки, которые входят в значение конструкций «*у X есть Y*» и «*у X Y*» лишь при некоторых конкретных лексических наполнениях (были отмечены только признаки, реализующиеся при существительных, обозначающих качество).

Полученные результаты показывают, что выбранный путь исследования позволяет выявить все, что должен знать говорящий, чтобы иметь возможность правильно употребить языковой знак в речи при условии, что денотативная ситуация уже определена<sup>14</sup>. Выделенные признаки

<sup>14</sup> Возможность правильного употребления языковой единицы в речи зависит не только от знания языка, но и от того, что говорящий знает о денотате. Если говорящий имеет неправильные сведения об объекте описания, он может выбрать языковые знаки, передающие о нем ложную информацию. Очевидно, что подобные случаи неправильно-го употребления не должны учитываться в лингвистических исследованиях.

действительно «выводятся» (мы пользуемся здесь выражением Л. В. Щербы) из многочисленных особенностей употребления анализируемых конструкций и — в сочетании с правилами описания «двусмысленных» денотативных ситуаций (эти правила были рассмотрены) — позволяют при построении речевого высказывания сделать правильный выбор между конструкциями « $X$  есть  $Y$ » и «у  $X$   $Y$ », а также между этими конструкциями, с одной стороны, и синтаксическими моделями « $Y$  у  $X$ » и «имя + связка + + прилагательное», с другой.

Полученные результаты свидетельствуют также о том, что выбранный путь исследования позволяет описать те факты, которые обычно являются предметом рассмотрения теории актуального членения, а в последнее время — также теории пресуппозиции<sup>15</sup>. Проведенное исследование показало также возможность применения метода компонентного анализа к описанию синтаксических моделей.

<sup>15</sup> Об этой теории см., например: Н. Д. А р у т ю н о в а, Проблемы синтаксиса и семантики в работах Ч. Филлмора, ВЯ, 1973, 1.

## ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

П. Г. БОГАТЫРЕВ

## ЯЗЫК ФОЛЬКЛОРА

Язык является первоосновой поэзии как письменной, так и устной. Нельзя изучать особенности как литературного, так и фольклорного произведения, не зная того первоэлемента, из которого создаются эти произведения. Изучая ритмический строй, тропы, художественно обработанные общие места, наконец, композицию фольклорных произведений, нам необходимо знать различия, какие встречаются в языке фольклора — в отличие от языка, на котором творится фольклор, в его коммуникативной функции<sup>1</sup>.

В основе языка литературы лежит литературный язык, в основе языка фольклора лежит диалект. Язык литературы — это литературный язык в его эстетической функции, язык фольклора — это диалект в его эстетической функции. Анализ литературного языка в его эстетической функции невозможен, если мы не знаем литературного языка в его коммуникативной функции, как невозможно выявить специфику языка фольклорного произведения того или иного жанра, не зная диалекта, на котором исполняется это произведение, диалекта в его коммуникативной функции. Диалектологи не раз отмечали ошибки, которые делались при анализе художественных средств языка. Эти ошибки часто объяснялись тем, что исследователи принимали отдельные формы, слова и синтаксические формы за специфические черты только фольклорных произведений, в то время как все эти черты были широко распространены в диалекте, в разговорной речи и отнюдь не только в фольклорных произведениях: в песне, сказке и т. п.

С другой стороны, диалектологи уже давно отмечали, что язык фольклора значительно отличается от диалекта в его коммуникативной функции. Поэтому при своих записях диалектологи обычно отмечали, что та или иная форма, то или иное слово, синтаксический оборот и т. п. были зафиксированы в былинке, лирической песне, сказке, пословице и т. п., и тем самым подчеркивали, что эти формы могут и не встречаться в диалекте в его коммуникативной функции. И действительно, уже предварительная работа по сравнительному изучению языка фольклора и диалекта в его коммуникативной функции показывает значительное расхождение в фонетике, морфологии и синтаксисе языка фольклора и диалекта в его коммуникативной форме.

Необходимо указать, что такое сравнительное изучение языка фольклора и диалекта только начинается и, естественно, некоторые выводы яв-

<sup>1</sup> В этой статье мы различаем формы языка фольклора и формы языка диалекта в его коммуникативной функции. Иногда вслед за другими исследователями мы говорим о сравнении языка фольклора с разговорным языком, а иногда просто о сравнении языка фольклора с диалектом, понимая здесь под диалектом использование его не во всех функциях, а только в функции коммуникативной.

ляются предварительными, они требуют дальнейшей проверки и более углубленного изучения.

Уже вышедшие работы указывают на большое значение при изучении фольклора того или другого славянского народа привлечения материалов, добытых на основе фольклора другого славянского народа.

Мы наблюдаем известный разнობой в статьях, посвященных языку фольклора: в одних статьях анализируется язык всех народных песен в их жанровом разнообразии, в других — только язык эпических песен (былин), наконец, отдельные работы рассматривают язык в разнообразных жанрах фольклора. Разнობой проявляется и в другом: в одних статьях большее внимание отводится фонетике, в других — синтаксису, одни статьи подробно рассматривают вопрос о том, как изменяется форма разговорного языка, подчиняясь ритму и рифмам песни, другие подробно рассматривают изменение языка под влиянием литературного языка и т. п. И все же, несмотря на указанный разнობой, мы считаем необходимым сопоставить общие, хотя, может быть, и предварительные выводы о различиях языка фольклора и разговорного языка, сделанные на материале различных славянских песен.

Славянские песни настолько близки между собой, что отдельные отличия, например, языка болгарской песни от диалектов в их коммуникативной функции совпадают с подобными же отличиями языка словацкой и русской песни от диалектов, на которых они исполняются. Отдельные вопросы, которые трудно уяснить при анализе фольклора одного из славянских народов в сравнении с диалектом в его коммуникативной функции, уясняются в том случае, если мы привлекаем тождественные или сходные различия фольклора и диалекта у других славянских народов. Так, Л. Андрейчин при анализе языка болгарской песни<sup>2</sup> и И. А. Оссовецкий при изучении языка русского фольклора<sup>3</sup> свои выводы строят на основании наблюдений над песнями из разных мест с болгарским и русским населением. Работы Е. Б. Артеменко<sup>4</sup> построены на сравнительном анализе языка русских песен из разных мест России и русских диалектов в их коммуникативной функции. Статья И. К. Зайцевой<sup>5</sup> построена на сопоставлении языка песен различных мест Воронежской области с говорами этих же мест.

Особого внимания заслуживает методика исследования словацкого ученого Яна Оравца, который устанавливает отличительные черты диалекта своего родного села Розбеги в Синицком округе с песнями этого же села<sup>6</sup>. Сравнение это он ведет, с одной стороны, на основании материала, собранного им в монографии, посвященной описанию диалекта села Розбеги,

<sup>2</sup> Л. Андрейчин, Основные черты в языке и стиле на народната песен, сб. «Българско народно творчество», София, 1950.

<sup>3</sup> И. А. Оссовецкий, Об изучении языка русского фольклора, ВЯ, 1952, 3; е го же, Стилистические функции некоторых суффиксов имен существительных в русской народной лирической песне, «Труды Ин-та языкознания АН СССР», VII, М., 1957; е го же, Язык фольклора и диалект, сб. «Основные проблемы эпоса восточных славян», М., 1958.

<sup>4</sup> Е. Б. Артеменко, Синтаксические функции полных и кратких прилагательных в русской народной лирической песне (рукопись; см. автореферат под тем же заглавием — Воронеж, 1958); е е же, К вопросу об атрибутивном употреблении кратких прилагательных в русской народной лирической песне, «Труды Воронежск. гос. ун-та», LX, Сб. ист.-филол. фак-та, 1957; е е же, К вопросу об употреблении архаизмов в языке русского фольклора, «Славянский сборник», II — филологический, Воронеж, 1958.

<sup>5</sup> И. К. Зайцева, Словарные диалектизмы в языке русской народной песни Воронежской области, «Славянский сборник», II.

<sup>6</sup> J. Oravec, Reč ľudových písní a nárečová norma, «Jazykovedné štúdie», II — Dialektológia, Bratislava, 1957.

с другой стороны, на основании собранного им же сборника народных песен села Розбеги. Сборник состоит из 534 песен, и, по утверждению Яна Оравца, эти 534 песни, пожалуй, исчерпывают репертуар песен села Розбеги. Подробное описание диалекта в его коммуникативной функции и исчерпывающие сведения о песенном репертуаре данного села позволяют Яну Оравцу сделать надежные выводы. При этом не следует забывать все же и того, как это отмечает Ян Оравец, что песенный язык имеет свои специфические черты, которые не всегда можно объяснить только на основе даже весьма подробного описания диалекта в его коммуникативной функции. Нельзя также забывать, что язык песен отражает не только язык того периода, когда песня была записана, но и язык диалекта данной местности в прошлые времена, иногда очень далекие; кроме того, в репертуар песни данной местности входят и песни, заимствованные из других мест, которые содержат свои диалектные особенности.

Язык фольклора в отличие от языка в его коммуникативной функции, точно так же, как и язык литературы в отличие от литературного языка, иногда имеет более узкий запас языковых средств, а именно, в него не входят отдельные фонетические, морфологические, лексические и синтаксические формы, которые входят в диалект в его коммуникативной функции. Но, с другой стороны, язык песен значительно богаче, чем разговорный язык диалекта. В язык песен входят архаизмы, уже отсутствующие в разговорном языке, входят отдельные черты из других диалектов, не свойственные разговорному языку, но употребляющиеся в песне. Лингвистический запас, которым располагает песня, во многом значительно больше, чем лингвистический запас разговорного языка, и творцы и исполнители фольклора свободнее пользуются лингвистическим материалом по сравнению с языком разговорным. И действительно, если рифма или ритм песни этого требуют, то исполнитель и создатель песни может ввести форму или слово из другого диалекта, может ввести архаизмы и т. п.

Изучение языка фольклора сравнительно с разговорной речью диалекта встречается с большими затруднениями из-за неточности записи фольклорных текстов<sup>7</sup>. Однако записи песен, даже неточные в фонетическом отношении, все же обычно сохраняют точную фиксацию и суффиксов, и лексики. Ведь и применительно к литературному языку было бы трудно изменять суффиксы, так как этим легко можно было бы нарушить ритмическую структуру песни.

Другое дело отражение в фольклорных записях фонетической стороны песни. Здесь придется признать, что большая часть сборников не представляет вполне доброкачественный материал. Приходится с сожалением констатировать, что как раз записи последнего времени стали значительно менее точными, чем записи, производимые в начале XX в. — например, записи фольклорных произведений Григорьева, Ончукова, братьев Соколовых, не говоря уже о записях лингвистов — А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново и др. Несомненно, на неточность записи фольклорных произведений влияет тот факт, что точные записи трудны для публикации и обычно при публикации теряют свою точность; особенно это следует сказать о периферийных издательствах, где прямо калечат фольклорный текст. Если подобный искаженный текст может дать известный материал для анализа содержания фольклорных произведений, то для анализа художественных средств фольклора такой материал мало пригоден. Многие издательства, боясь того, что их издание будет недостаточно популярно, массово, отказываются печатать точную запись фольклора. Задачи научного издания сме-

<sup>7</sup> И. А. Оссоветский, *Стилистические функции некоторых суффиксов имен существительных в русской народной лирической песне*, стр. 466—467.

шиваются с задачами популяризации фольклора, при этом основными часто считаются издания для детей. Никто не будет возражать против того, что издательству для детей нельзя печатать фольклорные тексты в фонетической транскрипции. Это могло бы содействовать понижению грамотности. Но, с другой стороны, нельзя по изданию, рассчитанному для детей, анализировать художественную форму фольклора.

В частности, в фольклорных записях очень редко отмечалась йотация гласных в песенном тексте <sup>8</sup>.

Широко встречается при пении вставка гласных в группу согласных. Встает вопрос, объясняется ли этот факт только стремлением оканчивать каждый слог гласным звуком или иногда такая вставка объясняется стремлением эмоционально окрасить отдельные слова. В этом отношении следует изучить эмоциональное исполнение русских песен цыганами, где очень распространены вставки гласных в группы согласных <sup>9</sup>.

Ян Оравец отмечает, что в песнях села Розбеги мы встречаем вставные гласные в тех положениях, в которых диалект (в коммуникативной функции) их не знает. Например: «*Príde veter, tuhí veter, veter žitko vimláci...*». А при разговоре только: *vetr, metr, litr, Petr, kmotr*<sup>10</sup>. Говоря о признаках, которыми художественный стиль отличается от стиля диалекта в его коммуникативной функции, Ян Оравец пишет: «Речь идет о стирании фонетических и морфологических признаков, тех признаков, которые не имеют соседние диалекты. Такое отнесение устных диалектных элементов и приспособление данного наречия к окрестным диалектам мы могли бы, согласно современным взглядам, назвать созданием интердиалекта»<sup>11</sup>.

В фольклоре, особенно в песенном фольклоре, мы редко встречаем использование фонетических особенностей говора как одного из приемов речевой характеристики. Не то в литературе и особенно в драматургии. Здесь при исполнении пьес из деревенской жизни, а также при исполнении ролей лиц духовного звания артисты очень часто используют оканье или «г» фрикативное в целях речевой характеристики отдельных ролей. В фольклоре фонетические особенности как средства речевой характеристики мы встречаем довольно часто в сказках, в первую очередь в сказках юмористических и сатирических при речевой характеристике представителей других народов: немца, еврея, украинца и т. п. Подобные речевые характеристики часто встречаются также в народной драме.

Морфология народной песни в большей степени отличается от морфологии диалекта в его коммуникативной функции, чем фонетика народной песни от фонетики разговорной формы диалекта. При анализе болгарской песни Л. Андрейчин указывает, что болгарская песня удерживает старые формы, так как замена старой формы новыми повела бы к нарушению ритма. В качестве примера он приводит восьмисложный стих: «Радка майцы си думаше». Если бы певец вместо старой формы образования падежа при помощи суффикса употребил нынешнюю форму дательного падежа, образованную при помощи предлога, то мы получили бы вместо восьмисложного девятисложный стих, т. е. «Радка на майка си думаше»<sup>12</sup>.

Таким образом, древние морфологические черты становятся специфическими песенными чертами.

<sup>8</sup> Об этой фонетической черте языка песен см.: П. Г. Богатырев, О языке славянских народных песен в его отношении к диалектной речи, ВЯ, 1962, 3.

<sup>9</sup> Об этом явлении см.: П. Г. Богатырев, Добавочные гласные в народной песне и их функции (О языке славянских народных песен и его отношении к разговорной речи), «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. София, сентябрь, 1963», М., 1963.

<sup>10</sup> J. O r a v e c, указ. соч., стр. 78.

<sup>11</sup> Там же, стр. 76.

<sup>12</sup> Л. А н д р е й ч и н, указ. соч., стр. 242.

Иногда прежние падежные формы осмысляются по-новому, например, винительный падеж как именительный:

Хай да идем на сватбата,  
че се жени мила брата<sup>13</sup>

Характерной чертой языка болгарских песен является употребление в них существительных и прилагательных без постпозитивного члена. Так в песне поется: «Я си залюлей *най-малко* братче», тогда как в разговорной речи должно бы было быть: «Я си залюлей *най-малкото* братче». Или в песне: «Стоян през *гора* вървеше» вместо разговорного: «Стоян през *гората* вървеше».

Л. Андрейчин указывает, что и после того, как в разговорной речи установилась форма с постпозитивным членом, в песне в прилагательных и существительных оставалась нечленная форма. Эта форма употреблялась как особая поэтическая вольность, как особое средство в песенной поэтике. В песнях мы встречаем и форму без постпозитивного члена, и форму с постпозитивным членом, например:

Дайте сито и ситно и решето,  
да пресеем *юнакови* двори,  
да питаме *юнакова* майка  
играе ли *юнаково* сърце...

А рядом встречаем:

Дайте сито и ситно решето,  
да пресеем *момините* двори,  
Да питаме *момината* майка  
играе ли *моминото* сърце...<sup>14</sup>.

Архаизмом, сохранившемся только в языке песни, Л. Андрейчин считает смешение в песне различных форм прошедшего времени<sup>15</sup>.

В песне мы встречаем такое смешение глагольных форм прошедшего времени:

Най-подир *дошла* (преизк.!) Грозданка,  
сама я мама *залюля* (прямо изк.!).  
Като *седнала* (преизк.!) на люлка,  
тъмни се мъгли *спуснали* (преизк.!).  
и люлки са се вдигнали.  
Като се люлки *вдигаха* (прямо изк.!),  
майка ѝ плаче нарежда...

Или:

И Борянка я *послуша*,  
че зе Борянка Стояна,  
*вела го и венчали се*.  
Води я една година,  
добила ѝ мъжко детенце.  
Стоян Борянки *думаше*...<sup>16</sup>

Употребление форм прошедшего времени, как-то: *залюля*, *вдигнаха*, *послуша*, *взе* и прочих рядом с такими формами, как: *дошла*, *седнала*, *спу-*

<sup>13</sup> Там же, стр. 243.

<sup>14</sup> Там же, стр. 244.

<sup>15</sup> См.: «Основна българските граматика», София, 1944, стр. 263—299.

<sup>16</sup> Л. Андрейчин, указ. соч., стр. 245.

снами, везла, венчали, в современном болгарском языке не допускается, в песне же мы это встречаем.

Изредка в народной болгарской песне встречается давняя форма инфинитива, отсутствующая в современном болгарском языке. Например:

Венчай, куме, немой *водиишати*,  
благославяй, немой люто *клети*.

Или:

Не бой ми се, вакло ягне,  
я чем тебе *одоити*  
*одоити, очувати*.

Или:

Да хвърляме с дърве и камене,  
може *бити* арапи *убити*<sup>17</sup>.

Ян Оравец отмечает также особые падежные формы имен существительных в словацкой песне, отличающиеся от тех же падежных форм в разговорной речи диалекта. Так, литературный вокатив существительного женского рода по форме тождествен с номинативом. Примеры:

*Anička milá, Janko t'a volá.*  
*Neplač, Kačka, Katerinka, bude sinek lebo córka.*  
*Keď kraj sveta prejdeš, svoj vínek nenajdeš,*  
*Katerinkal*

В песне встречаются имена существительные мужского рода на -о (*šuhajko, Janko, Janenko* и т. д.), которых в разговорной речи в этом диалекте нет (здесь мы встречаем только формы *šuhajek, Janek, Janiček* и т. д.).

Например:

*V tem rozbeském rokit'i, leží Janko zabití.*  
*Añi tebo moj šuhajko, nedám, lebo t'a ja ešte dobre*  
*neznám... 18.*

В русском литературном языке и в большинстве русских говоров отмечается инфинитив на -ть, однако в языке фольклора широко распространены формы на -ти, уже вышедшие из употребления как в литературном языке, так и в говорах. В языке фольклора встречаются и другие архаичные факты морфологии, например, формы на -и творительного падежа множественного числа существительных мужского рода, формы давнопрошедшего времени глаголов и др.<sup>19</sup>

В русском литературном языке и в большинстве диалектов отмечается инфинитив на -ть. Однако в фольклоре широко распространены формы инфинитива на -ти, давно вышедшие из употребления в большинстве русских говоров. Формы эти в фольклорных текстах производят впечатление актуальной живой нормы, хотя с точки зрения языка как фонетико-

<sup>17</sup> Там же, стр. 246—247.

<sup>18</sup> J. O g a v e s, указ. соч., стр. 77—78.

<sup>19</sup> И. А. О с с о в е ц к и й, Язык фольклора и диалект, стр. 181—182.

грамматической системы эти формы — архаизм:

Говорит-то Вольга таковы слова:  
 «Божья помочь тебе, оратай-оратаюшко!  
 Орать, да пахать, да крестьяновати,  
 А бороздки тебе да помётывати,  
 А пеня кореня вывертывати,  
 А большие-то каменя в борозду валить!»

(Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом, т. II, 2-е изд., СПб., 1896, стр. 518).

В говоре сказителя представлены инфинитивы на *-ть* (ср., *орать, пахать*), но для сказывания былин в его распоряжении имеются две равноправные формы, которыми он пользуется одинаково свободно, руководствуясь лишь требованиями ритма.

Ср. еще:

Оны сели есть да пить да хлеба кушати,  
 Хлеба кушати до пообедати.

(Там же, стр. 15).

«Отличия в морфологии, — говорит И. А. Осовецкий, — состоят главным образом в том, что в фольклоре удерживаются формы, вышедшие из употребления в обычной разговорной речи. Можно сказать, что морфология фольклора архаичнее морфологии разговорной речи»<sup>20</sup>.

В своем докладе на IV Международном съезде славистов я указывал, что «сравнительное изучение языка различных жанров народной словесности одного и того же народа является одним из способов установления времени происхождения отдельных жанров фольклора, помогает установить в народной поэзии более древние и более новые жанровые формации»<sup>21</sup>. Действительно, Л. Андрейчин устанавливает, что архаизмы в языке болгарской обрядовой песни и в юнацкой песне встречаются чаще, чем в песне гайдуцкой, являющейся более новой формацией в развитии болгарской народной песни<sup>22</sup>. Полагаем, что изучение языка былин и, в частности встречающихся там архаизмов сравнительно с языком исторических песен подкрепит положение о русских исторических песнях как о более новой песенной формации по сравнению с былинами. Подобная же работа по сравнению языка украинских дум с языком украинских исторических песен будет полезна для определения исторических украинских песен как песен более новой формации. Отметим, что архаизмы в языке песен мы встречаем главным образом не в области фонетики, а в области морфологии, синтаксиса и лексики.

В своей статье Л. Андрейчин отводит значительное место описанию синтаксиса в народной болгарской песне. Синтаксис народных болгарских песен отличается прежде всего своей простотой. Л. Андрейчин приводит пример песни с бессоюзными предложениями с сочинительными отношениями:

Жътва са зажъна, мома са разболя  
 Жътва са дожъна, седенки са кладат,  
 седенки са кладат, мома са привдигна,

<sup>20</sup> Там же, стр. 181.

<sup>21</sup> П. Г. Богатырев, Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов, М., 1958, стр. 20.

<sup>22</sup> Л. Андрейчин, указ. соч., стр. 247.

мома са привдигна, на хоро отиде;  
 към нива погледна, проса са жълтеят,  
 мома са повърна, на майка си дума:  
 «Мамо, мила мамо, постилай, настилай,  
 пак ма повърнаха лятошните трески!»  
 Просо са дожъна, мома са привдигна <sup>23</sup>.

Такое синтаксическое построение встречается в русской обрядовой лирической песне и в русском былевом эпосе.

Л. Андрейчин приводит примеры повторения в болгарской народной песне одного и того же соединительного союза:

Върла го дремка одрема,  
*та* легна Стоян, *та* заспа:  
*та* му е стадо бегало.

Или:

Мама му зела китка ключове  
*че* си отиде в долни земници,  
*че* си отключи маджар сандъци,  
*че* си извади витите гривни,  
 витите гривни, злати обеци.  
*Че* ги занесъл Стоян керванджи,  
*че* ги занесъл на куенджия,  
*че* си направил на биволите—  
 на рогата им сребърни халки,  
 на хомота им сребърни жегли  
 и си направил сребърна свирка.  
*Че* си упрегнал руси биволи,  
*че* си отиде керван да стига,  
 керван да стига, керван да води.  
*Че* си премина село Крушово;  
 като вървеше, свирка свиреше.  
*Че* са излезли моми крушовки... <sup>24</sup>.

Повторение одного и того же соединительного союза не всегда можно рассматривать как одно из художественных средств народной, в данном случае болгарской, песни.

Определение специфики языка песни возможно только после сравнения той или другой черты песни с разговорным языком той местности, где эта песня исполняется. Однако следует учитывать, что отдельные черты разговорного языка в песне становятся системой, отличной от той системы, в которой встречаются эти черты в разговорном языке.

Характерной особенностью синтаксиса народных болгарских песен, как это отмечает Л. Андрейчин, является гармоническое соответствие между синтаксической и ритмической единицей.

Необходимо подвергнуть тщательному анализу синтаксический параллелизм в его разнообразных формах и видах у различных славянских народов. Разберем один из видов синтаксического параллелизма. Одина-

<sup>23</sup> Там же, стр. 247.

<sup>24</sup> Там же, стр. 247—248.

ково синтаксически построенная фраза повторяется три раза:

Первый сторож — тесть мой батюшка,  
 Другой сторож — теща матушка,  
 Третий сторож — молода жена.

Дальше фраза синтаксически видоизменяется, но опять повторяются в каждой синтаксически параллельно построенной фразе те же самые слова, из которых некоторые, как *тесть-батюшка*, *теща-матушка* и *молодая жена*, встречаются уже в первой части песни, построенной по приему синтаксического параллелизма.

Ты убей-ка громом тестя батюшку,  
 Молодой ты сожги тещу матушку,  
 Лишь не бей, ты не бей молодой жены <sup>25</sup>.

В другой песне повторяется в начале несколько одинаковых слов:

Как на этой на долине,  
 Как на этой на широкой...

Особый вид синтаксического параллелизма строится путем раздробления одной фразы на две, построенные по типу синтаксического параллелизма. Например:

Как за лесом, за лесочком,  
 Как за темным, за зеленым... <sup>26</sup>.

Синтаксический параллелизм, т. е. расположение в двух параллельных предложениях одинаковых членов предложения в одинаковом порядке, усложняется другими разнообразными стилистическими средствами, как-то: повторением одних и тех же слов, использованием синонимов и т. п. Все это усиливает силу художественного воздействия и даже меняет обычное значение слов.

Одной из ближайших задач является изучение всех разнообразных стилистических средств, которыми дополняется синтаксический параллелизм. Отметим, что синтаксический параллелизм встречается в различных жанрах и видах фольклора.

Иногда синтаксический параллелизм соединяется с психологическим. Мы рассматриваем психологический параллелизм как одну из разновидностей синтаксического параллелизма. Однако психологический параллелизм может существовать и без синтаксического параллелизма; в свою очередь, мы встречаем много примеров синтаксического параллелизма, не связанного с психологическим параллелизмом. Психологический параллелизм в соединении с синтаксическим параллелизмом является одним из ярких художественных средств народной песни. Однако оба эти художественные приема отнюдь не вытекают один из другого. Мы считаем ценным замечание Л. Андрейчина, что синтаксический параллелизм соединяется с ритмическим параллелизмом, т. е. синтаксическое строение совпадает со строением ритмическим.

Необходимо подчеркнуть, что художественная сила воздействия песни умножается не только связью композиции с синтаксическим параллелизмом, но также и сходством мелодии, на которую поются параллельно син-

<sup>25</sup> «Песни, собранные писателями. Материалы из архива П. В. Киреевского», «Литературное наследство», М., 1968, стр. 304 (запись А. В. Кольцова).

<sup>26</sup> Там же, стр. 328.

таксически построенные фразы и одинаково построенные комплексы нескольких фраз.

«По принципу психологического параллелизма построены многие запевы былин, однако в эпосе принцип психологического параллелизма не встречается в качестве основного композиционного приема»<sup>27</sup>. Если психологический параллелизм мы не можем рассматривать как основной композиционный прием былин, то синтаксический параллелизм встречается довольно часто в построении отдельных мест былин. Несомненно, одной из очередных задач является изучение различных видов синтаксического параллелизма в русских былинах. Особого внимания заслуживает изучение синтаксического параллелизма в Калевале, где он проявлен как определенная система художественного построения эпических песен. Предстоит также внимательное рассмотрение синтаксического параллелизма в эпических песнях других народов.

Одинаковость синтаксиса фольклорных произведений, что особенно относится к стихотворным жанрам, наряду с общностью троп, с общностью ритмической структуры и общностью многих мелодий, на которых распевались песни, — все это объединяло язык фольклора, исполняемого на различных диалектах различных мест, населенных русским населением. Общность синтаксиса песенных фольклорных жанров позволяла им до образования общенационального русского языка выполнять ту функцию, которую впоследствии стал выполнять общенациональный язык.

Следует отметить, что не только в песенных, но и в прозаических жанрах фольклора имеются синтаксические явления, которые характерны только для фольклора. Такие явления отмечаются в ритмически организованных отдельных местах сказок, в так называемых общих местах (*loci communes*), в частности, в притомке, зачинах и концовках сказок. Кроме того, синтаксический параллелизм встречается и в пословицах, загадках, заговорных формулах и в народной драме. Исследователям предстоит внимательно изучить и другие черты синтаксиса, встречающиеся в прозаических фольклорных произведениях и не встречающиеся в разговорном языке.

Трудность изучения лексики русского фольклора по сравнению с разговорной речью состоит в том, что как лексика разговорной речи, так и, в особенности, лексика фольклора плохо изучена и у других славянских народов. В упомянутой статье Л. Андрейчин пишет: «Словарь нашего народного творчества требует того, чтобы он прежде всего был обстоятельно исследован. В настоящее время еще нет возможности охарактеризовать его сколько-нибудь подробно. Однако при внимательном рассмотрении легко можно установить, что в народных песнях нередко встречаются слова, которые не употребляются в разговорном языке, а также слова, которые в песнях употребляются в особом значении»<sup>28</sup>.

Важную роль в лексике народных песен играют часто встречаемые уменьшительно-ласкательные существительные, которые широко используются для выражения эмоций народа и придают особенно сердечный и безыскусственный тон всей песне в целом. Уменьшительно-ласкательные слова являются характерной чертой фольклорного, в первую очередь, песенного языка всех славянских народов. Однако у каждого славянского народа уменьшительно-ласкательные слова встречаются в разных пропорциях: у одних больше, у других меньше.

Нам кажется, что при изучении вопроса о большей или меньшей степени употребления уменьшительно-ласкательных слов в народной песне и

<sup>27</sup> И. А. Оссоветский *Язык фольклора и диалект*, стр. 183.

<sup>28</sup> Л. Андрейчин, *указ. соч.*, стр. 238—239.

их художественной функции в этих песнях необходимо учитывать, в какой мере эти уменьшительно-ласкательные слова употребляются в разговорной речи того или другого народа. И, конечно, в первую очередь, в какой мере употребляются уменьшительно-ласкательные слова того диалекта, на котором поется песня, в коммуникативной функции этого диалекта. Следует также учитывать, что уменьшительно-ласкательные слова часто употребляются в экспрессивной речи, не имеющей художественной функции. Сюда следует отнести, в частности, разговорную речь с детьми.

В русской народной песне уменьшительно-ласкательные слова в различной пропорции употребляются в различных жанрах. В эпической песне уменьшительно-ласкательные слова употребляются в меньшем количестве, чем в песне лирической. Кроме того, в русской эпической песне, в частности в былинах, уменьшительно-ласкательные слова употребляются только в отдельных ее местах.

Тот факт, что русские поэты, подражавшие русской народной песне, особо отмечали уменьшительно-ласкательные слова и переносили их в свои песни часто в большем количестве, чем они встречаются в подлинно народной песне, нам кажется, объясняется тем, что в литературном языке уменьшительно-ласкательные слова встречаются в значительно меньшей мере, чем в диалектах, а отсюда на фоне литературного языка поэтов, говоривших, как и их читатели, на литературном языке, а не на диалектах, эта черта — уменьшительно-ласкательные слова — особенно обращала на себя внимание при исполнении литературной песни, написанной в подражание народной, в то время как для исполнителей этой песни, говоривших на диалекте, где уменьшительно-ласкательные слова часто употребляются и в разговорной речи, это различие не было особенно резким. Естественно, что русские поэты, говорившие на литературном языке, а не на диалекте, которых сильно поражало обилие уменьшительно-ласкательных слов в русских песнях, в первую очередь вставляли в свои песни, подражающие народным песням, уменьшительно-ласкательные слова и при этом увеличивали количество этих уменьшительно-ласкательных слов.

Подготовил к печати *И. А. Оссоветский*

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

В. В. ЛОПАТИН

СБОРНИКИ ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЮ  
ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

В период с 1960 по 1969 гг. сектором исторической грамматики и лексикологии Института русского языка АН СССР были выпущены пять сборников: «Материалы и исследования по истории русского языка», М., 1960 (далее — № 1); «Историческая грамматика и лексикология русского языка», М., 1962 (далее — № 2); «Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка», М., 1964 (далее — № 3); «Лексикология и словообразование древнерусского языка», М., 1966 (далее — № 4); «Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка», М., 1969 (далее — № 5).

В первых двух из перечисленных сборников значительное место занимают статьи и исследования, посвященные проблемам исторической грамматики, фонетики и древнерусской палеографии; начиная с третьего сборника, проблематика строго ограничивается лексикологией и словообразованием древнерусского языка. Такое сужение тематики сборников связано с тем, что ядром их авторского коллектива становятся составители Словаря древнерусского языка XI—XIV вв., подготовляемого в Институте русского языка АН СССР (возглавляет эту работу член-корр. АН СССР Р. И. Аванесов, являющийся и ответственным редактором всех указанных сборников). В настоящее время находятся в печати еще два сборника. Большинство статей основано на материалах Картотеки указанного словаря, являющейся уникальным источником сведений по русской исторической лексикологии. Однако во многих статьях используется и материал памятников, не вошедших в круг источников словаря.

В данном обзоре, в соответствии с определенной направленностью проблематики сборников, три последние издания сборника берутся в полном объеме, а из первых двух рассматриваются лишь те статьи, которые посвящены исторической лексикологии и словообразованию. Всего нашим обзором охватывается более 50 статей 25 авторов. Вне обзора оказывается ряд работ иной проблематики — работы Т. А. Сумниковой, А. И. Толкачева, Л. П. Жуковской, С. В. Бромлей, Л. Н. Карягиной и других авторов. Сами по себе это интересные исследования, заслуживающие специального рассмотрения.

Значительное место в рассматриваемых сборниках занимают работы, связанные с проблемой соотношения церковнославянских и русских элементов в языке восточнославянских памятников письменности. Злободневность этой актуальной проблемы в настоящее время возросла в связи с дискуссией по вопросам истории русско-

го литературного языка, вызванной работами Б. О. Унбегауна<sup>1</sup>. Особую важность приобретают исследования, направленные на изучение роли и места церковнославянских элементов в языке памятников разных жанров. В рецензируемых сборниках данной проблеме посвящены статьи Г. И. Белозерцева «Соотношение глагольных образований с приставками *вы-* и *из-* выделительного значения в древнерусских памятниках XI—XIV вв.» (№ 3) и «О соотношении элементов книжного и народного языка в памятниках XV—XVII вв.» (№ 4), статьи И. С. Улуханова «Предлоги *предъ — передъ* в русском языке XI—XVII вв.» (№ 3) и «Славянизмы и народно-разговорные слова в памятниках древнерусского языка XI—XIV вв. (глаголы с приставками *пре-*, *пере-* и *предъ-*)» (№ 5), а также имеющая более узкое значение статья О. Г. Пороховой «Взаимодействие русской и старославянской (по происхождению) лексики в русском письменном языке XVII в. (на материале Сибирских летописей)» (№ 2).

Если в работах И. С. Улуханова и О. Г. Пороховой рассматриваются славянизмы с формальными приметами (слова с неполногласием, *жд*, *щ*, причастия на *-ций* и др.), то в работах Г. И. Белозерцева и отчасти некоторых других авторов исследуются славянизмы, лишенные формальных примет, и это создает дополнительные трудности; в частности, «искомым» становится не только функция изучаемых элементов в древнерусских памятниках, но и самый их генезис (церковнославянское происхождение). Именно так обстоит дело с глагольным префиксом *из-* выделительного значения. Г. И. Белозерцев, избравший этот префикс объектом всестороннего монографического исследования, справедливо настаивает на необходимости параллельного изучения образований с синонимичным префиксом *вы-* (исконно русский характер последнего подтверждается почти полным отсутствием его в старославянских текстах) и наблюдений над характером взаимодействия обоих префиксов в различных аспектах: лексикологическом, семантическом, стилистическом, статистическом (см. № 3, стр. 166).

В статьях Г. И. Белозерцева дается тщательный и последовательный анализ лексем с обоими префиксами в древнерусских памятниках разных эпох, выполненный с учетом характерных для каждого слова лексических (и лексико-фразеологических) окружений, синтаксических связей, стилистических особенностей контекста, определяемых в каждом конкретном случае как жанром памятника в целом, так и жанрово-стилистической принадлежностью и содержанием отдельных кусков изучаемых текстов (известно, что многие памятники в жанрово-стилистическом и содержательном отношениях чрезвычайно неоднородны).

Привлекает вывод Г. И. Белозерцева о большей продуктивности и большем разнообразии словообразовательных потенциалов исконно русского префикса *вы-* по сравнению с синонимичным книжным префиксом *из-* (несмотря на то, что последний в целом более употребителен). Как показывает автор, словообразовательная модель с префиксом *из-*, охватывающая слова книжного языка, ограниченного по преимуществу церковно-богословской тематикой, отличается большей замкнутостью, ограниченностью набора лексем. «Привлечение новых, даже крупных по объему церковно-догматических произведений почти ничего не прибавляет к этому набору, увеличивая лишь общий индекс употребительности лексем». Что же касается префикса *вы-*, то этот ряд образований «отличается гораздо большей „протяженностью“ и разнообразием в составе лексем, характерными для динамичного живого языка». В нем многочисленны лексемы,

<sup>1</sup> Об этой дискуссии см.: Л. П. Ж у к о в с к а я, О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода, ВЯ, 1972, 5.

используемые для обозначения действий, наиболее «специализированных» по своему характеру: *вымчати, выпороти, выпроводити, вырискати* и т. п. (см. № 4, стр. 70—71). Автор подчеркивает также, что частое использование книжных глаголов с префиксом *из-* в шаблонных сочетаниях и стандартных ситуациях ведет к их определенной десемантизации, на фоне которой «восходящие к живому языку лексемы с приставкой *вы-*, встречающиеся почти исключительно в свободных сочетаниях, характеризуются... большей информационной способностью» (там же, стр. 71—72). В этих условиях вряд ли можно говорить о господстве на данном участке древнерусской глагольной словообразовательной системы книжнославянского элемента *из-*; к тому же надо учесть и явное преобладание префикса *вы-* выделительного значения в ряде памятников («Задонщина», «Хождение» Афанасия Никитина, сочинения Пересветова, Аввакума, светские повести XVII в. и др.).

Статьи И. С. Улуханова сходны с работами Г. И. Белозерцева как по проблематике, так и по методике анализа. И здесь на большом материале памятников разных жанров выясняются нормы использования славянизмов и русизмов в отдельных разновидностях древнерусского литературного языка, причем учитывается каждый случай употребления каждого слова во всех использованных памятниках. Это дает возможность показать устоявшиеся традиции употребления слова, ограничить явления индивидуальные от явлений, закрепившихся в системе разновидностей древнерусского языка, выявить сферы распространения славянизма и русского слова, установить наиболее типичные ситуации, для изображения которых применяется славянизм или русизм, и типичные словосочетания с ними. Учет разной степени освоенности славянизмов в составе лексики древнерусских памятников помогает с большей долей объективности исследовать факторы (различные для отдельных разновидностей языка и для разных эпох), влияющие на выбор славянизма или синонимичного ему русизма в конкретных произведениях. В статьях Г. И. Белозерцева и И. С. Улуханова широко используются количественные характеристики, что позволяет показать соотношение славянизмов и русизмов в конкретных памятниках и классифицировать памятники с этой точки зрения.

Работы обоих авторов представляют собой существенный вклад в изучение проблемы соотношения книжнославянских и русских элементов в литературном языке древней Руси, хотя в силу своей неизбежной узкоконкретной направленности они являются лишь небольшим фрагментом исследования всей огромной проблемы, требующей еще немалых усилий многих специалистов.

Проблема взаимодействия книжнославянских и русских элементов не ограничивается в рассматриваемых сборниках указанными статьями, специально посвященными этой проблеме, а затрагивается и в ряде других статей. В статье Н. П. Зверковской «Параллельное образование прилагательных с суффиксами *-ьн-* и *-ьск-* в древнерусском языке» (№ 3) подчеркивается неустойчивость в языке изучаемых памятников суффикса *-ьск-* в образованиях от нарицательных основ со значением места (*страньскыи, южьскыи* и *ужьскыи, польскыи* «полевой» и т. п.), причем такое употребление данного суффикса квалифицируется автором как более характерное для церковнославянской традиции. Г. Н. Лукина в статье «Антонимические прилагательные в памятниках древнерусского языка (XI—XVII вв.)» (№ 2) показывает, как прилагательные *тяжельди* и *жестькыи*, являющиеся поздними исконно русскими новообразованиями, со временем в значительной степени вытесняют в значениях физического качества (противоположных значениям «легкий» и «мягкий») однокоренные прилагательные *тяжькыи* и *жестокыи*, относящиеся, по наблюдениям автора, к книжно-

славянским элементам древнерусского словаря. Не случайно прилагательное *жесткий*, появившееся в древнерусских памятниках в XIII в., в период второго южнославянского влияния почти совсем исчезло из памятников и возобладало над прилагательным *жестокий* (в смысле «жесткий») лишь в русском литературном языке нового времени.

Интересны наблюдения Ю. С. Азарх в статье «Из истории именного словообразования (существительные женского рода на -ль)» (№ 4), показывающие широкое развитие в древнерусских памятниках с XV в. исконных, чуждых книжной традиции и восходящих главным образом к диалектной лексике существительных на -ль типа *тягль*, *опухоль*, принадлежащих к конкретной терминологической лексике (ср. более древний слой слов на -ль с первичным значением растений и их частей типа *прорасль*, преимущественно употребляющихся в переносном смысле и восходящих к церковнокнижной традиции). В другой статье того же автора — «Из истории именного словообразования (существительные на -ынь женского рода в русском языке)» (№ 5) подчеркивается принципиальное качественное (и, по-видимому, генетическое) различие исконно русских существительных с суффиксом -ынь (*теплынь*, *мокрынь* и т. п.) и церковнославянских слов на -ыня (-ыни), также производных от прилагательных (*святыни*, *гърдыни* и т. п.), независимость по образованию первых от вторых.

Наибольший по объему раздел сборников составляют словосочетания в области исследования. Тематика их разнообразна. Заметное место среди них занимают работы, связанные с анализом синонимических аффиксальных средств словообразования в древнерусских памятниках. Это и упомянутые работы Г. И. Белозерцева и И. С. Улуханова, и четыре статьи Н. П. Зверковской о взаимоотношениях суффиксов относительных прилагательных -ын-, -ск-, -ов-, -овьн- (№№ 2—5), и три статьи В. Н. Виноградовой о существительных и прилагательных с отрицательными приставками *без-* и *не-* (№№ 3—5). Соотношению синонимичных образований с разными суффиксами уделено большое внимание также в статье Н. В. Чурмаевой «Существительные с суффиксом -арь со значением действующего лица в древнерусском языке XI—XIV вв.» (№ 3) и И. В. Гореловой «Из истории отвлеченных существительных с суффиксом -ьб(а)» (№ 5).

Словосложению в древнерусских переводных памятниках посвящены статьи Л. В. Вялкиной «Сложные слова в древнерусском языке в их отношении к языку греческого оригинала (на материале Ефремовской кормчей)» (№ 3) и «Греческие параллели сложных слов в древнерусском языке XI—XIV вв.» (№ 4). В них дается тщательный сопоставительный анализ греческих и древнерусских сложений, основанный на богатом материале и свидетельствующий о значительной самостоятельности и самобытности русского словосложения, даже в переводных памятниках осуществлявшегося в ряде случаев независимо от греческого образца. Как показывает автор, калькирование было далеко не единственным способом передачи греческого оригинала и использовалось лишь в тех случаях, когда это не приводило к отступлениям от норм древнерусского словосложения, от привычного набора структурных типов древнерусских сложных слов. Об устойчивости традиций словосложения в древнерусском литературном языке говорят также факты передачи греческих простых слов русским сложным словом. Интересны и случаи передачи одного греческого слова с помощью разных словообразовательных средств (разные суффиксы и синонимичные корни в составе сложения, различный порядок компонентов). Что же касается раздела, посвященного описанию самих структурных типов древнерусских сложных слов, то здесь мы находим не столько словообразовательный анализ сложений, сколько морфемный, ограниченный аспектом типологии моделей морфемного строения слов; собственно сложения и аффик-

сальные производные от сложений разграничиваются непоследовательно; есть неточности и в части, посвященной семантическим отношениям между компонентами сложных слов.

Статья З. М. Плискевич «К истории агентивных имен существительных с основой на \*-а (\*-ja)» (№ 5) основана на богатом материале производных существительных общего и мужского рода — суффиксальных, бессуффиксных и сложных, собранных из различных памятников. В то же время приводимые в статье структурные схемы, или «формулы», представляющие, по мнению автора, «словообразовательную структуру» соответствующих производных слов (см. стр. 50), на деле представляют собой (как и в статьях Л. В. Вялкиной) лишь схемы морфемной структуры.

В статье И. С. Улуханова «Глаголы с приставкой *предъ-* в древнерусском языке XI—XVII вв.» (№ 4) исследуется видообразующая роль и значения этой приставки в старославянском и древнерусском языках. Автор устанавливает, что данная словообразовательная модель возникла в результате присоединения элемента *предъ* в наречном значении к статальным глаголам, соотносительным с ними каузативным и к глаголам движения. Ограниченность видообразующей роли приставки *предъ-* (присоединением ее перфективируются лишь каузативные глаголы и глаголы перемещения) автор объясняет отсутствием у нее значений, оказывающих влияние на характер протекания действия во времени. В статье, наряду со словообразовательным анализом, показываются семантические сдвиги, типичные для глаголов с префиксом *предъ-*. То же словообразовательное значение, что и у глаголов с префиксом *предъ-*, выражалось сочетаниями «*преже* + глагол», которые, как показывает Л. В. Вялкина в статье «О глагольных сочетаниях с *преже* в древнерусском языке XI—XVI вв.» (№ 3), лишь частично подвергались лексикализации.

Статья Д. Н. Шмелева «К вопросу о наречиях на -ь в русском языке» (№ 1) посвящена опровержению довольно распространенного мнения, согласно которому наречия с префиксом и именной основой типа *встарь*, *впрямь*, *впроголодь*, *оземь*, др.-русск., *въроучь*, *безмъздь*, *посторонь* и т. п. исторически являются сочетанием предлога с формой косвенного падежа существительного с основой на -й- (-ь), нередко в памятниках не засвидетельствованного. Автор справедливо отстаивает возможность непосредственного образования подобных наречий по регулярным словообразовательным моделям от именных основ, а также в результате разного рода структурно-аналогических преобразований (например, *въявь* вместо древнейшего *въявѣ*). Работа эта имеет принципиальное значение, поскольку акцентирует наличие в системе словообразования наречий (в разные эпохи) «морфологических», а не только «морфолого-синтаксических» средств. Вызывает возражение лишь мысль о возможном вторичном характере бессуффиксных существительных типа *явь*, *высь*, *глубь*, возникших, по мнению автора, на основе наречных образований типа *въявь*, *въглубь*.

Т. Г. Винокур в статье «О семантике отглагольных существительных на -ние, -тие в древнерусском языке» (№ 5) анализирует возможности отражения в семантике этих образований видовых значений глагола; особое внимание обращается здесь на коррелятивные образования от соотносительных по виду глаголов, на развитие вторичных предметных значений и на такой актуальный и малоразработанный вопрос, как отражение систем значений производящего слова в семантике производного.

Другой группе отглагольных имен посвящена статья Р. В. Бахтуриной «Отглагольные имена лиц пассивного значения в древнерусском языке XI—XVI вв.» (№ 2). Автор рассматривает словообразовательные типы суффиксальных и бессуффиксных существительных, реализующие в конкретных образованиях различные значения — как агентивное (активное),

так и пассивное (явление, значительно более распространенное в древнерусском языке, чем в современном), и взаимоотношение обоих этих значений в семантике словообразовательных типов и отдельных слов.

В статье В. Н. Виноградовой «Значение и употребление образований на *-ньный (-тньный)* с отрицательными приставками в древнерусском языке XI—XIV вв.» (№ 5) сделаны важные выводы о тесной связи причастных и адъективных значений — значений страдательности и возможности (невозможности) действия — в семантике образований типа *несказанный* уже в древнейших восточнославянских памятниках и о производности этих образований (совмещающих, таким образом, значения причастия и прилагательного) от существительных на *-ние, -тие*.

Нельзя не приветствовать обращение некоторых авторов словообразовательных статей к сравнению анализируемого материала древнерусских памятников с соответствующим материалом современного русского языка (Т. Г. Винокур, Р. В. Бахтурина, З. М. Плискевич и др.), диалектов (Ю. С. Азарх), а также других славянских языков (Н. П. Зверковская). Такой подход обогащает наши представления о тенденциях развития словообразовательной системы и отдельных ее участков, о взаимовлиянии родственных языков и диалектов.

В центре собственно лексикологической проблематики сборников находятся вопросы лексической синонимии и антонимии в древнерусских памятниках. Так, предметом анализа в трех статьях Н. Г. Михайловской являются синонимические ряды прилагательных со значением «сильный по характеру своего проявления» — *великий, злыи, многий* и др. (№ 3); со значением «знатный» — *великий, сильный, добрый, лпшии* и др. (№ 4); наконец, прилагательные *правыи — десныи — лъвыи — шуи*, составляющие синонимическо-антонимический «квадрат» (№ 3). В первых двух статьях на примере достаточно разветвленных синонимических рядов демонстрируется богатство синонимии в русском языке XI—XIV вв., жанрово-стилистическое разнообразие синонимов; при этом обращается внимание на круг слов, определяемых каждым из прилагательных-синонимов (в связи с чем определяемые существительные анализируются по семантическим группам), на синтаксические функции и морфологические формы прилагательных и на сферу их употребления, а также на соотносительность с антонимическими прилагательными (ср. ряд *малыи, худыи, меньшии* и др. со значением «незнатный»). В третьей из указанных статей в силу большей протяженности охватываемого хронологического периода (XI—XVII вв.) в центре внимания оказывается историческая изменчивость рассматриваемого синонимическо-антонимического ряда, связанная с большей книжностью постепенно устаревающих слов *десныи* и *шуи*, а также соотношение значений прилагательных.

Разнообразные ряды близких и тождественных по значению слов рассмотрены в статье О. Г. Пороховой «Некоторые вопросы синонимии русского языка XVII в.» (№ 3), основным материалом для которой послужила лексика Сибирских летописей; наряду со словами здесь анализируются и синонимичные им терминологические сочетания (ср. *вои — ратные люди* и т. п.). Статья является также интересным источником для изучения вопроса о словообразовательных синонимах (ср. ряды *владыка — владетель — владелец, думчий — думный «советник»* и т. п.). Большое разнообразие синонимов в изучаемых памятниках автор связывает с недостаточной нормированностью языка данного периода и, в частности, с недостаточной четкостью в разграничении значений словообразовательных средств.

В цикле статей Г. Н. Лукиной изучаются антонимические прилага-

тельные *тяжѣкыи, тяжелыи* — *легѣкыи*; *мягѣкыи* — *жестѣкыи, жестокыи* (№ 2); *тѣлстыи* — *тѣнѣкыи* (№ 3); *сладыкыи*—*горькыи* (№ 4). Автор обращает внимание на такие признаки антонимических прилагательных, как противоположность их в прямых и переносных значениях, наличие аналогичных сочетаний, соотносительность членов антонимической пары с прилагательными-синонимами. В небольшой, но содержательной статье О. И. Смирновой «Один случай энантиосемии» (№ 4) мы находим тонкий анализ развития у слов, производных от *благыи* с первичным положительным значением, противоположного (отрицательного) значения «глухой, шальной, сумасбродный», связанного с употреблением слов этого корня применительно к юродивым. Автор подчеркивает, что изменение значения одного из слов (*блаженныи*) повлекло за собой семантический сдвиг в том же направлении у других слов данного гнезда (ср. новую семантику слов *благой, блажить* и др.).

Естественно, что в сборниках такой тематики поставлены и вопросы, связанные с лексической вариантностью в памятниках письменности. Л. П. Жуковская в статье «Лексические варианты в древних славянских рукописях» (№ 3) определяет лексические варианты как «два слова или группу слов, тождественных или близких по значению и потому взаимно заменявшихся в разных славянских списках одного и того же памятника» (стр. 6). Автор намечает многообразную проблематику, связанную с разработкой данного вопроса, и дает классификацию лексических вариантов (разнокорневые варианты, словообразовательные, грамматические и др.). Поскольку лексические варианты древнейших славянских рукописей нередко «отражают лексические различия, имевшиеся между славянскими языками и диалектами на территориях, где эти рукописи переводились, редактировались и даже только переписывались» (стр. 9), Л. П. Жуковская справедливо подчеркивает актуальность изучения лексических вариантов для исторической лексикологии современных славянских языков и для «разрешения проблемы формирования литературных языков, особенно их словаря» (стр. 17).

В ином аспекте — как явление контекста — трактуется проблема лексических вариантов в статье Н. Г. Михайловской «Некоторые вопросы лексико-семантической вариантности» (№ 5), автор которой анализирует лексические замены имен существительных и глаголов в языке древнерусских произведений о Борисе и Глебе. Здесь отмечаются, помимо варьирования слов-синонимов, различные случаи варьирования, основанного на контекстуальной синонимизации, а также связанного с «трансформацией содержания контекста» (например, наименование одного понятия по различным признакам, взаимная замена слов, обозначающих родовое и видовое понятие, а также слов, называющих предметно связанные понятия).

Несколько статей посвящено вопросу о закономерностях и изменениях значений слов. Д. Н. Шмелев в статье «Несколько замечаний о „первоначальных“ и „переносных“ значениях слова» (№ 2) высказывается за необходимость строгого разграничения синхронического и диахронического подхода при изучении метафорических значений слов, подчеркивая те факты, когда одно из значений слова, выступающее на определенном этапе развития языка как метафорическое, вторичное, генетически оказывается не вторичным, а более древним, пережиточным. Эта мысль проиллюстрирована сопоставлением современной семантической структуры ряда слов (*жажда, течь, застрять* и др.) с их древнерусским состоянием.

Другой аспект проблемы семантических изменений слов затронут в статье Н. Н. Шмелевой «О лексико-семантическом стяжении в древнерусском языке» (№ 5). Автор касается вопроса об изменении значения

в результате «приобретения словом значения всего того словосочетания, в котором оно закрепилось для обозначения устойчиво повторяющихся ситуаций» (стр. 254); ср. *посадити на княжение* — *посадити* и т. п. Подчеркивая внутреннюю языковую обусловленность подобных изменений, автор настаивает на необходимости выделения возникающих таким образом значений в качестве самостоятельных, но соотносимых с теми значениями, с которыми они фразеологически связаны. Тем самым статья приобретает и определенную лексикографическую направленность.

Роль специфических контекстуальных условий, способствующих изменению значения слова, подчеркивается также в статье Г. И. Белозерцева «О формировании значения адъективированной формы причастия *избранный* „лучший, отборный“» (№ 5).

Ряд статей в сборниках посвящен истории и происхождению отдельных слов и тематических групп лексики. Так, Л. В. Вялкиной (№ 5) рассмотрены названия времен года в древнерусских памятниках, Н. Г. Михайловской и В. С. Филипповым (№ 4) — древнерусские наименования актера, В. С. Филипповым (№ 5) — наименования музыкантов. В статье И. С. Улуханова «Древнерусское *бѣдынѣ*» (№ 2) рассматривается этимология и история этого неясного слова и выдвигается ряд словообразовательных и семантических аргументов в поддержку той точки зрения, что слово это связано с глаголом *бѣдѣти* и обозначает «бдение». Н. В. Чурмаева в статье «„Отбеливание“ или „белка“?» (№ 5) анализирует слово *бѣлка*, встретившееся в берестяной грамоте № 288, убедительно показывая, что значение его — не «отбеливание» (развитие от глагольных существительных на *-ка* со значением действия относится в русском языке к более позднему периоду), а «шкурка животного как денежная единица».

В статье Г. А. Богатовой и А. Н. Добромысловой «Об одной группе фразеологизмов со словом *верх*» (№ 5) рассматривается происхождение встречающихся в древнерусских памятниках устойчивого сочетания *одержати верхъ* «победить в военном столкновении» и сочетаний слова *верхъ* с притяжательным прилагательным или местоимением в смысле «чья-либо победа» (ср. также современное *взять верх над кем-либо* «победить»). Авторы выдвигают сомнительную, с нашей точки зрения, гипотезу, связывая такое употребление слова *верх* с терминами соколиной охоты *взять верх* «подняться», *держать верх* «держат определенную высоту» (о ловчей птице) и предполагая, что «выражение *верх такого-то* обозначало какой-то момент охоты, где проявлялись преимущества ловчей птицы» (стр. 310). Сами авторы признают затруднительность семантических связей того и другого ряда сочетаний, отмечая, что «промежуточные звенья семантического изменения не поддаются восстановлению» (стр. 309). Не проще ли связать анализируемые сочетания, относящиеся исключительно к повествованиям о военных действиях, непосредственно с представлением о победе в борьбе (в том числе и в военном столкновении) как о низвержении врага?

Заемствованной лексике древнерусских памятников посвящены в сборниках две статьи — И. Г. Добродомова «О некоторых русских словах, заимствованных из греческого языка через тюркское посредство» (№ 4), где разбирается происхождение нескольких слов (*корабль*, *Кърсунь*, *лыскарь* «кирка, лопата», *лохань* и подробнее — *лимень* «залив, бухта») и обширные «Историко-этимологические заметки о словах *басурмань* — *мусульмань* и *магометань* — *мухаммедань*» Г. Ф. Благовой (№ 5).

Наконец, особое место в сборниках занимают две статьи, написанные совместно Л. В. Вялкиной и Г. Н. Лукиной, — «Опыт применения некоторых методов математической статистики к изучению лексики древ-

нерусских текстов» (№ 3) и «Материалы к частотному словарю древнерусских текстов» (№ 4). Обе публикации, имеющие прикладную направленность, показывают применимость математико-статистических методов к анализу текстов древнерусской письменности и являются, по существу, первой и удачной попыткой статистического анализа лексики некоторых древнерусских памятников (Мерило праведное, Житие Феодосия Печерского, Сказание и Чтение о Борисе и Глебе). Такие понятия, как, например, относительное богатство словаря того или иного памятника, сравнительная употребительность слов различных частей речи и различных тематических групп, а также слов в памятниках разных жанров, получили здесь конкретное количественное воплощение.

В заключение отметим, что в рассмотренных сборниках вводится в научный обиход и осмыслиется ценнейший материал исторических картотек русского языка. Очень важно, что сборники эти создавались сразу же по составлении картотеки Словаря XI—XIV вв., в процессе работы над словарем. Тем самым, с одной стороны, оттачивалась профессиональная подготовка лексикографов—историков языка, с другой — научная общественность получала работы, основанные на новых, в значительной степени еще не подвергавшихся исследованию, материалах, в том числе на материале ряда памятников, до сих пор остающихся неизданными. В сборниках, как мы видели, нашли отражение разнообразные аспекты изучения древнерусской лексики и словообразования. Несомненно, что исследования в этой области будут развиваться и дальше. Весьма желательным было бы издавать в дальнейшем данную серию сборников в качестве ежегодников.

РЕЦЕНЗИИ

«Leçons de linguistique de Gustave Guillaume (1948—1949)», publiées par R. Valin, Paris — Québec, 1971. I — 269 стр., II — 222 стр.

Рецензируемая работа представляет собой два тома, в которых собраны лекции, прочитанные Г. Гийомом (1883—1960) в 1948—1949 учебном году в Сорбонне. Это часть неизданных материалов из теоретического наследия французского ученого, которыми располагает фонд Г. Гийома, созданный при Квебекском университете<sup>1</sup>. Текст лекций подготовлен к публикации проф. Р. Валеном (Квебек) совместно с группой канадских и французских лингвистов.

В предисловии к первому тому Р. Вален подчеркивает, что в психомеханике, созданию которой Г. Гийом отдал 50 лет своей жизни, не следует искать ортодоксального учения; огромной ошибкой было бы рассматривать публикуемые тексты лекций как новое евангелие, подобное тому, которое сделали в свое время из текста лекций Ф. де Соссюра. У Г. Гийома надо заимствовать подход к проблемам речевой деятельности, способ их решения и общее направление исследования; любое положение, выдвигаемое Гийомом, должно рассматриваться не только как результат размышлений, как конечная точка движения мысли, но и как начало нового этапа раздумий, как первая точка движения в развитии мысли. Иными словами, психомеханика предстает не в виде сложившейся и законченной теории, а в виде складывающейся, создаваемой части общей науки о Человеке.

Первые два тома из предпринятой Квебекским университетом публикации (пред-

полагается выпускать по два—три тома в год) включают в себя, соответственно, лекции, посвященные теме «Семиологическая и психическая структура французского языка» и лекции курса «Психосистематика речевой деятельности (принципы, методы и их применение)». Привлекаются данные в основном французского языка, но при изложении принципов и методики психосистематического анализа (второй том) автор обращается к другим индоевропейским языкам, в шести лекциях дается материал баскского языка. Г. Гийом хочет показать универсальность принципов и методов анализа, раскрывая их со стороны тех возможностей приложения их к любому языковому материалу, которые вытекают из универсального характера законов человеческого мышления. Не занимаясь психологией, ни тем более физиологией, Г. Гийом пытается понять психическую (понятийную) основу речи, вскрыть г л у б и н н ы е структуры, рождающие речь и реализуемые в речи.

Понятие глубинных и поверхностных структур устанавливается Г. Гийомом в связи с противооставлением языка и речи, означаемого и означающего. Напомним, что, по Гийому, область языка включает в себя систему представлений, так что означаемое, открываемое через означающее, выступает как факт языка и факт мысли. Глубинная структура — это психическая (=понятийная), относящаяся к означаемому, структура языка. Поверхностная структура — это семиологическая, относящаяся к означающему, структура речи (I, стр. 69—70).

В каждом языке устанавливается определенное соответствие между этими структурами, и каждая из этих структур обладает своими законами и принципами организации. Для психических (глубинных, языковых) структур отмечают закон наибольшей конструктивной когерентности<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> В Фонде Г. Гийома собраны работы как самого ученого (около 60 тыс. рукописных страниц), так и его учеников и последователей. Фонд пополняется сочинениями, развивающими идеи французской школы психолингвистики, и регулярно публикует сведения о работах, которые ведутся или уже выполнены в различных университетах и научных центрах мира с ориентацией на концепцию Г. Гийома. По информации на май 1972 г. фонд располагает исследованиями (фотокопии, рукописи) по ряду проблем немецкого, английского, испанского, баскского и других языков.

<sup>2</sup> У других ученых встречаем подобную идею о симметрии, экономии как принципах системной организации, см., например, работы Н. Трубецкого, А. Мартине, членов Пражского лингвистического кружка и др.

для семиологических (поверхностных, речевых) — закон наибольшего соответствия способ выражения при экстерииоризации психических структур (I, стр. 84). Примером когерентности психических и семиологических структур может служить спряжение глагола *aller*. Семиология предоставляет выбор корней *all-*, *v-*, *i-*, которые распределяются между формами спряжения таким образом, что достигается наилучшее соответствие форм (речевой, семиологический план) позициям глагольной системы французского языка (языковой, психический план). Корень *all-* является, во-первых, единственным возможным резервом для образования форм прошедшего времени (*j'allais, j'allais*), во-вторых, единственной основой для всех, кроме индикатива, наклонений (*que j'aille, que j'allasse, aller, allant, allé*), наконец, в-третьих, основой для образования сдвоенного лица, т. е. 1 и 2-го лиц мн. числа (*toi et moi, toi et lui*). Корень *v-* служит для выражения презенса при условии, что этот презенс связан с одним простым (не сдвоенным) лицом. Корень *i-* — единственно возможная основа для образования будущего времени.

Добавляя к этой семиологии семиологию глагольных окончаний, мы получаем возможность очертить п с и х и ч е с к у ю глагольно-временную систему французского языка, которой подчинен как глагол *aller*, так и вообще все французские глаголы. Итак, двойное предназначение корня *all-* (для выражения прошедшего времени индикатива и для выражения неиндикативных наклонений) указывает на то, что неиндикативные наклонения являются по отношению к индикативу п р о ш е д ш и м и, преодоленными индикативом в процессе его формирования. Иными словами, модальный генезис индикатива имеет несколько пройденных этапов, которые отражены в таких означаемых, как инфинитив, герундий, причастие, сослагательное наклонение; эти означаемые составляют прошедшее в модальной хронологии, противопоставляя прошедшему в реальной хронологии. Семиология глагола *aller*, предоставляющая корень *all-* для выражения этих двух прошедших, оказывается абсолютно когерентной психосистематике, а схема, воспроизводящая архитектуру этой семиологии, есть не что иное, как набросок архитектуры французской глагольно-временной системы (I, стр. 75—91)<sup>3</sup>.

Возможны и несовпадения семиологии и систематики. Так, например, во французском языке семиология не различает мужской и женский род формой *les*, общей

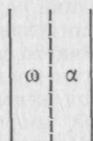
для двух родов. Более того, французский язык знает в плане глубинных структур и третий, средний род, ибо на этом уровне четко разграничиваются понятия истинного и фиктивного рода. Первому понятию семиология предоставляет альтернативу мужской/женский род, типа: *le roi — la reine* «король — королева», *le chat — la chatte* «кот — кошка», *le lion — la lionne* «лев — львица»; второму понятию семиология не дает подобной альтернативы, следовательно, в случаях типа: *la table — le fauteuil* «стол — кресло» и т. п. мы имеем дело с отсутствием рода, т. е. со средним родом. Значит, во французском языке, подобно английскому, существует три рода (два рода — для имен одушевленных, один — для неодушевленных), но эти три рода устанавливаются в плане психических (языковых) структур, тогда как в плане семиологических (речевых) структур выявляется только два рода.

Расхождение планов психического и семиологического весьма затрудняет работу лингвиста, который должен через семиологию проникнуть в систематику. Однако систематика раскрывается не путем анализа всех употреблений той или иной формы, а путем теоретического воссоздания системы. С точки зрения Гийома, каждая языковая форма обладает своей языковой фундаментальной значимостью, единственной и позволяющей всевозможные контекстные вариации. Как бы разнообразны ни были эти контекстные употребления, ни одно из них не противоречит фундаментальному значению формы, так что мы можем говорить о е е п е р в и ч н о м языковом значении и веерообразно раскрывающихся в т о р и ч н ы х речевых значениях. Исследователь должен понять и объяснить это значение — единичное в языке и разнообразное по множеству употреблений в речи, учитывая при этом, что языковое, системное значение формы предопределяет ее речевые реализации (I, стр. 77—79). Возьмем, к примеру, прошедшее времена французского глагола — *passé simple* и *imparfait*. Некоторые их употребления почти синонимичны, ср.: *Le lendemain Pierre arriva. — Le lendemain Pierre arrivait; Au même moment, Pierre entra. — Au même moment, Pierre entrait*. Объяснение этим случаям Г. Гийом дает на основе позиционных (системных) характеристик форм, т. е. исходя из позиций означаемых в системе. Вот вкратце его рассуждения.

Времена индикатива — прошедшее и будущее, разделенные линией настоящего, имеют сложное строение, основанное на сложном строении настоящего. Дело в том, что французский презенс, как и презенс других романских языков, имеет вертикальную композицию, противопоставляясь таким образом латинскому горизонтальному презенсу:

<sup>3</sup> О временной системе см. также: Л. М. Скредина, Об одном направлении во французской лингвистике, ФН, 1971, 2, стр. 69—72.

латинский презенс:

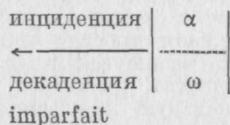
романский (и французский)  
презенс:

Части презенса, обозначенные литерами α и ω, соответствуют футуральной (α) и претеритальной (ω) его областям. Вертикальная композиция романского презенса является следствием стремления его к максимальной узости, поскольку настоящее время — это фикция, своеобразный водораздел, искусственная граница между прошедшим и будущим на временной оси. Вертикальность французского презенса говорит о иерархии уровней — высшего (α) и низшего (ω). Высший уровень есть план наступающего времени, или инцидентности (incidence); низший — план наступившего времени (décadence). Таким образом, билатеральная бесконечность времени разделяется соответственно на два уровня — инцидентности и декаденции:



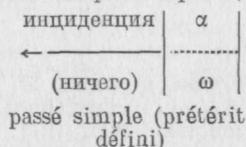
Схема представляет реализацию в индикативе одного презенса, выступающего разделителем временных планов — двух прошедших и двух будущих. По отношению к самому себе презенс неделим (позиционная его характеристика в системе — разделять прошедшее и будущее).

Прошедшее время, взятое в инцидентности (как наступающее время) и задуманное как не переходящее в декаденцию, — это *passé défini* (*passé simple*). Прошедшее время, взятое в инцидентности, но задуманное как уже вовлеченное в декаденцию, т. е. уже наступившее, — это *imparfait*. Иными словами, во фразе *Pierre marchait* реализуются такие смыслы: 1) *Pierre a déjà marché* (декаденция, совершенность) и 2) *Pierre marche encore* (инцидентности, совершение). Схематически можно так изобразить означаемые *imparfait* и *passé simple*:



гольного действия (I, стр. 77 — 122).

В приведенном примере анализа просматривается стремление Г. Гийома проникнуть как в хронологию такого события, как построение системы на протяжении длительной истории созидания языка, так и в хронометрию такого события, как кратковременное использование имеющейся в распоряжении говорящего индивида системы. Мы встречаем непривычный способ рассуждений и непривычные термины и выражения: «взятое в инцидентности (декаденции) и задуманное», «мысль рассматривающая» и «мысль рассмотренная...» (в лекциях, посвященных французскому сослагательному наклонению) и т. п. Все это необычно и составляет главную особенность философии Г. Гийома, который хочет объединить то, что все остальные лингвисты на протяжении многих лет старались разъединить, т. е. ана-



лиз мысли и слова. Г. Гийом различает и сознательную работу мысли, когда говорящий думает о выборе форм и построении фразы, и бессознательный механизм выбора и использования форм, в котором отражается генезис каждой формы в системе. Именно это постоянное обращение Г. Гийома к плану сознательного и бессознательного, участвующего в функционировании языка как потенциальной реализуемой системы, определенным образом мешает восприятию его теории. Мы привыкли к ясности и ограниченности поля исследования, объекты нашего внимания вычлняются достаточно четко и однозначно, и даже многомерность анализа не переходит границы очерченной плоскости. Гийом же то и дело «соскальзывает» с плоскости «речь» в плоскости «говорение», «система», «мысль», «мышление», «созидание языка», «функционирование языка», «реализация потенций» и т. п., выявляя участие каждой из названных плоскостей в единовременном речевом акте или в длительном процессе созидания языка.

Иными словами, Г. Гийом объединяет применительно к любому этапу своих рассуждений планы языка как результативного образования и как деятельности двойного характера — 1) многовековой и предшествующей результативному образованию и 2) кратковременной и мгновенной, в результате которой реализуется получившееся образование. Во всех этих рассуждениях присутствует образ времени. В. фон Гумбольдт говорил об *ergon* и *energeia*; Ф. де Соссюр разделил синхронию и диахронию; И. А. Бодуэн де Куртенэ видел в статике частный случай кинематики. Нет ученого, который бы не отдавал себе отчет в том, что язык есть и продукт деятельности, и сама деятельность. Однако нет и такого ученого, который бы так «смешал» воедино рассмотренные этой деятельности и ее продукта, как это сделал Г. Гийом. Оттого-то так трудно читать его работы.

Итак, время, по Гийому, — это основная характеристика языка. Введением понятия времени и постоянным обращением к нему Г. Гийом дает понять, что язык есть непрерывающийся, творческий, созидательный процесс. Наша задача состоит в том, чтобы проникнуть в механизм функционирования и развития этого сложного динамического явления, вскрыть систему его построения и систему материализации в речи (говорении) различных элементов построения, но не только как результативного образования, а как постоянно строящегося целого. В связи с этим психосистематика оказывается частью исторического языкознания, вершиной науки о языке, соединяя в себе историю языка (речевой деятельности) и феноменологию языка (II, стр. 14—15).

В исторической перспективе созидания и функционирования языка психосисте-

матика устанавливает трехмерное решение задач, которые встают перед исследователем: 1) решение в плане систематическом, который отражает построение и сохранение конститутивных систем языка; 2) решение в плане семиологическом, который отражает постоянный поиск среди языковых ресурсов форм, отвечающих требованиям оптимального выражения мысли; 3) решение в плане плерономическом, который отражает дифференциацию и рост количества наиболее общих элементов системы, призванных выражать отдельные понятия и идеи.

Совмещением этих трех сил — систематики, семиологии и плерономики (лексики), из которых каждая несет в себе специфический созидательный «заряд», язык, а через него и языковая деятельность, претерпевает изменения, развивается, причем темп развития для разных сторон языка на одном и том же отрезке времени будет различным. Систематика, отражающая мыслительные процессы постижения вещей, представляет собою наиболее глубокую составную часть языка; ее развитие идет крайне медленно. В семиологии происходит сопоставление мыслимых и выражаемых единиц, при котором язык получает физические (формальные) и психические (содержательные) средства восприятия и постижения действительности; развитие семиологии тоже идет медленно. В лексике различные грамматические формы заполняются самым разнообразным содержанием, постоянно меняющимся, скорость происходящих изменений в лексике, в соответствии со скоростью происходящих в жизни человеческого общества событий, весьма значительна.

Однако, сколь бы медленными ни были эти эволюционные процессы, они все же проходят быстрее тех изменений, которые касаются самих механизмов мышления и речетворчества. Именно эти механизмы составляют формальное содержание языка как речевой деятельности, его глубинную структуру и его систематику. Возьмем, например, такие наблюдаемые элементы системы, как части речи. Они относятся к глубинным категориям, представляя собою самые обобщенные результаты мыслительной деятельности. Во всех индоевропейских языках, начиная с праязыкового состояния, такие понятия категории, как имя, глагол, никогда не затрагиваются эволюционным процессом полностью, целостность их не нарушается, а в связи с этим не изменяется их взаимное соотношение. Так, появление в глаголе целой серии сложных и даже сверхсложных форм (в соответствии с реконструкцией видовой системы на новой основе) сопровождается сокращением падежных форм в имени, число которых уменьшается от восьми (индоевропейский) до шести в латинском, пяти — в древнегреческом, четырех — в немецком, двух — в

старофранцузском, ни одной — во французском.

В обычных условиях говорящий использует имеющийся материал для процесса говорения. Если он испытывает нужду в каких-либо лексических единицах для адекватного обозначения явлений действительности, то конструирует их из готового материала, — так появляются неологизмы, дериваты, заимствования. Но бывают случаи дефицита форм на другом уровне — на уровне понятийных категорий. Здесь мы вступаем в область закрытых серий<sup>4</sup>. Говорящий оказывается перед альтернативой — или отказ от поисков новой конструкции (что бывает чаще всего) и использование старой конструкции каким-либо особым образом, не противоречащим существующим установлениям в языке, или введение грамматического новшества, с изменением функций используемой старой конструкции в сторону расширения (экстенсивное употребление) или сужения (рестриктивное употребление). Грамматическое новшество обеспечивается грамматическим контекстом, где совокупность элементов позволяет появиться нужной конструкции. Именно таким путем появились в разных языках артикли, определенный — из указательного местоимения, неопределенный — из числительного.

Эта контекстная обусловленность, вызывающая новообразование, называется Г. Гийомом *потенциальной функцией*; она объясняет инновации и их последующее включение в систему. С течением времени новая форма расширяет свои функции и сферы употребления (так было с артиклем), иногда она вызывает перестройку системы (так было с глагольной системой романских языков, испытавшей перестройку в связи с изменением композиции презенса).

Короче говоря, всякая инновация, обогащая язык, помещается в определенном моменте языковой деятельности. И этот процесс обновления языковой системы вечен и бесконечен, поскольку бесконечны человеческий опыт и познание вселенной, частью которой является как сам человек, так и его язык. Взаимоотношения процесса построения языка (глоссоге-

ния) и процесса его использования в речи (праксеогения) весьма просты и в то же время сложны, ибо каждый момент праксеогении совпадает с определенным моментом в глоссогении. Праксеогения представляет моментальное использование говорящими имеющегося в их распоряжении языка в том состоянии, которое дает глоссогения, т. е. в любой момент говорения весь язык находится целиком в распоряжении говорящего, предлагая ему, так сказать, свои ресурсы, даже если говорящий минимально нуждается в языковых средствах для выражения своих мыслей. Г. Гийом называет эти ресурсы *потенциальными элементами*, определяя время, необходимое для их реализации в речи как *оперативное*. Какими бы ни были потенциальные единицы, реализация их в речи совпадает по времени с конструированием фразы. Итак, фраза, по Гийому, — речевая единица; потенциальной же (языковой) единицей для французского языка признается слово, для других языков потенциальной единицей может быть и часть слова (II, стр. 21—43).

Оперативное время по природе своей двуедино, относясь сразу к двум планам — плану (времени) системных операций образования виртуальных понятий (схемы этих операций заключены в языке) и плану (времени) конструирования более или менее сложных единиц, т. е. фраз, из которых составляется речь. Это переключивание временных планов — языкового (глоссологического) и речевого (дискурсивного) прослеживается у Г. Гийома везде, и при трактовке артикля, и тем более при трактовке глагола. В двуединности оперативного времени, выявляющейся в самые различные моменты, мы обнаруживаем важнейшую черту язык как феномена — наличие разницы между потенциальным и реализованным. Вместе с тем, отношению двух сторон оперативного времени — языкового и речевого — Г. Гийом приписывает фундаментальное значение для лингвистической типологии (см., например, II, стр. 23—36). Наряду с определенными особенностями систематики каждого языка, его «системной архитектуры», это отношение обуславливает *глубинные структуры*, обеспечивающие то или иное архитектурное своеобразие систематики.

Порою в одном единственном из дискурсивных моментов вскрывается целиком генезис слова со всем комплексом оперативных моментов, на которые этот генезис распадается. Примером может служить состояние, достигнутое словом в индоевропейских языках. При оформлении его в речи, т. е. при переходе в процессе говорения от потенциального языка к языку реализованному (материализованному), сам момент этого оформления оказывается носителем всего генезиса словесной формы, состоящего из более

<sup>4</sup> По Гийому, язык для каждого из нас — это сумма представлений, которые делятся на две серии: закрытую, состоящую из самых общих представлений грамматических форм (например, закрытая серия части речи; внутри каждой части речи — закрытая серия форм, участвующих в определении данной части речи), и открытую, состоящую из частных понятий, каждое из которых обозначено особым звуковым комплексом и предназначено служить содержанием (по Гийому, *понятийным материалом*) для грамматически разных форм: *homme* ≠ *cheval*, *parler* ≠ *marcher* и т. д.

или менее длинной цепочки оперативных моментов. В форме имперфекта индикатива *il chantait* мы видим реализацию следующих мыслительных операций, предшествующих ее рождению: а) выбор залога, б) выбор вида, в) выбор наклонения, г) выбор времени, д) выбор лица. Все перечисленные выборы, вызывая к действию различные и последовательные операции, совершаются в одно мгновение, т. е. в пределах самого короткого отрезка времени, которое только способно зарегистрировать наше сознание. Разумеется, говорящий этого не сознает. Носители индоевропейских языков замечают время рождения (оформления) фразы; оно осознается как сводимое по длительности к моменту говорения, но отнюдь не к временному промежутку, насыщенному последовательно располагающимися сегментами. Иными словами, говорящий способен хронометрировать дискурсивное время (время конструирования фразы), но не способен к подобному процессу относительно потенциальной единицы языка — слова. Значит, есть операциональность сознательная (дискурсивная) и бессознательная (глоссологическая). Конструирование фразы размещается хронологически в первом, конструирование слова — во втором, т. е. «неощутимом» времени.

Последователями и оппонентами Г. Гийома неоднократно подчеркивалась умозрительность всех этих рассуждений. Сам Г. Гийом не тратил время на споры с противниками, но обосновывал право на умозрительные рассуждения замечанием о том, что признаваемая послесосюрвской лингвистикой система языка непосредственно не наблюдаема. Следовательно, для того чтобы ее изучить, надо ее создать, теоретически предположить, на основе наблюдаемых фактов речи (II, стр. 9—13). Р. Вален добавляет к этому в предисловии к I тому, что чисто теоретические, не подкрепленные экспериментальными данными утверждения известны науке, таковы гипотезы о шарообразной форме Земли, о физическом строении вещества. С прогрессом в области методики экспериментальных исследований в нейрофизиологии следует ожидать подтверждения теории Г. Гийома на базе визуальных наблюдений. Однако не всегда нужно стремиться к подобным доказательствам, говорит Р. Вален, иначе мы подорвем доверие к чистому теоретизированию, доказавшему право на существование в ряде наук, например, в математике, где постоянно прибегают к теоретической (умственной) проверке теоретических же предположений. Теория психомеханики может получить более выразительное подтверждение в практике преподавания языков. Так, в течение последних пятнадцати лет в Париже больших успехов в устранении различных дефектов речи и в обучении языку глухонемых достигли

именно на основе применения психомеханической теории Г. Гийома<sup>5</sup>.

Итак, знакомство с курсом лекций Г. Гийома вводит нас в непосредственный процесс разработки новой теории, которую, несмотря на всю ее оригинальность, невозможно изолировать от лингвистических учений прошлого и настоящего. Г. Гийом сам неоднократно проводит параллели между своей концепцией и положениями структурализма; он часто обращается к Ф. де Соссюру, оперирует материалом компаративистики. Стремление создать феноменологию языка сближает его с В. Гумбольдтом; представление языка как явления динамического и в то же время получающего моментальные статические характеристики, позволяет говорить о близости этих позиций установкам функциональной лингвистики. Желание возратить языку его значение антропологического явления и документа напоминает нам об антропологической лингвистике<sup>6</sup>. Однако использование понятия оперативного времени в качестве основного параметра любого языкового анализа ставит теорию Г. Гийома на особое место среди прочих теорий структурализма. Рассматривая каждое языковое явление в рамках его рождения в речи и в то же время соотносительно с его генозисом в языке, Г. Гийом каждый раз подчеркивает тем самым, что системы, реконструируемые нами научно, сознательно, отражают системы, реально существующие в нас и не осознаваемые нами. Таким образом, психомеханика как наука о лингвистическом ментализме рисует образ системы языка как лингвистической памяти, отражающей индивидуальный опыт говорящего и весь человеческий опыт в целом.

Под углом зрения материализации мысли в речи решаются кардинальные проблемы общего и частного языкознания: выделение частей речи и типологическая классификация языков; сравнение флективных, аналитических и изолирующих языков на основе взаимоотношения в них фактов языка и фактов речи; выделение и членение единиц языка и единиц речи; грамматические категории имени и глагола (например, падеж как факт языка и факт речи в классических и современных языках; архитектура категории времени в

<sup>5</sup> См. по этому поводу: D. Sadek, L'article, son acquisition par le sourd profond, «Revue d'orthophonie», 136, Paris, 1968.

<sup>6</sup> Н. Хомский говорит о невозможности объединения таких двух систем взглядов, как антропологическая лингвистика и универсальная грамматика (см.: Н. Хомский, Язык и мышление, М., 1972, стр. 96—97). Однако понятия универсального (всеобщего) и частного (национального) вполне уживаются в теории и практике лингвистического анализа Г. Гийома.

германских и романских языках); границы слова и предложения и пр.

Интерес к наследию Г. Гийома в лингвистическом мире велик и закономерен, влияние его на развитие науки о языке

несомненно. Новая публикация должна помочь в уяснении основных положений его концепции.

Л. М. Скрепина

**J. Bělíč. Nástin české dialektologie.** — Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 464 стр. + 40 карт.

Прошло почти 40 лет со дня выхода в свет известной работы акад. Б. Гавранка «Чешские диалекты»<sup>1</sup>, которая в методологическом отношении явилась поворотным пунктом в истории изучения чешских диалектов: впервые было описано не только географическое распространение диалектных явлений, но и все системы диалектов в их динамике.

За 40 лет чешская диалектология значительно шагнула вперед. Появились интересные как по материалу, так и по методу исследования монографии, посвященные описанию отдельных диалектов и больших диалектных групп. Это прежде всего работы А. Келлнера, А. Лампрехта, Я. Белича, Фр. Конечного, Я. Ворача, С. Утешеного, Ф. Сверака, Й. Скулины, Я. Хлоушка, В. Михалковой и др.<sup>2</sup> В диалектологическом секторе Института чешского языка Чехословацкой академии наук собран большой материал для составления диалектологического атласа чешского языка. Этот материал, равно как и материалы общеславянского лингвистического атласа (собранные в СССР), новейшие работы по диалектологии, по истории и исторической диалектологии

чешского языка<sup>3</sup>, а также многочисленные исследования самого Я. Белича по диалектам и интердиалектам послужили надежной основой для его капитального труда «Очерки чешской диалектологии».

Книга Я. Белича — это обобщающая работа, которая, с одной стороны, подводит итог многолетним исследованиям в области чешской диалектологии, с другой — открывает новые перспективы для диалектологических исследований, намечает проблематику этих исследований, решает сложнейшие вопросы переходности и интерференции языковых явлений. «Очерки чешской диалектологии» — это не только синтетическое, но одновременно и аналитическое описание структуры отдельных диалектных систем и дифференциальных признаков собственно чешских, среднеморавских, моравско-словацких, ляхских (силезских) диалектов с подробной характеристикой языкового состояния переходных диалектных зон и окраинных микродиалектов.

Первая (вводная) глава книги (стр. 9—21) посвящена характеристике различных компонентов чешского национального языка, взаимоотношению литературного языка, диалектов и интердиалектов, а также принципам классификации и границам диалектных групп. Ядро книги составляют вторая и третья главы, посвященные описанию чешских диалектов. В четвертой главе освещаются вопросы развития диалектов в их истории и в настоящее время. Заключительная глава характеризует состояние и задачи чешской диалектологии.

Важной особенностью «Очерков...» является то, что описание собственно языковых явлений часто дается на фоне исторических событий, с учетом миграционных движений, колонизаций, общественно-экономических факторов, на фоне истории языка и исторической диалектологии. Нередко устанавливается своеобразная корреляция изоглосс дифференциальных

<sup>1</sup> B. H a v r á n e k. Nářečí česká, «Československá vlastivěda», 3 (Jazyk), Praha, 1934.

<sup>2</sup> A. K e l l n e r. Východoláská nářečí, Brno, I — 1946, II — 1949; ег о ж е, Úvod do české dialektologie, Praha, 1954; A. L a m p r e c h t. Středoopavské nářečí, Praha, 1953; ег о ж е, Slovník středoopavského nářečí, Ostrava, 1963; J. B ě l í č. Dolská nářečí na Moravě, Praha, 1954; ег о ж е, Nářečí českého jazyka, «Československá vlastivěda», 4 (Jazyk), Praha, 1968; F. K o r e č n ý, Nářečí Určic a okolí, Praha, 1957; J. V o r á č. Česká nářečí jihozápadní, I, Praha, 1955; S. U t ě š e n ý, Nářečí přechodného pásu česko-moravského, Praha, 1960; F. S v ě r á k, Svatobořické nářečí, «Časopis Matice mor. 30», 1951; ег о ж е, Karlovičské nářečí, Praha, 1957; J. S k u l i n a, Severní pomezí moravsko-slovenských nářečí, Praha, 1964; J. C h l o u p e k, Aspekty dialektu, Brno, 1971; V. M i c h á l k o v á, Studie o východomoravské nářeční větě, Praha, 1971, и др.

<sup>3</sup> См., например: M. K o m á r e k, Historická mluvnice česká, I — Hláskosloví, Praha, 1958; F. C u ř í n, Studie z historické dialektologie a toponomastiky Čech, Praha, 1967; ег о ж е, Kapitoly z dějin českých nářečí a místních i pomístních jmen, Praha, 1970 и др.

языковых явлений с границами старых административных делений, тем самым показывается опосредованная связь образования диалектов с историческими, экономическими или социальными изменениями в тех или иных областях, особенно в переходных. Знакомство с книгой свидетельствует о том, что диалектные явления изучаются в разных аспектах: в структурном и функциональном, с одной стороны, в синхронном и диахроническом — с другой. Четкая разграниченность этих аспектов представляется одним из больших достоинств монографии. Необходимо также подчеркнуть, что в «Очерках...» рассматривается не просто территория распространения отдельных явлений (фонетических, морфологических и т. д.), но они даются на фоне системы, учитывается соотношение описываемых явлений, определяется их место в системе данного диалекта и отношение к системам других диалектов, а также к литературному языку. Чрезвычайно существенным представляется широкое применение в книге лингвогеографического метода исследования явлений в его структурном или функциональном, синхронном или диахроническом аспектах.

Центральная (вторая) глава работы (стр. 23—216) содержит подробную и систематическую характеристику главным образом фонетических и морфологических различий чешских диалектов в структурном и функциональном плане.

В описании звукового строя чешских диалектов автор избирает для себя следующий путь: сначала дается общая характеристика инвентаря согласных фонем — такого звена диалектных фонетических систем, которое в целом отличается наибольшим единообразием; затем характеризуются инвентарь гласных фонем — звено, как известно, являющееся различительным для всех диалектных групп чешского языка. При этом следует отметить, что в монографии Я. Белича впервые в полном объеме для всех диалектных групп чешского языка представлено системное описание согласных фонем. Что же касается гласных, то типология фонологических систем вокализма чешских диалектных групп, установленная Б. Гавранком<sup>4</sup>, продолжает оставаться весьма актуальной и для данной работы. Автор предлагает лишь иное рассмотрение этих систем: вначале рассматриваются системы кратких фонем по всем диалектам, затем — долгих; кроме того, рассмотрение систем кратких фонем начинается с минимальной (пятичленной) как наиболее распространенной по говорам и характерной также для литературного языка<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> В. Н а в г а н е к, указ. соч.

<sup>5</sup> Ср. иной подход — от максимальной системы — при описании диалектных различий в составе гласных фонем рус-

Весьма интересным и существенным для характеристики звукового строя чешских диалектов представляется ряд фактов, изложенных в данном разделе — например, описание диалектных различий, проявляющихся в составе согласных фонем или в явлениях, с этим связанных (§§ 30—39), или различий, обусловленных позиционными изменениями согласных (§§ 41—62). Обращает на себя внимание установленный Я. Беличем изоморфизм в функционировании гласных и согласных фонем, ср. описание диалектных различий, связанных с согласными (§§ 30—39) и с гласными (§§ 63—74). Существенно также отметить при характеристике фонем в функциональном плане внимание автора к фактам, свидетельствующим о тенденциях в проявлении тех или иных свойств фонемы в диалектной речи, о направленности отмеченных здесь процессов, о степени распространенности тех или иных явлений; учет автором регулярности или, наоборот, нерегулярности рассматриваемых явлений [см., например, описание парных  $\text{ř} - \text{l}$  ( $\text{l}'$ ) в § 12]; учет комбинаторных изменений гласных и согласных фонем. Синхронный подход к изучению явлений, который позволяет выявить современные системы, функционирующие в чешских диалектах, дополняется диахроническим рассмотрением соответствующих явлений: автор нередко вскрывает причины фонетических изменений, устанавливает их относительную хронологию, ссылаясь на данные памятников и исторических грамматик.

Морфологические различия в общем виде были намечены еще Б. Гавранком<sup>6</sup>, но лишь в рецензируемой книге эти различия впервые описаны с достаточной полнотой и систематичностью, с привлечением нового материала. Так, при описании склонения имен существительных рассматриваются, например, различительные явления, связанные с такими важными для морфологической характеристики данного класса слов в чешских диалектах фактами, как неординарное, с точки зрения категории рода, распределение одних и тех же лексем по разным диалектным системам (§ 95), с распределением имен по типам склонения (§§ 96—101, 108), с взаимодействием между отдельными падежными формами и унификацией падежных окончаний (§§ 102, 103, 109, 110). В характеристике имен прилагательных освещаются, например, следующие явления: функциональные различия между полными и краткими

ских говоров, позволяющий осуществить принцип свертывания при описании фонологических систем (Р. И. А в а н е с о в, Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1947, 3).

<sup>6</sup> В. Н а в г а н е к, указ. соч., стр. 102.

формами (§ 111); морфологизация фонетических явлений, характерная для склонения полных форм, и взаимодействие между твердым и мягким типами склонения (§ 112); специфика проявления категории одушевленности (§ 113); унификация падежных окончаний у прилагательных всех трех родов (§ 115). Достаточно подробно охарактеризованы диалектные различия, связанные с формами местоимений и их функционированием в диалектах (§§ 117—123). Весьма обстоятельным и интересным представляется описание морфологии глагола (§§ 127—138). Как и в других разделах данной главы, автор уделяет внимание и структурным и функциональным различительным явлениям, останавливаясь более подробно на характеристике структуры или функционирования соответствующего явления, в зависимости от специфики диалектного различия. Так, например, если для диалектных различий, относящихся к глагольным формам индикатива и повелительного наклонения (§§ 130—132, 134, 135), существенным является прежде всего характеристика их структуры, а для определения диалектных различий, связанных со страдательными причастиями, важным оказывается исследование их функционирования по говорам (см. § 133—2, 3), то соответственно выполнено и представленное в названных параграфах описание. Что касается диалектных различий, относящихся к глагольному классу слов в целом, то — как это следует из данного раздела — эти различия во многом определяются поразной проявляющейся, но все же общей тенденцией к унификации морфемного состава названного класса слов, и в частности — его формообразовательных и словоизменительных аффиксов (помимо отмеченных автором фактов, см. также характеристику различительных явлений, связанных с принадлежностью одних и тех же глаголов к разным типам спряжения — § 128, карта 31).

Однако не все языковые уровни изучены одинаково глубоко и детально в работе Я. Белича. Это касается диалектных различий в области синтаксиса, словообразования и лексики (стр. 204—216). Причины такого положения можно видеть, с одной стороны, в меньшей изученности указанных уровней, с другой — в том, что синтаксические, лексические и словообразовательные особенности диалектов представляются менее яркими, менее существенными, не имеющими характера общих структурных различий.

Анализируемые в работе синтаксические явления, общие для всех чешских диалектов (более свободное строение сложных предложений, частые случаи эллипсиса, способы бессоюзного подчинения предложений, ограниченный репертуар соединительных средств и т. д.), подводят солидную базу для характеристики синтаксических особенностей интер-

диалектов и обиходно-разговорного языка (obecné čeština). Большую ценность представляет также характеристика различий диалектов в интонационном рисунке высказываний, содержащаяся в книге Я. Белича. Весьма интересно общее заключение автора о том, что инвентарь основных слов в образовательных средствах в диалектах — общий и что различия касаются лишь периферии системы, хотя некоторые словообразовательные типы, характерные для тех или иных диалектов, выкристаллизовываются довольно четко. Границы лексической и х р а з л и ч и й по диалектам очерчены менее определено; лексические изоглоссы пересекают территорию распространения чешского языка в самых разных направлениях, в ряде случаев совпадающих с границами основных диалектных групп. Общая лексическая база диалектов значительно превышает их различия. Показательным в этом отношении является сравнение словаря дольских говоров с общенародной лексикой: 83,57% лексики этого диалекта совпадает с общенародной. Частотность ряда слов, входящих в оставшиеся  $\approx 16\%$ , очень низкая. Словарные различия (особенно у молодого поколения) в диалектах стираются быстрее, чем различия фонетические и морфологические, уступая место словам общенародного языка (стр. 216). В диалектных словарях отмечается, однако, достаточно много различий, проявляющихся в частных значениях отдельных слов.

Третья глава (стр. 217—317) посвящена обзорной (общей) характеристике больших диалектных групп (собственно чешской, среднеморавской, моравско-словацкой и лясской) и диалектов, входящих в эти группы. К описанию каждой группы говоров прилагаются записи связанных диалектных текстов, извлеченных из новейших исследований и из рукописных источников.

При характеристике диалектных групп учитываются наиболее выразительные различия фонетического и морфологического характера; например, устанавливается не только инвентарь согласных и гласных фонем, но и их различия по диалектам фонетическая реализация; отмечаются важнейшие случаи морфологизации и лексикализации фонетических явлений, унифицирующее действие аналогии. Современные факты интерпретируются на фоне исторической диалектологии чешского языка. Общая характеристика дается в сравнении с литературным языком. От характеристики общих особенностей больших диалектных групп автор переходит к характеристике диалектных подгрупп. С большим знанием и весьма интересно описаны специфические черты локально ограниченных диалектов, а также переходных диалектных зон.

Глава четвертая (стр. 319—332) «Очерков...» Я. Белича интересна тем, что в ней

освещается не только современное состояние диалектов — современные процессы интеграции этих диалектов, но и тем, что здесь делается попытка установить причины возникновения диалектных групп, разграничить диалектные особенности доисторического периода и те, которые возникли в исторический период, установить пути и закономерности образования диалектных различий. Автор убедительно показывает, что хотя изоглосса некоторых старых диалектных различий и совпадает с племенными границами, прямую связь между современными диалектными группами с границами племенных диалектов и с административными границами феодальных владений установить трудно, так как создание ранних феодальных государств на территории чешских и моравских земель было связано с большими перемещениями населения, что привело к известной нивелировке, к языковому выравниванию, которое, однако, не было проведено полностью. В ряде (главным образом, окраинных) областей сохранились старые различия, которые связывают те или иные области с диалектами соседних языков. Кроме того, инновации, возникшие в центральных областях, не распространились на все диалектные области, что также приводило к образованию новых различий между диалектами. Развитие диалектов в книге Я. Белича дается на фоне истории; вопросы образования диалектов, интерференции различных диалектных систем, взаимных перекрещиваний, смещений, переходности явлений и др. в книге рассматриваются как продукт исторического развития.

В процессе взаимодействия между близкими диалектами стираются наиболее яркие и специфические различия и развивается особый тип народно-разговорной речи — интердиалект, лишенный целого ряда локально ограниченных особенностей и представляющий широкое развитие тех черт, которые являются общими для группы диалектов. Так, на базе собствен-

но чешских говоров возник чешский интердиалект (obecná čeština), на территории распространения среднеморавских говоров — обecná hanačtina, на территории ляхских говоров — обecná laština и т. д. Возникшие интердиалекты не находятся на одном уровне. В системе национального чешского языка особое место занимает обecná čeština, которая, заметно расширив и изменив свои функции, переросла рамки интердиалекта. Она представляет более высокий тип интердиалектного образования, который проявляет тенденцию стать общенародным нелитературным языком<sup>7</sup>. В «Очерках...» Я. Белича уделяется достаточно внимания причинам возникновения и характеристике интердиалектов, роли и функциональной значимости обиходно-разговорного чешского языка, языку городского населения.

Заключительная глава работы (стр. 333—348) представляет собой краткий очерк развития чешской диалектологии, характеристику ее современного состояния и задач, которые стоят перед чешскими диалектологами. Большую ценность представляет исчерпывающая библиография диалектологических работ (стр. 349—360).

«Очерки чешской диалектологии» Я. Белича — значительное событие в лингвистической жизни не только ЧССР. насыщенная огромным конкретным материалом, отличающаяся глубиной исследования и широтой обобщений, а также интересной методикой описания, книга эта является не только пособием при изучении чешской диалектологии, но и неопенимым источником в исследовательской работе по диалектологии, истории языка и сравнительной грамматике славянских языков.

Е. В. Немченко, А. Г. Широкова

<sup>7</sup> Ср. также: J. Bělič, K otázce obecné češtiny, «Studie ze slovanské jazykovědy», Praha, 1958.

**В. А. Редькин.** Акцентология современного русского литературного языка. — М., изд-во «Просвещение», 1971. 224 стр.

Книга В. А. Редькина ставит своей задачей описание «системы русского ударения» (стр. 3). Автор сумел учесть, использовать и донести до широкого читателя наиболее важные достижения теоретической акцентологии последних десятилетий, к числу которых относятся: а) разграничение акцентных отношений у производных и непроизводных слов (лексем), сопровождающееся детальным анализом мотивированности выбора той или иной ак-

центной кривой у производного слова<sup>1</sup>; б) положение о том, что ударение (как грамматический способ) определяется

<sup>1</sup> См., например: R. F. Hingley, The stress of Russian nouns in *a/я* under inflection, «The Slavonic East and European review», 1952, 31, № 76; большую роль в обосновании рассматриваемого положения сыграли работы В. А. Редькина; см.: В. А. Редькин, Акцентология

морфологическим членением слова<sup>2</sup>; в) учение о вынужденном и условно приписываемом словоформам ударении<sup>3</sup> и др.

Заслугой автора является введение в широкий научный обиход таких строго продуманных и точных дефиниций, как акцентная парадигма, акцентологический класс и акцентная кривая, а также существенная модификация общих определенных типа «конечное ударение», которое автором для имен и глаголов трактуется по-разному (в именах это ударение на окончании, в глаголах это ударение на окончании или на глагольном суффиксе, см. стр. 6).

За изложением в главе I основных теоретических положений и дефиниций следует четко и просто сгруппированный материал, а именно: ударение в производных именах существительных (глава II) с описанием акцентных кривых (с учетом распределения по родам), заданных закрытыми списками; акцентные кривые вне классов и акцентная характеристика этих существительных; ударение в производных именах, подразделенных на два класса: производные I класса, у которых ударение зависит от производящего слова, и производные II класса, у которых ударение от производящего слова не зависит; далее следует аналогичным образом описанное ударение имен прилагательных (глава III), глагола (глава VI), две небольшие главы (IV и V), посвященные ударению имен числительных и местоимений, а также «Приложения», в которых важен указатель акцентуации производных слов, указатель суффиксов существительных, прилагательных и глаголов.

В рассматриваемых главах в теоретическом отношении представляется весьма интересным моментом то, что при классификации акцентных кривых имен существительных автор выделяет их классы по отношению к дат. падежу ед. и мн. числа (тем самым найдет наиболее экономный, хотя, на наш взгляд, и не всегда адекватный способ описания). Продуманна, стройна и не вызывает возражений классификация акцентных кривых в именах прилагательных, данная с одновременным учетом акцентуации как полных, так и кратких форм. Представляется большим шагом вперед в теории и технике описания акцентных отношений в глаголе разграни-

современного русского языка. АДД, Л., 1970.

<sup>2</sup> Это положение впервые обосновал И. А. Бодуэн де Куртенэ (см. «Избр. труды по общему языкознанию», 2, М., 1965, стр. 143); благодаря работам таких исследователей, как Р. И. Аванесов, А. А. Зализняк, Е. Курилович и др. оно стало прочным достоянием акцентологии.

<sup>3</sup> См.: А. А. Зализняк, «Условное ударение» в русском словоизменении, ВЯ, 1964, 1.

чение (по различительным возможностям) словоформ глаголов на три акцентологических класса. Удачей автора следует признать систематизированный обзор ударения, публикуемый в таблицах А, С и др. на стр. 121 и сл., дающий характеристику акцентуации глагольной лексемы в целом, в том числе и у неличных форм, что выгодно отличает рецензируемую работу от различных мнемонических описаний глагольной акцентуации, начиная от работ А. Х. Востокова и затем Я. К. Грота и вплоть до «Грамматики русского языка», I (М., 1954).

Что касается анализа ударения в производных словах, то следует сказать, что автор выполнил свою задачу помочь читателю, основываясь на списках производных слов, «определить ударение практически неограниченного ряда слов» (стр. 3). И это несомненное достоинство книги.

Представляя собой реализацию, систематизацию и популяризацию положений, изложенных автором в «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970) в разделе «Ударение в словоизменении», настоящая книга в то же время выгодным образом отличается почти полным устранением грубых недосмотров, к числу которых в «Грамматике» можно, например, отнести: а) то, что в список акцентной кривой АВ попали прилагательные *вязкий, гибкий, гладкий, громкий, грубый* и т. д. (ср. § 1045), так что получалось, будто «Грамматика» рекомендует формы вроде: *вязкий, гибкий, гладкий, громкий, грубы* и т. д.; б) то, что при характеристике акцентной кривой Д (женского рода)<sup>4</sup> были пропущены: *смола, сноха; сова, соха, сосна, страна, стрекоза; стрела, стрелы, страна, струя, судьба, толпа, труба, тюрма* (ср. § 1036); при характеристике акцентной кривой В (мужского рода)<sup>5</sup> в списке был дан, например, *сентябрь*, но почему-то не дан *ноябрь*, дан *гильяк*, но не дан *вотьяк* (пропуск и в рецензируемой книге), пропущены *гуляш* (так и в рецензируемой книге), *кабан, казан, кремль* (так и в рецензируемой книге), *снегирь, усташ* (так и в рецензируемой книге), *четыре, ячмень* (ср. § 1031), а у жен. рода *конуря, чешуя* (ср. § 1031; так и в рецензируемой книге)<sup>6</sup>; в) то, что в

<sup>4</sup> Т. е. ударение на флексии в дат. и всех остальных падежах ед. числа: *сосне́, -бы* и т. д. и на основе в дат. и всех остальных падежах мн. числа: *сбсна́м, -ами* и т. д.

<sup>5</sup> Т. е. ударение на флексии в дат. падеже ед. и мн. числа, а также во всех остальных падежах (кроме форм с нулевой флексией).

<sup>6</sup> В § 1028 «Грамматики» автор утверждал, что «все существительные, не упомянутые в списках других акцентных кривых, относятся к акцентной кривой А»; аналогичное заявление сделано и на стр. 14 настоящей книги.

«Грамматике» среда (день недели) относится к акцентной кривой Д (ср. § 1036); r) то, что в «Грамматике» остались «беспризорными» производные глаголы II акцентологического класса с подвижным ударением типа *бесить, валить, дарить, пилить, служить, судить* и т. д.

Рецензируемая книга содержит и некоторые новые сравнительно с «Грамматикой» теоретические положения, которые принципиально интересны и вполне правомерны. Однако в книге они не обосновываются и, казалось бы, вступают в противоречие с поставленной автором узкой задачей описать «систему русского ударения». Мы имеем в виду разграничение продуктивных и непродуктивных акцентных кривых у непроизводных имен и глаголов.

Признавая правомерной задачу показать языковые явления только в системе, следует отметить, что такого рода подход накладывает серьезные ограничения на рамки, объем исследования, переступить которые можно, только опираясь на исторический диахронический анализ. Между тем исторического анализа материала, выходящего за рамки современного русского литературного языка, в работе нет или почти нет, хотя такой материал весьма нужен, например, учителю-русисту, которому адресована книга.

Растущие потребности людей «в более адекватном выражении их мыслей и чувств»<sup>7</sup> в русском языке реализуются, в частности у непроизводных имен существительных как усиление акцентных противопоставлений словоформ мн. числа ед. числу и подержание (ограниченная продуктивность) акцентных противопоставлений им. падежа косвенным и вин. падежу<sup>8</sup>; в глаголе исторически продуктивны акцентные противопоставления конечного ударения в 1-м лице ед. числа настоящего времени неконечному ударению в других формах настоящего и в формах прошедшего времени изъявительного наклонения (у глаголов II акцентологического класса); можно отметить и особую акцентную характеристику страдательных причастий в глагольной лексеме, которая еще ждет объяснения в категориально-семантическом плане<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> См.: Р. А. Б у д а г о в, Проблемы развития языка, М.—Л., 1965, стр. 33.

<sup>8</sup> В. В. Колесов отмечает «сближение акцента с грамматической системой», начиная от рубежа XVI—XVII вв. «достижение к настоящему времени наивысшей степени» («Именная акцентуация в древнерусском языке». АДД, Л., 1968, стр. 3). Ср. в этой связи материалы диссертации А. Г. Кясова «Особенности русской речи кабардинцев (фонетико-морфологический очерк)». АКД, Нальчик, 1972.

<sup>9</sup> Вопрос о категориально-семантической основе особой акцентуации причастий весьма интересен, хотя и не бесспорно, ставится в работе: И. Э. Е с е л е в и ч,

Итак, с исторической точки зрения акцентные кривые предстают как продуктивные и непродуктивные, и такое распределение актуально как для производных, так и для непроизводных слов, ибо классы непроизводных слов могут неограниченно и непрерывно пополняться: а) в процессе заимствований, б) в процессе опрошения за счет производных имен, в) за счет перераспределения слов, принадлежащих к разным классам непроизводных. Но если это так, то не слишком ли категорично противопоставление акцентной кривой А и всех других акцентных кривых, которое мы находим в рецензируемой книге? Классификации акцентных кривых на продуктивные и непродуктивные должен предшествовать соответствующий диахронический анализ.

Наконец, в связи со сказанным выше следует остановиться и еще на одном спорном теоретическом вопросе. Исходя из положений, развитых в свое время А. А. Зализняком, автор в тех случаях, когда он имеет дело с акцентными характеристиками слов с неодинаковыми различительными возможностями ударения (ср., например, словоформы вин. падежа ед. числа *ночь, волну*), «приписывает» некоторым словоформам с неразличением ударения (например, *ночь*) ударение словоформ с различением ударения (*волна*). При всей принципиальной важности такого подхода нельзя не заметить, что конкретная интерпретация акцентуации словоформ с неразличением ударения (например, у существительных муж. рода акцентной кривой В) не может быть объяснена из самой системы, каким бы экономным, компактным и т. д. не представлялось такое объяснение, а может быть понята лишь из исторического анализа, с учетом конкретных языковых потребностей. С этой точки зрения нельзя безоговорочно согласиться с общим определением, данным автором в «Грамматике» (§ 1028), где словоформам с нулевой флексией «приписывается ударение дательного падежа того же числа». Нельзя не принимать во внимание, например, разнородность (качественную и количественную, историческую и структурную) имен муж. и жен. рода (ср. историческую продуктивность отношений *жук — жуки*, *-ам* и непродуктивность отношений *бахча — бахче — бахчам*), объединяемых в одну акцентную кривую В согласно указанному выше правилу. Справедливости ради нужно отметить, что и сам автор характеризует акцентную кривую В у имен жен. рода как непродуктивную (стр. 31), а о кривой В у имен муж. рода такого замечания не делает (ср. стр. 20).

К истории ударения страдательных причастий в прошедшем времени глаголов III класса, сб. «Вопросы грамматического строя русского языка», Казань, 1970.

Можно сделать и ряд замечаний по поводу отдельных частных недостатков книги. Ни в рецензируемой книге, ни в «Грамматике» (ср. § 1057 и 1071) не оговорены акцентные отношения типа *брáлься — бра-льсь — брали́сь* или *не́ дал — не да́л*. Их нужно описать. Вряд ли стоит рекомендовать *медведёй*, *-ям* как допустимый, а *скоблши́* как обязательный варианты. В данном случае (что обычно и делается автором) надо более обстоятельно и критически выверить источники. Разграничение ударения в причастиях (принадлежность к акцентной кривой В или С) нужно поставить в зависимость от наличия слога в суффиксе страдательных причастий прошедшего времени; это по существу и делается в работе, но в неявном виде. Не следует безоговорочно характеризовать русское ударение только как дина-

мическое и силовое. Экспериментальные данные ясно обнаруживают его количественный характер<sup>10</sup>. При повторном издании желательно снабдить книгу указателем терминов и именных указателем.

Т. Г. Хазагеров

<sup>10</sup> См.: Л. В. Златоустова, Фонетическая природа русского словесного ударения (на основе экспериментальных данных). АКД, Л., 1953; Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960, стр. 297; Л. Л. Буланин, Фонетика современного русского литературного языка, Л., 1971, стр. 162; Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, Л. П. Щербак о в, Об определении места ударения в слове, ИАН ОЛЯ, 1973, 2, стр. 143 и сл.

**А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. — Л., изд-во «Наука» ЛО, 1970. 204 стр.**

Монография А. М. Щербака принадлежит к числу наиболее значительных работ по тюркской фонетике, появившихся за последние десятилетия как в Советском Союзе, так и за рубежом. По объему, актуальности и сложности рассмотренных в рецензируемой книге вопросов, по детальности их освещения она является наиболее полным и обстоятельным исследованием среди всех фонетических работ, вышедших в послевоенные годы в области тюркологии.

Рецензируемая книга заключает в себе систематическое сравнительное описание фонетики современных тюркских языков с привлечением большого числа диалектных данных. Хотя весь этот материал привлечен автором для фактического обоснования реконструкции фонетического состава тюркского языка-основы и его дальнейшей эволюции, он имеет, однако, также и самостоятельное значение как систематизированный источник новейших сведений по основным разделам фонетики различных тюркских языков и по истории фонетических исследований в тюркском языкознании.

Именно этим обусловлен пропедевтический характер изложения большинства основных явлений, освещаемых в книге. Такая особенность изложения представляется оправданной как состоянием теоретической работы в области тюркской фонетики, так и соображениями учебно-методического порядка (если иметь в виду нужды высшей школы в тюркоязычных республиках и областях).

В рецензируемой книге намечена если и не программа, то во всяком случае совокупность существенных для тюркологии

фонетических проблем и тем, разработка которых должна внести много нового в различные отделы описательной и сравнительно-исторической фонетики тюркских языков, из которых последняя пока еще изучена слабо.

Монография имеет определенный и ясный замысел. Он состоит в том, чтобы, опираясь на имеющиеся в тюркском языкознании наблюдения, восстановить фонологическую систему общетюркского языка-основы и затем, снова вернувшись к нашему времени, проследить судьбы этой системы. Все, или почти все, в монографии подчинено этому замыслу.

Рецензируемая книга состоит из краткого «Предисловия» (стр. 3—4), «Сокращений» (стр. 5—8), «Введения» (стр. 9—25), где выражено отношение автора к алтайской гипотезе, обрисованы объект, цель и методы фонетического исследования, его материалы и источники, а также применяемая транскрипция. В гл. I «Фонология синхронных срезов» (стр. 26—142) рассмотрены элементарные фонологические единицы, причем поочередно дается анализ дифференциальных признаков гласных и согласных фонем (качественные и количественные признаки); в результате этого анализа реконструируются фонологические системы гласных и согласных фонем тюркского праязыка. В специальных разделах этой главы рассматриваются комплексные фонологические единицы (слог, слово, просодические явления), характеризуются фонологическая нагрузка тюркских звуков и просодических явлений и в заключение дается описание фонологической системы тюркского проязыка. В гл. II «Историческая фонетика»

(стр. 143—185) дается обзор фонетической эволюции сначала гласных, затем согласных (в том числе — протетических). Книгу включает гл. III «Диахроническая фонология» (стр. 186—192) и «Приложение» (стр. 193—202), включающее в себя «Список общетюркских односложных слов» и различные указатели.

Одним из достоинств книги является ее фундаментальность, которая распространяется на все элементы исследования, включая сюда и исходные лингвистические понятия, а также методы, которыми пользуется А. М. Щербак. Основным методом, который применяется в рецензируемой книге, является сравнительно-исторический. Более ограниченное использование ареального и типологического освещения исследуемых вопросов объясняется недостаточной разработанностью самих этих методов в тюркологии. В то же время можно согласиться с тем, что автор придает важное значение ареальным отношениям при сравнительно-историческом изучении тюркских языков, в частности, при историко-фонетических разысканиях.

Сильной стороной книги следует считать тщательную аргументированность выдвигаемых самим автором положений или разбора и оценки положений, уже предлагавшихся в науке. Это касается многих разделов исследования и, в частности, интересного и хорошо обоснованного подраздела о происхождении этимологических долгот в тюркских языках (стр. 122—138).

С первых же страниц исследование захватывает внимание читателя. Причин тому много. И одна из них — это сочетание богатства идей и теоретической строгости с обилием и богатством фактических данных, сочетание смелости мысли с исследовательской трезвостью и осторожностью.

Полноту, основательность и многосторонность освещения исследуемых в книге фонетических вопросов<sup>1</sup> можно показать хотя бы на примере подраздела об основах с этимологически долгими гласными в первом слоге. Списки основ с первичными долготами составлялись уже не раз, особенно в последние десятилетия. В монографии А. М. Щербака с большой тщательностью, нередко по крупницам, собраны факты этимологических долгот по всем тюркским языкам и по всем письменным памятникам, в результате чего специалисты в настоящее время могут пользоваться

наиболее полным списком тюркских лексических основ с первичной долготой (стр. 127—128, 130—131, 135—136). Пропуски слов в списке немногочисленны (отдельные примеры из старокыпчакских памятников, саларского, киргизского и некоторых других языков). Раздел, относящийся к доказательству существования первичных долгот в общетюркском языке-основе, — один из наиболее удачных по полноте материала и филигранности его обработки.

В большом обзоре всех попыток объяснения происхождения этимологических долгот в тюркских языках (стр. 122—129) свои критические соображения и доводы автор подкрепляет обширными материалами из области так называемых «распространенных» и простых основ, чувашско-туркменско-якутскими сопоставлениями форм одних и тех же слов, причем туркменским и якутским односложным основам, нередко с кратким гласным, соответствуют двухсложные чувашские основы. Отсюда делается вывод об отсутствии более или менее регулярных соответствий между чувашскими двусложными основами и односложными основами с долгим гласным в туркменском и якутском языках.

Осторожность и трезвость автора в подходе, например, к вопросу о двух типах *e* в составе реконструируемого им фонетического состояния тюркского языка-основы позволили ему отнестись существование двух типов *e* к ареальной особенности южнотюркских языков; для общетюркского вокализма восстанавливаются лишь краткий и долгий  $\bar{e}/\bar{e}$ .

Исследование построено на хорошо систематизированном материале большинства современных и древнейших тюркских языков. В частности, широко использованы результаты фонетико-экспериментальных работ по различным тюркским языкам, многочисленные диалектологические исследования и др. Автор не пропустил ничего существенного из имеющихся в тюркологии сведений, прямо или косвенно относящихся к фонетике конкретных тюркских языков.

В связи с этим уместно коснуться еще одного вопроса — роли материалов чувашского языка в сравнительно-тюркологических разысканиях. Чувашские данные в таких работах нередко предстают изолированными, не укладывающимися в рамки обще- или межтюркских законосообразностей.

А. М. Щербак не следует этой традиции, и многие фонетические черты чувашского языка в его книге получают обоснованную интерпретацию как проявление тенденций, свойственных ряду тюркских языков. Весьма внушительно само число наблюдений над чувашским языком, собранных в книге — многие из них, сделанные в разное время советскими и зарубежными тюркологами, автором провере-

<sup>1</sup> Заметим, что А. М. Щербак изучена большая литература по вопросам как общей, так и частной фонетики (не только тюркологическая, но финно-угроведческая, индоевропейская и др.), причем по ряду вопросов охват этой литературы носит исчерпывающий характер.

ны и проанализированы; ряд наблюдений выполнен самим автором.

Рецензируемая книга сохраняет тесную преемственность со всем, что было до настоящего времени добыто трудами тюркологов в сфере описательной и исторической фонетики тюркских языков, сохраняет верность проверенным обширным опытом советских языковедов представлениям и установкам в области фонетических исследований. Научное наследие, которым воспользовался А. М. Щербак, в ряде случаев оказалось обогащенным новыми фонетическими наблюдениями, накопившимися за последние десятилетия, главным образом, в советской тюркологии.

Обратимся к центральной теме рецензируемой монографии — реконструкции фонологической системы общетюркского языка-основы. Из всего хода изложения можно заключить, что реконструируемая картина фонетического строя общетюркского языка-основы отнесена автором ко времени, близкому к верхнему пределу эпохи общетюркского языка с его уже значительной диалектной филиацией. Фактические сведения о тюркских языках и их истории не дают пока оснований для фонетической реконструкции на более ранних стадиях.

Ценность реконструкции фонемного состава общетюркского языка (в книге она выводится как итог самой обширной гл. I «Фонология синхронных срезов», стр. 26—142), как и любой научной гипотезы, определяется степенью ее фактической обоснованности, способностью непротиворечиво объяснить эволюцию пратюркских фонем до их современного состояния в ареальных группах и отдельных языках.

В этом смысле построение А. М. Щербака, например, в области гласных, с фактической стороны более мотивировано, чем у ряда его предшественников, и вполне удовлетворительно объясняет некоторые факты отдельных тюркских языков (например, азербайджанского). Само собой разумеется, что на современной ступени историко-фонетических разработок по тюркским языкам предположение автора не единственно возможное и что могут быть сформулированы иные допущения.

Остается пока открытым важный и трудный вопрос о чередовании широких — узких гласных, которое пронизывает всю систему тюркского вокализма. Несмотря на аргументы автора, приводимые им в пользу эволюции слов с узким корневым гласным в тувинском языке из формы с широким гласным, вопрос, например, об *a ~ ы* пока далек от своего решения и допускает возможность иного направления поисков.

Сложна картина реконструируемого в книге пратюркского консонантизма. Если предполагаемые А. М. Щербаком оппозиции пратюркских гласных прослеживаются в целом ряде случаев в древних и во всех случаях в современных тюркских

языках, то такая, например, оппозиция согласных, как шумность — сонорность (стр. 85 и сл.) не имеет распространенного фонетического проявления в большинстве тюркских языков — в форме ли чередований, дублетных форм и др., а без этого реконструируемые фонологические отношения приобретают умозрительный характер. С фактической стороны названная оппозиция или не изучена (*k/ŋ*) или все еще дискуссионна (*s/š — r/l*), исторически едва обследована. Таким образом, для реконструкции оппозиции несонантность/сонантность как фонологически значимой для общетюркского языка-основы (стр. 106) предложенные основания недостаточны.

Недостаточны они, как нам представляется, и для восстановления \**ʃ* как архетипа *j*-, поскольку невозможно доказать что чувашский и якутский корреляты начального *j*-, т. е. *ś* и *s* (стр. 79), не вторичны в этих языках.

Во всяком случае для включения указанных характеристик в фонологическую систему пратюркского консонантизма доводов гораздо меньше, чем для принятия оппозиции глухие/звонкие (лучше: сильные/слабые) в качестве отдельной черты пратюркских согласных, поскольку фактическое проявление этой черты очевидно в древнейших памятниках — как в лексических основах (*as- — az-, kes- — kez-, aq- — aγ-, toq- — toγ-, oqlayū «круглый» — oylayū «нежный», ata «отец» — ada «бедствие»* и ряд других), так и в аффиксах, которые, конечно, уже существовали в языке-основе [ср. в старейших текстах словообразовательные аффиксы *-(a)γ — -(a)q, -liq — liγ* и др.]. Однако данную оппозицию автор не включил в свою схему пратюркского консонантизма.

Помимо реконструкции, в рецензируемой монографии можно найти много новых наблюдений, относящихся к более общим или частным вопросам. Из многочисленных разработок можно указать, например, на выясненные А. М. Щербаком условия разграничения *ä — ɛ* в заимствованиях в азербайджанском, уйгурском и других языках (стр. 153), весь раздел о размещении фарингализованных гласных (стр. 42—47) и др.

Новые важные наблюдения проведены автором в области вокализма неодносложного слова (стр. 59—76), особенно в первых слогах. Эта тема, которой мало занимаются за рубежом<sup>2</sup>, в Советском

<sup>2</sup> Во всяком случае после содержательной работы Г. Бергштроссера на материале стамбульской речи турецкой интеллигенции (G. Bergsträsser, Zur Phonetik des Türkischen nach gebildeter Konstantinopler Aussprache, ZDMG, 72, 1918; турецкий перевод: G. Bergsträsser, Türk fonetiği, İstanbul, 1936) аналогичных исследований не появлялось — может быть, за исключением кн.: В. С. О-

Союзе вновь начинает разрабатываться, по традиции — в фонетико-экспериментальном плане.

Много свежих и плодотворных мыслей можно найти в книге по дискуссионному вопросу о ротацизме и ламбдаизме в чувашском языке (стр. 84—88). Присовокупляя к фактам чувашского языка спорадические проявления остатков ротацизма и ламбдаизма в других тюркских языках (стр. 87—88), А. М. Щербак приходит к правильному выводу о значительной древности (но не исконности) самого явления.

Совершенно новым является в монографии подраздел о слоге (стр. 107—110), где отражены идеи о строении слога, высказывавшиеся в специальной литературе последних лет, и показана их плодотворность. Пока это только начало изучения слога в тюркских языках с новых теоретических позиций, более основательная и углубленная работа тюркологам еще предстоит.

Представляется плодотворной идея автора о том, что «палатальная гармония гласных, по-видимому, развилась на основе слогового сингармонизма...» (стр. 121); в результате преобразования гармонии звуков в гармонию слогов функция разграничения слов приобретает для последней основополагающую значимость (стр. 122). К подобной идее на другом материале пришел еще раньше чувашевед В. И. Котлеев<sup>3</sup>.

Гл. II «Историческая фонетика» (стр. 143—179) посвящена описанию исторической эволюции пратюркской фонологической системы и анализу результатов этой эволюции.

В настоящее время тюркология не в состоянии воспроизвести в деталях фонетическую историю, последовательную эволюцию (или хотя бы основные направления развития) фонологической системы языка-основы, взятой в целом, а также отдельных ее единиц. Все это откладывается пока на будущее. Заслуживает внимания поэтому попытка автора восстановить в общих чертах ход исторического развития отдельных звуков. В гл. II дается подробный обзор существующих взглядов на эти процессы; автор излагает собственные представления на этот счет, пытаясь в то же время выяснить роль внесистемных факторов в фонетической эволюции тюркских языков; намечает определенные этапы в развитии тех или иных звуков и т. д. В главе много интересного, много творческой инициативы, насыщенности фактами, т. е. всего того, что будит

исследовательскую мысль. При всех несомненных достоинствах гл. II можно заметить, что ее последняя часть местами носит фрагментарный или беглый характер.

О значении работы А. М. Щербака и интересе к ней можно судить, между прочим, и по рецензиям, которые появились в Советском Союзе и за рубежом и в которых подняты принципиальные и методические вопросы историко-тюркологических исследований, заслуживающие специального рассмотрения.

В рецензии Р. Г. Ахметьянова<sup>4</sup>, например, предпринята новая попытка доказательств фонетической эволюции  $p \rightarrow s$  ( $\delta, c$ ), для чего используются специально сформулированные три методических правила, а также принцип большей распространенности форм с  $-p$ , чем с  $-s$ . Согласно основному из этих методических правил, фонетические инновации всегда проявляются в более узкой области (в пространственном, временном, внутриязыковом смысле), чем предшествующее, «базисное состояние» звука. Но поскольку явление ротацизма наблюдается более всего в ауслауте лексических основ неясного морфемного состава, то именно формы с  $-p$ , имеющиеся только в чувашском и болгарском языках, образуют узкую область, тогда как подавляющая часть тюркских языков имеет соответствующие формы на  $-s$ . Таким образом, факты идут вразрез с замыслом Р. Г. Ахметьянова, как, впрочем, и некоторые его примеры, призванные подтвердить эволюцию  $p \rightarrow s$ <sup>5</sup>.

<sup>4</sup> «Советская тюркология», 1970, 5. См. также рец. О. Сулейменова в газ. «Қазақ әдебиеті», № 13 (1103) от 24 III 72.

<sup>5</sup> Таковы примеры, приводимые в рец. Р. Г. Ахметьянова на стр. 126:  $\frac{азы(э)}{ааа(е)}$  и т. д. «клык» от глагола *азы(аза-)* «разжевывать еду/пищу»  $\vdash -z/-v$ ; *казан/казган* — общетюркская форма (кроме чуваш. *хуран*); *кызыл* — общетюркская форма; татар. диалектн. *бузарлан* «есть по горло» — вторичная форма, но более первичное *бугаз* «горло»; ср. также татар. *бирчай* «покрыться мозолями», но *биз* «мозоль», татар. *кайыры* «кора дерева», но *кайыз* «обделанная кора»; *көж(у)рек* «грудь», но межтюрк. *көкүз*, общетюрк. *тирсек* «локоть», но *тиз*; татар. *умрау* «ключица», но огуз. *омуз*. Не следует смешивать производные с аффиксами *-ураг* (*-ур-* — глагольный показатель) и *-уз* (именной показатель). Заметим также, что *-(и)з* в *игиз* «двойня» — показатель двойственности (или: коллективности) и к *йигирми* «двадцать» отношения не имеет; межтюрк. *сер-* «ощупывать» и *сез-* «чувствовать» не гомогенны; *балдырган* «молодой; неопытный» к *балдыз* «свояченица» не имеет прямого отношения — так же, как

I i n d e r, Reichstürkische Lautstudien, Uppsala — Leipzig, 1939 (см. рецензии: J. V e n z i n g, OLZ, XLIV, 1941; H. W. D u d a, ZDMG, 94 [N. F. 19], 1940).

<sup>3</sup> В. И. К о т л е в, Чувашский вокализм в сравнительном освещении. АКД, М., 1966.

Как видим, методические правила Р. Г. Ахметьянова в таком виде оказались недостаточными для исторического анализа ротацизма — тем более, здесь следует учитывать, что новая фаза в фонетическом развитии (инновация), часто ограниченная в своем распространении на первых порах, в дальнейшем может охватить всю относящуюся к ней область и вызвать к жизни новые внутрисистемные отношения, как это неоднократно наблюдалось в истории тюркских языков. Таков, например, переход  $-e/-\varepsilon > -\ddot{u}/-\ddot{y}$  в турецком, азербайджанском, во многих кыпчакских языках, который начался не позднее XIII в.<sup>6</sup>;  $-(a)\varepsilon > -(a)\varepsilon$  в туркменском и турецких диалектах;  $-\varepsilon/-\varepsilon > -e/-e$ ,  $-\varepsilon/-\varepsilon > -\ddot{u}/-\ddot{y}$  в кыпчакских и огузских языках.

Более обширен круг принципиальных (методологических) и методических вопросов, поставленных в рецензии Г. Дёрфера<sup>7</sup>.

Накопленные на сегодня наблюдения по конкретным тюркским языкам, особенно — по их ареальным объединениям, не позволяют пока в отношении ряда важнейших фонетических явлений сформулировать точные правила их функционирования в конкретных языках. Это относится, в частности, к сложному и нуждающемуся в основательной разработке явлению губной гармонии гласных, которая, например, в казахском языке, согласно одним источникам, распространяется и на широкие гласные переднего ряда во втором и третьем слогах<sup>8</sup>, согласно другим источникам — «... в современном литературном казахском языке губная гармония гласных не играет сколько-нибудь замет-

ной роли»<sup>9</sup>. Решения этого вопроса мы не находим и в специальном исследовании, посвященном фонетическим вариантам слов в казахском языке<sup>10</sup>. Столь же противоречивы сведения о широких губных гласных в туркменском языке. По одним источникам огубление широких гласных в непервых слогах не наблюдается<sup>11</sup>, по другим оно, наоборот, обычно для литературного языка и некоторых диалектов и легко улавливается при слуховом наблюдении<sup>12</sup>. Поэтому группировать тюркские языки по состоянию в них прогрессивной губной гармонии (как это в свое время пытался делать В. А. Богордицкий) сегодня было бы преждевременно, поскольку не осуществлены необходимые предварительные уточнения, а для отдельных тюркских языков отсутствуют и непосредственные наблюдения.

Другой пример. В тюркологии издавна вызывает живой интерес вопрос о распределении начальных смычных согласных в ареальных группировках и отдельных языках. В последние десятилетия наряду с традиционной точкой зрения о первичности начальных глухих и вторичности звонких смычных (кроме б-) была выдвинута другая точка зрения, в соответствии с которой начальные звонкий и глухой смычный, например, в юго-западных языках восходят к пратюркскому состоянию, в котором \*д- и \*м- фонологически различались.

При этом оставляют без внимания тот факт, что глухость и звонкость начальных смычных во многих случаях является вторичной. Уже давно говорилось в тюркологии (и в подтверждение этому можно вновь привести множество фактов) о существовании в юго-западных языках устойчивой тенденции к оглушению звонких начальных смычных. Эта тенденция обнаруживается при простом сравнении форм лексических основ в современных юго-западных языках, их памятниках и диалектах или же при сравнении их с исходными формами основ, заимствованных из других языков в относительно недавнее время. Ср., например, в туркменском: с т- — таина < даина «теленки», тай-ак < дайак «палка», терпен- < депрен- «шевелиться», тикен < дикен «колючка», тик- < дик- «шить», тошан < дашан «заяц», тоган < доган «девятиноста»,

<sup>9</sup> «Современный казахский язык. Фонетика и морфология», Алма-Ата, 1962, стр. 100.

<sup>10</sup> С. Б. Бизаков, Фонетические варианты слов в современном казахском языке. АКД, Алма-Ата, 1972, стр. 13—15, 19, 21 и др.

<sup>11</sup> «Грамматика туркменского языка», ч. I — Фонетика и морфология, Ашхабад, 1970, стр. 56—57.

<sup>12</sup> Ж. Амансарыев, Туркмен диалектологиясы. I, Ашгабат, 1970, стр. 162.

межтюрк. бурчи- «беспокоить» к буз- «испортить»; наконец, именной привативный аффикс *сыз* и отрицательный показатель тюркского аориста *-маз* не коррелятивны, и все их элементы, включая *-з*, гетерогенны.

<sup>6</sup> См., например: M. Th. Noutsma, Ein türkisch-arabisches Glossar, Leiden, 1894; A. Caferoğlu, Abû Nuayân, Kitab al Idrâk li-lisânal-Atrâk, İstanbul, 1931; A. Vombasi, «La Regola del parlare Turcho» di Filippo Argenti, Napoli, 1938.

<sup>7</sup> G. Doerfer, Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre, «Orientalistische Literaturzeitung», 66, 7/8, 1971. Наши замечания по поводу рецензии Г. Дёрфера см. в нашей статье «К источникам и методам пратюркских реконструкций» (ВЯ, 1973, 2). Из других рецензий см.: N. Poppé, «Linguistics an international review», 100, 1973, стр. 96—101.

<sup>8</sup> А. Джунисбеков, Гласные казахского языка (экспериментально-фонетическое исследование). АКД, Алма-Ата, 1969, стр. 26.

тур- < дур- «вставать»; с п- — *палма* < < балта «топор», *палчык* < *балчык* «глина», *па:ч* < *ба:ж* | ист. «дань», *пи:л* < < *би:л* «лопата», *полат* < *болат* «сталь», *по:са* < перс. *бу:сэ* «поцелуй»,

*пу:да* < *бу:да* «пасынокать», *пытра* < *бытыра* «дробиться», *пычак* < *бычак* «нож». Ср. также заимствования в турецком из персидского, французского, испанского и др.: *пазар* < *bāzār* «рынок», *пататес* < *bata-t-es* «картофель», *поураз* < < *boreos* «северный ветер», *потин* < *bottine* «ботинки», *ках* < *gāh* «иногда», *патиска* < < *batiste* «батист», *калош* < *galoch* «галопши», *кангрэн* < *gangrène* «гангрена». Можно было бы привести данные азербайджанского языка, где случаев оглушения начальных звонких смычных не меньше (если не больше), чем в турецком, а также данные других тюркских языков (некоторые примеры приведены в рецензируемой книге — см. стр. 91—94).

Ясно, таким образом, что без более углубленного, чем это делалось прежде, изучения различных лексических прослоек<sup>13</sup> в юго-западных (и других) языках и без их разграничения невозможно решить в историческом разрезе вопрос о глухости — звонкости начальных смычных в тюркских языках (в частности, в кумыкском и крымско-татарском).

Заметим попутно, что лексических основ (тех же или разных, это дела не меняет) с начальным глухим смычным в юго-западных языках едва ли меньше (или: немногим меньше), чем основ с начальным звонким смычным. Объяснить этот факт смещением диалектов (стр. 19) можно, только отказавшись от понятия фонетической системы «языка».

Приведенные выше факты из области губной гармонии гласных и глухости — звонкости начальных смычных в рецензируемой книге не учтены или учтены крайне недостаточно.

Еще один пример. В рецензируемой книге указано, что в юго-западных языках при наращении основ аффиксами, имеющими гласную в аялауте, глухие *n*, *m*, *k* озвончаются в односложной основе при условии, если гласный в ней долгий, и при любом гласном в последнем слоге неодносложной основы (стр. 102). Однако несколькими строками ниже уже говорится, что в заимствованиях и некоторых собственно тюркских словах «... независимо от того, какое количество слогов они включают в себя, озвончение *k* и *m* обычно не происходит» (там же).

Фактически картина озвончения глухих *n*, *m*, *k* (и, добавим от себя, *ч*) много сложнее. Так, конечные *-k* в неодносложных словах тюркского корня при аффиксации,

как известно, регулярно озвончаются во всех огузских языках — туркменском, турецком, азербайджанском, а в туркменском также и в заимствованиях. В турецком конечный *-k* в заимствованиях, если он глухой в языке-источнике, при аффиксации основы не озвончается. Примеры для этого случая общеизвестны: ср. *идрак* — *-ki* (араб.) «постижение», *аһләк* — *-ki* (араб.) «нравственность», *афак* — *-ki* (араб.) «горизонты», *емләк* — *-ki* (араб.) «имущество», *ерзак* — *-ki* (араб.) «продовольствие» и т. д.

Конечный *-m* в основах тюркского корня во всех трех названных языках может или озвончаться или оставаться глухим: ср. туркм. *айгым* — *-ты* «ясность», но *айрым* — *-ды* «развилка», *алымт* — *-ды* «взятка» и др.; турецк. *булут* — *-ту* «облако, туча», *якит* — *-ти* «горючее», но *гецит* — *-ди* «проход», *токат* — *-ди* «помещина», *югүрт* — *-ди* «кислое молоко» и т. п. Такое же положение наблюдается и в азербайджанском.

В заимствованиях при их аффиксации конечный *-m*, оказавшись в интервокальном положении, как правило, сохраняет глухость (в туркменском временами даже после долгого гласного), если он был глухим в языке-источнике, но озвончается, если в языке-источнике он был звонким. Сохраняется глухость *-m* в интервокальном положении, в частности, в словообразовательном показателе женского рода *-am* в арабских заимствованиях. Примеры: туркм. *хайят* *-m* — *-ты* (араб.) «жизнь», *а:дат* — *-ты* (араб.) «обычай», *анайат* — *-ты* (араб.) «помощь»; ср. *армыт* — *-ды* (перс.) «груша», *а:мат* — *-ды* (араб.) «подходящий момент» и др. Аналогично — в турецком и азербайджанском. Сказанное о конечном *-m* в общем можно распространить также на *-n* и *-ч*.

Таким образом, и здесь очевидно, что явление озвончения глухих согласных нуждается еще в дополнительных исследованиях, и с уверенностью предложить достоверные схемы их озвончения/неозвончения пока нельзя.

В современных тюркских языках, пишет автор, «... почти все конечные звонкие вторичны и восходят к глухим» (стр. 95). На деле в разных тюркских языках представлены как весьма старые, так и новые формы слов с конечным звонким согласным. О древности морфологических *-э*, *-э* и, вероятно, *-д* в целом ряде основ вообще нет смысла спорить, поскольку названные конечные звонкие следуют после кратких гласных.

Едва ли есть основания расширять понятие умлаута путем включения сюда других случаев регрессивной ассимиляции гласных (стр. 64—65): губной ассимиляции, хорошо прослеживаемой в старейших тюркоязычных памятниках, когда под влиянием закрытого губного гласного аффикса огубляется негубной открытый гласный в двухсложных основах, и ас-

<sup>13</sup> В частности, необходимо учитывать и случаи, в которых нельзя категорически исключать действия регрессивной дистантной ассимиляции по глухости, на что указывал в последнее время Г. Дёрфер.

симилиации по подъему, когда под влиянием закрытого гласного аффикса сужается открытый гласный первого слога в двухсложных словах. Обе разновидности ассимиляции имеют разные источники и разную природу, отличную от умлаута.

Редукция узких гласных (стр. 62 и сл.), их оглушение, сужение широкого гласного, наблюдаемые в неодносложных словах, хорошо известны и в односложных основах; ср.: крым.-тат. *kir* «грязь» и *kır* «входи», *tıŋ* «сон» и *tıŋ* «сходи (с повозки, поезда, лошади и т. п.)».

Могут вызвать недоумение термины «карлукский», «карлукско-уйгурские» языки: вряд ли кому удалось бы сегодня хотя бы в самых общих чертах охарактеризовать, например, «карлукский язык» и, тем более — группу «карлукских языков». В списке древних языков пропущены староазербайджанский, староқыпчакские, хотя приведен старотурецкий. Ссылки на высказанные в тюркологии взгляды об исходном составе тюркского слога (стр. 109—110) можно было бы дополнить важным для вопроса изложением точки зрения В. Котвича.

Некоторые неточности. Азерб. *k-* (орфограф. *ç-*) — не щелевой (как это зафиксировано на стр. 94, 127, 137 и сл.), а смычный согласный, что уже выяснено экспериментальным путем. Азербайджанские слова с велярной огласовкой в ауслaute

имеют не *i*, а *ı* (стр. 96—97). На стр. 56 (см. также стр. 60—61, 68—69, 86—87 и сл.) приведены туркменские формы: *çaj-*, *çān*, *çār-*, *çash* и др. Однако в туркменском *ç-* в анлауте не бывает<sup>14</sup>. Начальный туркм. орфогр. *ç* = звонкому *ç*<sup>2</sup>.

Книга А. М. Щербака точно отражает состояние современной тюркской фонетической дисциплины, убедительно свидетельствуя, на какие вопросы относительно фонетического строя тюркских языков сегодня можно получить достаточно обоснованный ответ и на какие вопросы ответ пока отсутствует или недостаточно обоснован.

Некоторые из вопросов второго рода были проиллюстрированы изложенными выше замечаниями, которые имеют целью привлечь внимание специалистов к недостаточно обследованным фонетическим явлениям в тюркских языках, природа, закономерности и границы которых могут быть выяснены лишь при изучении их с тем охватом, глубиной и тщательностью, с какими удалось А. М. Щербаку проанализировать многие вопросы в его ценной книге «Сравнительная фонетика тюркских языков».

Э. В. Севортян

<sup>14</sup> «Грамматика туркменского языка», стр. 54 (2. б).

**Г. Г. Почепцов. Конструктивный анализ структуры предложения.** — Киев, «Вища школа», 1971. 191 стр.

Рецензируемая работа состоит из предисловия, трех глав, заключения и списка использованной литературы и источников примеров. В первой главе дается критический разбор современных теорий анализа предложения. Во второй главе читатель найдет общие принципы предлагаемого Г. Г. Почепцовым метода конструктивного членения предложения, а в третьей, основной, описывается структура простого предложения современного английского языка в рамках предложенной теории.

Автор ставит своей задачей дать исчерпывающее описание простого предложения. Для этого предлагается система из 39 баз ядерных предложений (стр. 87—108), состоящих преимущественно из полнозначного глагола-сказуемого в его данном лексико-грамматическом значении и обязательного окружения. Некоторые члены баз также в обязательном порядке связаны с другими элементами, входящими в ядерные предложения (стр. 111—113). Затем предлагается серия синтаксических процессов,

распространяющих само ядро или уже распространенные члены предложения (стр. 113—171). В этой части модели простого предложения автор предлагает новые, довольно прозрачные и удачные термины. Синтаксические процессы — это *р а с ш и р е н и е*, охватывающее сочинительные и пояснительно-уточнительные связи; *у с л о ж е н и е*, которое покрывает различные виды довольно широко понимаемого составного глагольного сказуемого, полупредикативные построения (например, объективно-предикативный член), а также сочетания количественного числительного с существительным; *с о в м е щ е н и е*, в рамках которого очень удачно описывается так называемое двойное сказуемое (*Voltaire left France, a poet*); *р а з в е р т ы в а н и е*, соответствующее большинству сочетаний с традиционными атрибутивными, объектными и адвербиальными связями; *п р и с о е д и н е н и е*, или модификация с помощью частицы; и, наконец, *в к л ю ч е н и е*, иными словами, довольно широко понимаемая вводность. Кроме того, упоминаются такие языко-

вые явления, как замещение, репрезентация и опущение (т. е. эллипсис).

Эта тройная иерархия описания (по сути дела, двойная, так как первые две ступени обычно совпадают) представляет собой достаточно гибкую, простую и полную систему, способную служить целям анализа преобладающего большинства английских простых предложений. В то же время следует подчеркнуть, что конструктивный синтаксис, в отличие от традиционного, имеет порождающую, а не анализирующую направленность. В основе теории лежит понимание языка как лингвистической способности к порождению и распознаванию отмеченных предложений. Ядра составляют структурный костяк предложения, предопределяемый системой самого языка. Они могут быть исчерпывающе описаны. Расширения каркаса зависят от коммуникативных задач предложения, от воли говорящего (пишущего), от потребностей конструкции. Они не являются обязательными, а поэтому описание самих расширений целесообразно заменить изложением синтаксических процессов, приводящих к их образованию.

Нам представляется, что конструктивный анализ структуры предложения Г. Г. Почепцова может стать удачной и экономной системой анализа или синтеза английского текста и обслуживать самые разные теоретические задания и практические потребности, если: а) привести различные компоненты предложения — придаточные предложения, инфинитивные, герундиальные и причастные обороты и т. д. — к простому предложению, а также установить способы соединения этих компонентов; б) составить алфавитный список всех английских глаголов, вернее, их лексико-грамматических значений с указанием номера ядерного предложения, к которому они относятся в активе и в пассиве; в) составить наиболее подробный перечень всех возможных переходных и промежуточных случаев между отдельными ядрами и различными расширениями. После этого можно будет дать окончательную оценку этой оригинальной, интересной и многообещающей теории.

Такой многоаспектный объект, как язык, допускает множество правильных теорий. Их релевантность во многом зависит от того, насколько существенный признак положен в основу всей концепции. Для Г. Г. Почепцова это анализ по членам предложения с учетом конструктивной значимости каждого элемента (стр. 6). Член предложения — это базисная синтаксическая единица, которая обеспечивает сведение всего многообразия предложений, реализованных, реализуемых и потенциально возможных в речи, к определенным комбинациям некоторого конечного числа единиц (стр. 24).

Для того чтобы показать применимость, так сказать, «жизненность» своей теории, Г. Г. Почепцов строит ее на конкретном материале современного (XIX—XX вв.) английского языка художественных произведений. Исходной членом и о й единицей анализа, т. е. тем объектом, с которого начинается процедура анализа, служит простое повествовательное предложение (стр. 8). Таким образом, по материалу и содержанию рецензируемая книга совпадает со «Структурой простого предложения в современном английском языке» Л. С. Бархударова, но отличается нацеленностью по оси частного / общего языкознания. Л. С. Бархударов описывает строй английского языка с открытой возможностью распространения своих выводов на другие языки, а Г. Г. Почепцов предлагает общелингвистическую теорию, иллюстрируемую на конкретном языке. Обоих авторов сближает глубокое уважение к классическому и отечественному языкознанию, скрупулезность в использовании всех достижений своих предшественников и привлечение последних достижений лингвистической науки.

Определяющей при установлении ядер предложения для Г. Г. Почепцова является синтагматическая классификация глагола; поэтому только недостатком места можно объяснить тот факт, что эта классификация не описывается подробно, а приводится в виде списка, и не в основном тексте, а в сноске (стр. 74—75). Разряды классификации выводятся из четырех элементарных видов направленности глагола: объектной (прямой и предложнопереходной), адресатной, обстоятельственной (пространственной, временной, качественной, целевой) и нулевой (в ненаправленных глаголах). Направленность глагола представляет собой семантическую характеристику, тесно связанную с правой сочетаемостью глагола в терминах второстепенных членов предложения. Поскольку правая сочетаемость глагола имеет много индивидуальных черт, которые могут к тому же меняться в зависимости от стиля и жанра, территориальных и исторических особенностей и даже склонностей автора, дистрибутивно-семантическая классификация глагола представляет собой задачу огромной трудности.

Не все ядерные предложения кажутся нам убедительными. В ряде ядер, с нашей точки зрения, можно отбросить дополнение или обстоятельство, например, в ядрах № 7, 8, 15, 20, 22, 33 и др. Приведем некоторые иллюстрации из книги, выделив члены предложения, которые можно устранить: *He would be there tonight; They won't keep you long here; In all this the Board has agreed with me; She pushed it over the table to me.*

Г. Г. Почепцов неоднократно подчер-

кивает, что ядерные структуры отражают не глубинные, а поверхностные связи глагола-сказуемого. Ядра с одним и тем же типом глагола в активе и в пассиве асимметричны, так как правое окружение в действительном залоге сложнее, чем в страдательном. Например, ядро № 27 с глаголом-сказуемым в пассиве соответствует № 3, 4 и 7 с активным глаголом; № 29 и 30 с глаголом-сказуемым в пассиве (*All has been told me about it*; *I have been told all about it*) — № 9 с глаголом в активе (*She has told me all about it*). Асимметричная система ядер неудобна в учебных и других практических целях; она вряд ли релевантна при изучении психолингвистического механизма речетворчества, но она экономна при анализе и синтезе предложения.

В каждой теории есть свои «узкие места». Они обусловлены тем, что конечная система накладывается на беспредельный материал, в котором каждая грань «размывается» серией спорных, двузачных употреблений. Поэтому любая теория несовершенна и требует постоянного углубления и частичной перестройки по мере совершенствования. Перечислим некоторые вопросы, в которых, с нашей точки зрения, необходимо уточнение в рецензируемой книге.

Система ядерных предложений представляется собой 39 инвариантов, включающих множество вариантов, некоторые из которых специально выделяются в книге, например, в ядрах № 1, 3, 27, 28, 31. Однако мы не находим четких критериев разграничения вариантов и инвариантов. Построения типа *There is a book* относятся к ядру № 37, а *Here is the book* — к № 38. Г. Г. Почепцов обосновывает это различие в содержании и в детерминативах имени (стр. 103—104). Однако автор видит и общее в этих моделях. Мы думаем, что они объединяются в первую очередь тем, что служат для введения подлежащего как коммуникативного центра высказывания<sup>1</sup>. Если эти предложения относятся к разным ядерным каркасам, то почему не разграничить *They smoked* и *It was raining*, которые считаются вариантами ядра № 1, или варианты ядра № 36: *He was asleep* и *It's two o'clock*?

Большинство глаголов имеет не одно, а несколько лексико-грамматических значений, которые реализуются их окружением, например, *Amazement filled his face* — ядро № 2, *They filled the room with tables* — ядро № 8 (стр. 98). Но глаголы могут употребляться и абсолютно; и тогда иная дистрибуция ничего не говорит об иной синтаксической семантике глагола. Очевидно, первоочередной задачей конструктивного синтаксиса яв-

ляется определение сущности и пределов абсолютного употребления, при котором «обязательные элементы могут опускаться, оставаясь в кругу мысли говорящего и слушающего» (стр. 72—73).

Не меньше трудностей возникает при отнесении тех или иных компонентов к ядерному каркасу или к его распространению. Например, длительный вид или перфектная форма глагола не влияют на синтаксические особенности, а модальные глаголы *can, may, must* рассматриваются как усложнение сказуемого. Очевидно, необходимо обосновать статус *shall, will, to be going*, которые некоторые ученые относят к модальным глаголам, а другие включают в глагольную парадигму. То же касается детерминативов существительного. Судя по иллюстрациям, приведенным в книге, артикли и притяжательные местоимения относятся к ядру (см., например, стр. 97, 98, 99). А куда отнести детерминативы *this, some, no* и др.? Необходимо уточнить грань между детерминативом и определением, которое квалифицируется как один из видов развертывания.

Следующим общим замечанием к рецензируемой работе является недостаточная доказательность некоторых ее положений.

Недостаточно убедительно обосновано расчленение активной и соответствующей пассивной конструкций на разные ядерные предложения. Психолингвистические опыты в пользу самостоятельности пассива в процессе речетворчества опровергаются противоположными показаниями других экспериментов<sup>2</sup>. Соображения удобства и экономии (некоторые активные и пассивные конструкции не имеют противоположного соответствия) должны рассматриваться всесторонне. Вряд ли удобно удвоение количества ядерных каркасов, имеющих одинаковое значение глагола и сходное окружение. Наиболее существенным доводом в пользу выделения пассивных построений в отдельные ядра мы считаем то, что Г. Г. Почепцов анализирует не глубинные, а поверхностные структуры. Но тогда неясно, почему «утвердительность: отрицательность, вопросительность: невопросительность» и другие оппозиции, затрагивающие поверхностные структуры, не конституируют новые ядерные предложения.

Очевидно, примеры *Lost dogs are dreadful to think about*; *She was good to look at* (стр. 149) нельзя отнести к усложнению сказуемого, так как по определению «усложнения инфинитив или герундий в

<sup>1</sup> В этом отношении к ним примыкает и предложение *Now comes the time*, которое представляет ядро № 11.

<sup>2</sup> Ср., например: H. S. Savin, E. Perchonock, *Grammatical structure and the immediate recall of English sentences*, «Journal of verbal learning and verbal behaviour», 4, 5, 1965.

не<sup>7</sup> должны выражать процесс, соотношенный с субъектом, заключенным в подлежащем (стр. 132), а в приведенных примерах подлежащее служит объектом процесса, заключенного в инфинитиве.

Мы согласны с той высокой оценкой, которую Г. Г. Почепцов дает трансформационному методу как новой ступени в развитии синтаксиса (стр. 31—32). И не случайно отдельные положения трансформационной теории и нацеленность на синтез проходят через всю книгу. Автор упоминает два подхода к трансформации: З. Харриса и раннего Н. Хомского, но не учитывает последних работ школы Н. Хомского, в которых трансформация трактуется как соотношение поверхностных конструкций и глубинных структур разной глубины, несущих полную информацию как плана выражения, так и плана содержания<sup>3</sup>. Иными словами, конструкции, которые именуется глубинными структурами и из которых генерируются путем трансформаций реальные языковые цепочки, должны объяснять все особенности этих цепочек. В рецензируемой книге, как во многих других языковедческих работах, трансформация понимается просто как преобразование, которое манифестирует связи любого рода между конструкциями. Трансформация, согласно автору, — это изменение смысла и набора грамматических морфем при сохранении морфем лексических: *They smoked* ↔ *Their smoking* (стр. 87), преобразование повествовательного предложения в вопросительное и побудительное (стр. 109), *A boy came* ↔ *There came a boy* (стр. 87). Трансформация — это преобразование с сохранением лексических морфем и основного значения, но с изменением грамматической конструкции, например, *He was certain to come* ↔ *His coming was certain* ↔ *It was certain that he would come* (стр. 147); соотношение актива с пассивом и пр. Трансформация — это преобразование с сохранением значения, но с изменением лексических морфем и конструктивных особенностей, например, *He was exhausted by her outburst* ↔ *Her outburst was the cause of his exhaustion* (стр. 94); *He affected to read the slip* ↔ *He did not read the slip* (стр. 140). И, наконец, трансформация — это изменение смысла при прибавлении или исключении лексических морфем, например, *They drive* ↔ *They can drive*; *They laugh* ↔ *They began to laugh* (стр. 132); *I tried to formulate* ↔ *I formulated* (стр. 140).

<sup>3</sup> J. J. Katz, J. A. Fodor, *The structure of a semantic theory*, «Language», 39, 2, 1963; Р. Ружичка, *О понятии «заимствованный синтаксис» в свете теории трансформационной грамматики*, ВЯ, 1966, 4; J. J. Katz, P. M. Postal, *An integrated theory of linguistic description*, Cambridge (Mass.), 1967.

Очевидно, необходимо уточнить понимание трансформации, если мы хотим положить ее в основу синтаксической теории или широко использовать ее как вспомогательный метод. При этом можно разграничить трансформацию как таковую и различные преобразования, которые удобны как эксплицированное средство указания на связи в планах выражения и содержания.

Необходимо внести ясность в понятие расширения. Оно включает два вида распространения ядерного каркаса: аддицию и спецификацию. Спецификация известна в синтаксисе как пояснительная или уточнительная связь, а аддиция — это традиционное сочинение. Г. Г. Почепцов пишет, что расширение не совпадает с понятием однородных членов предложения, так как включает ряд разноструктурных сказуемых с одним подлежащим (стр. 119) или, добавим, ряд неоднородных определений к одному имени. Но тогда неясно замечание автора о том, что серия элементов, связанная отношением расширения, может рассматриваться как единый член предложения и что все эти элементы должны иметь общий синтаксический статус и связь. Мы полагаем, что расширение конструируется соподчинением двух элементов третьему при одинаковом характере подчинительной связи. Различие аддиции и спецификации основывается на референтной соотносительности соподчиненных членов. При спецификации референты частично (а изредка и полностью) совпадают. Поэтому мы не согласны с мнением Г. Г. Почепцова, что между поясняющим и поясняемым наличествуют и смысловая, и синтаксическая связи (стр. 127). Связь между ними только смысловая. В этом легко убедиться, исключив один из этих элементов. Конструкция при этом не нарушится.

В синтаксическом процессе усложнения объединяются соотношение простого и составного сказуемого (*I read — I can read*), дополнения и объектно-предикативного сочетания (*I saw him — I saw him run*) и, наконец, имени и сочетания количественного числительного с именем (*books — seven books*). Но все эти процессы различаются между собой. В первом из них усложняющий элемент служит для связи усложняемой части с предложением, а в остальных усложняющий элемент сам подсоединяется к усложняемому. В первом и третьем из них любой усложненный член можно свернуть до несложненного, а в объектно-предикативном члене это не всегда возможно, см. пример из книги: *Mary let a sigh escape her — \*Mary let a sigh* (стр. 155—156). Вышеописанные различия разрушают единство синтаксического процесса, который именуется усложнением. Мы считаем, что в усложнение нельзя включать полупредикативные

конструкции. Их основной особенностью является то, что они строятся с помощью ядерного каркаса и тех же синтаксических процессов, что и простое предложение. Поэтому при анализе их следует вычленять в первую очередь и в дальнейшем анализировать как простое предложение с учетом особенностей в выражении подлежащего и сказуемого; а при синтезе их следует связать с предложением на последнем шаге порождения предложения. Для этого следует разработать еще один, совершенно новый раздел анализа предложения — «сочленение», в котором должны рассматриваться различные виды связи предикативных и полупредикативных единиц.

Замещение и репрезентацию (стр. 170) следует связать с местоименностью в широком смысле слова. Местоимения и местоименные наречия соотносятся непосредственно с денотатом, и поэтому могут употребляться без упоминания о референте другими средствами. Что касается слов-заместителей и репрезентантов, то они соотносятся не с денотатом, с дисигнатом и встречаются обычно после неместоименного слова. Различие между замещением и репрезентацией лежит в плане выражения. Пользуясь терминами из рецензируемой книги, можно описать репрезентацию как замещение с опущением, или, что то же, с компрессией.

Предлагаемая Г. Г. Почепцовым система базисных структур и их распространений не может быть абсолютно исчерпывающей, так как языковой континуум невозможно полностью покрыть дискретной сеткой. Но автору удалось создать

очень подробную, продуманную и достаточно релевантную систему — и в этом основная ценность предлагаемой работы как одной из ступеней в разработке синтаксиса простого предложения. Применение системы в решении теоретических и практических задач выявит пути ее усовершенствования. Сам Г. Г. Почепцов подчеркивает, что он не претендует на изложение истины в последней инстанции (стр. 5). Очевидно, некоторые ядерные предложения можно будет отбросить (особенно ядра с обстоятельством времени) и считать распространением других ядер. Некоторые ядра разделятся на два или более ядерных каркасов. Потребуется выделение новых ядер, например, парноасимметричных предложений типа *No pains, no gains; Calf-love, half-love*.

Книга Г. Г. Почепцова не только предлагает общую систему, обеспечивающую глубокое проникновение в структуру современного английского языка, не только богата многочисленными частными наблюдениями, свидетельствующими о многолетнем и плодотворном изучении ее автором английской грамматической системы (например, возможность опустить инфинитив после дополнения к глаголу *hear* — стр. 156; позиция объектно-предикативного члена перед дополнением — стр. 157), она еще ценна тем, что будит мысль читателя, увлекает его и заставляет разрабатывать дальше и уточнять описываемую теорию, спорить с автором и искать выхода из возникающих трудностей. Это очень полезная и нужная книга.

Я. Г. Биренбаум

**А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловянникова.** Фрагменты грамматики хиналугского языка. — Изд-во Московского университета. 1972. 379 стр.

Рецензируемая книга посвящена описанию одноаульного бесписьменного языка дагестанской ветви восточнокавказских языков, который известен под именем хиналугского (сами хиналугцы называют себя *käl'd*). Изучение хиналугского языка важно в двух отношениях: 1) оно является необходимым звеном при создании сравнительно-исторической грамматики восточнокавказских (нахско-дагестанских) языков; 2) изучение хиналугского может иметь общелингвистическое значение, так как это язык с весьма своеобразной структурой. Если к сказанному добавить, что языкознание располагало всего лишь одной монографической работой об этом языке — «Грамматикой хиналугского языка» Ю. Д. Дешериева (М., 1959), то станет оправданным большой интерес к новой работе в этой области.

Рецензируемая книга опирается на материал, добытый во время двух экспедиций, организованных отделением структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, которыми руководил А. Е. Кибрик. Тем самым в рецензируемую работу свою долю внесли и студенты (см. стр. 8). Все части грамматики в окончательной редакции написаны А. Е. Кибриком и С. В. Кодзасовым. Хиналугско-русский и русско-хиналугский словники составлены И. П. Оловянниковой. Заглавие книги — «Фрагменты грамматики хиналугского языка», по нашему мнению, несколько скромно и не соответствует действительности: книга является весьма полным и последовательным описанием фонологической и грамматической систем хиналугского языка. Необходимо отметить, что книга написана на высоком научном

уровне, отличается гармоническим сочетанием формализации описательной методики с глубоким пониманием внутренней структуры языка, изобилием иллюстративного материала.

Рецензируемая книга состоит из «Предисловия» (стр. 5—9) и четырех глав — «Фонологическая система», «Морфология словоизменения», «Употребление грамматических форм», «Элементы глагольного словообразования», после которых идут заключение, тексты, словники и различные указатели (в том числе — «Список служебных морфем» и «Конкорданс грамматических форм»).

Гл. 1 «Фонологическая система» (стр. 10—47) знакомит читателя с тремя видами записи материала, которые соответствуют трем уровням репрезентации высказываний: морфонологической, фонологической и фонетической. Здесь же даются фонологические правила, посредством которых фонологические репрезентации выводятся из морфонологических, и фонетические правила, служащие посредниками между фонологическим и фонетическим уровнями. При установлении фонемного инвентаря даются надлежащие пояснения и комментарии. Некоторые из высказанных авторами мнений мы не разделяем и считаем нужным заметить по этому поводу следующее:<sup>1</sup>

1. В таблице согласных фонем и звуков (табл. 3, стр. 19) представлено 76 единиц. Такое увеличение количества согласных связано с тем обстоятельством, что авторы считают такие признаки, как палатализованность, долгота (в непридыхательных), фонологически релевантными. В ряде случаев вводятся совершенно «новые» фонемы: /h/ (фарингальный спирант), /v̄/ (долгий губно-зубной спирант), /ɣ/ (переднеязычный звонкий спирант). Таким образом, вместо 32 согласных фонем дается почти в два с половиной раза больше. Рассмотрим отдельные пункты интерпретации звуков в рецензируемой книге.

а) Палатализованность как фонетическое свойство определенного ряда согласных фонем отчетливо выражена в хиналугском. Однако она носит автоматический характер: в соседстве с гласными переднего образования согласные реализуются как палатализованные, в остальных же позициях — как непалатализованные. Примеры: [miɬ<sup>l</sup>] «лед», [iɬ<sup>l</sup>] «кость», [wäɬ<sup>l</sup>] «пояс», [iɣ<sup>l</sup>] «ярко», [ɛɣ<sup>l</sup>] «сыр», [iɬ<sup>l</sup>] «травя», [zäk<sup>l</sup>] «шесть», [q'i] «сухой», [nüç<sup>l</sup>] «мед», [mis<sup>l</sup>] «медь», [miç<sup>l</sup>] «масло», [zeɣ<sup>l</sup>] «отвар» и др. Это замечено авторами (стр. 21). Однако в

<sup>1</sup> Мы будем придерживаться общепринятой латинской транскрипции, так как транскрипция, которая дается в рецензируемой книге, кажется нам несколько громоздкой.

виде исключения приводятся формы, где согласный, смягченный перед антериорными гласными, сохраняет свою мягкость и перед гласными заднего образования в результате словоизменения: [k'i] «баран» — [k'u] (дат. п.), [pšl'ä] «лиса» — [pšl'u] (дат. п.) и т. д. По нашему мнению, эти формы дат. падежа можно рассматривать как последовательности [k'ü] и [pšl'ü], в которых алломорфией показателя дат. падежа является передний гласный [ü] — именно он обуславливает реализацию предшествующих согласных в виде мягких k' и l'. Это оправдано и системой гласных хиналугского языка, которая, по утверждению авторов, содержит ряд огубленных гласных переднего образования (ɔ, ɔ̄). Тем самым, палатализованные согласные оказываются с непалатализованными в отношении дополнительной дистрибуции, и нет необходимости рассматривать эти два ряда звуков в качестве двух рядов фонем.

б) То же самое можно сказать и о так называемых «непридыхательных» согласных, которые якобы имеют долгие и краткие корреляты. Во-первых, аспирация не является релевантным признаком. Непридыхательных смыхных в хиналугском вообще нет. Однако интенсивные глухие (c<sub>a</sub>, č<sub>a</sub>, k<sub>a</sub>, t<sub>a</sub>, q<sub>a</sub>) характеризуются относительно малой придыхательностью. Во взрывных (t<sub>a</sub>, k<sub>a</sub>) аспирация чувствуется меньше, в аффрикатах (c<sub>a</sub>, č<sub>a</sub>, q<sub>a</sub>) — в большей мере. Хиналугские c<sub>a</sub> и č<sub>a</sub> можно приравнять к аварским интенсивным неглотализованным аффрикатам. Среди интенсивных согласных (по терминологии авторов — «непридыхательных») нет противопоставления по долготе ни в интервокальной, ни в остальных позициях. Допустимо лишь свободное варьирование «более» и «менее» придыхательных интенсивных во всех позициях. К примеру, слово «брат» может реализовываться и как c<sub>a</sub>ɔ (с относительно большим придыханием после первой фонемы), и как c'aɔ (с меньшим придыханием), и как cɔɔ (последовательность постдентальных согласных, имеющая спирантный исход). То же самое можно сказать о формах inq'iri/inq'iri «жать», kuč<sub>a</sub>i/kuč'i «пятый» и т. д. Не имеет места противопоставление по долготе и среди фрикативных и сонорных согласных, вопреки утверждению авторов (стр. 21).

2. Не совсем ясно, чторазумеют авторы рецензируемой книги под «оглушением гласных» (стр. 14). Насколько нам известно, звонкость для гласных — само собой разумеющийся признак, без которого гласный не существует. Тем самым исключается возможность наличия глухих или оглушенных гласных. Приводимые примеры (стр. 14) свиде-

тельствуют о частичной или полной редукции гласных вследствие их безударности, но не под влиянием предшествующего придыхательного согласного (*ku-kác* «журица» → *lɛkákɛ*, *qɛsɛz* «орех» → *qɛsɛz*). Это явление аналогично выпадению гласных верхнего подъема (см. стр. 14).

3. Касаясь распределения согласных и возможности их комбинирования, авторы пишут: «В начале слова возможны лишь сочетания смычных (обычно /r<sup>h</sup>/ или /b/) и аффрикат с фрикативными или плавными...» (стр. 28—29). Однако наблюдаются и другие типы согласных групп. А именно: «взрывной + взрывной» [*pt<sub>ə</sub>i* «глаза» (род. п.), *tk<sub>ə</sub>än* «колючка»], «аффриката + аффриката» (*qɛsɛz* «орех», *qɛiž* «годовалый теленок», *sqwa* «хлев»), «взрывной + аффриката» (*kɛžqan* «сорок»), «фрикативный + взрывной» (*st<sub>ə</sub>al* «палец»), «фрикативный + аффриката» (*xɛižin* «подушка») и др.

4. По мнению авторов, «... в настоящее время фонема [w] в хиналугском языке отсутствует...» (стр. 15). Это положение нуждается в уточнении: звуковые сегменты [w] и [v] могут свободно варьироваться в начале слова (*waç / vaç* «луна», *wə/və* «ты»), а после согласных обычно выступает [w] (*ɟwa* «дом», *kwar* «дорога», *swa* «село»). Так что указанные звуки объединяются в одну фонему, которую условно можно представить как /w/ или же как /v/.

В книге дается правильная интерпретация звуковой последовательности *C + w*, которая квалифицирована как двухфонемная группа (стр. 23). Весьма убедительна и не подлежит сомнению трактовка увулярных /q/ и /q/ как аффрикат (стр. 18).

Гл. 2 «Морфология словоизменения» (стр. 48—128) содержит последовательное описание склонения и спряжения. Авторы блестяще справились с этой сложной задачей. Как известно, морфология хиналугского глагола ставит перед исследователями препятствия, преодоление которых связано с известными трудностями. Следует отметить, с одной стороны, предельную ясность изложения и формализацию описания, с другой же — надежность и богатство иллюстративного материала. В книге множество таблиц и схем, служащих для всестороннего ознакомления со структурой хиналугского языка.

В моделях порождения глагольных форм указан порядок следования морфем разных категорий с указанием на конкретные аффиксы. Однако порядковая структура хиналугского глагола дается здесь неразвернуто: отсутствуют сведения о взаимоотношении, с точки зрения упорядоченности между конкретными элементами, не указаны ранги отдельных элементов, нет общей группировки по порядкам. В примечаниях к схемам

даются те ограничения, которые накладываются на формобразование глагола системой хиналугского языка. В гл. 2 разбирается образование глагольных форм (причастия, масдара, деепричастия), а также классно-числовые показатели словоформ.

Не имея сколько-нибудь существенных замечаний к гл. 2, отметим лишь, что вопрос о наличии двух родительных падежей не может считаться окончательно решенным. Решение его связано с интерпретацией эргативного падежа, форма которого всегда совпадает с генитивом I. Генитив II имеет самостоятельную форму только в классе существительных с основой на гласный нижнего подъема. Во всех остальных случаях он совпадает с генитивом I и эргативом. Из других дагестанских языков эргатив и генитив имеют одинаковую форму в лакском, где конкретное значение этой формы определяется чисто контекстуально. Данный вопрос требует более детального анализа, тем более, что разница между генитивами I и II в хиналугском несущественна и при реализации возможно колебание.

Гл. 3 «Употребление грамматических форм» (стр. 129—212), поскольку она повествует о функциях, в определенной мере содержит и классификации грамматических категорий; эта часть книги снабжена примерами в виде фраз с русскими переводами.

В гл. 4 «Элементы глагольного словообразования» (стр. 213—234) подробно описаны семантически разложимые и неразложимые сложные глаголы, описательные типы глагольного образования и т. д.

К грамматическому очерку прилагаются хиналугские тексты с дословным и свободным переводами, а также хиналугско-русский и русско-хиналугский словники вместе с разного рода указателями. Последняя часть занимает примерно треть книги (стр. 243—369), отличается надежностью материала и переводов. Словники кроме перевода содержат квалификации языковых форм, с ссылками на соответствующие разделы книги.

Проделана весьма трудоемкая и кропотливая работа, результатом чего явилась рецензируемая книга, которая представляет собой отражение несомненного прогресса в советском кавказоведении. Те сведения и интерпретации, которые даются в рецензируемой книге, могут весьма способствовать дальнейшему изучению хиналугского языка как с синхронической, так и диахронической точек зрения.

Исследования, подобные «Фрагментам», по нашему мнению, помогают ускорить создание сравнительно-исторической грамматики дагестанских языков, а также послужат опорой для типологических исследований.

Б. К. Гизинейшвили

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

## ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

26—29 октября 1972 г. в Скопле (Югославия) при Македонской академии наук и искусстве состоялось второе заседание Международной комиссии по славянским литературным языкам (МКСЛЯ) при Международном комитете славистов. В заседании приняли участие члены комиссии и представители академических и университетских кругов Македонии. На заседании обсуждались вопросы отношения литературного языка к внелитературным образованиям; эти вопросы рассматривались в трех планах — в плане общей проблематики, с точки зрения ситуации в отдельных славянских языках и в отдельных ярусах этих языков. Во вступительном слове акад. Б. Конески (Скопле) подчеркнул актуальность поставленной на обсуждение проблематики не только для славистики, но и для общего языкознания.

Обсуждение первого круга вопросов началось докладом чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина (Москва) «Русский литературный язык и его отношения с другими разновидностями русского языка»<sup>1</sup>.

Вл. Барнет (Прага) в докладе «Дифференциация национального языка и социальная коммуникация» предложил рассматривать положение литературного языка в общенациональном языковом целом, исходя из понятия структурной и функциональной дистанции в ее межязыковом и внутриязыковом проявлении. Докладчик показал, что структурный и функциональный подход ведут к дифференцированному рассмотрению понятия ситуации, употребляемого в языкознании, как взаимного отношения социальной ситуации данного общества, коммуникативной ситуации (являющейся суммой социально релевантных коммуникативных ситуаций) и языковой ситуации (т. е. структурной дифференциации национального языка). Докладчик рассматривает социальную, коммуникатив-

ную и языковую ситуации как внутренне структурированные понятия; при этом данная языковая общность может характеризоваться различным иерархическим упорядочением компонентов в отдельных названных видах ситуаций, а также и различным взаимным соотношением этих компонентов. Важно исследовать не только статическое состояние дифференциации национального языка, но также и нормы речевого поведения, которые позволяют представить это состояние с точки зрения синхронного динамизма.

Новые теоретические положения содержались также в докладе Д. Брозовича (Задар) «О типологии субстандартных и интердиалектных идиом в славянских языках». Докладчик не считает разговорными идиомами жаргоны, профессиональные языки и функционально-стилевые образования. При установлении формальной дифференциации национального языка различаются типы субстандарта, опирающиеся в структурном отношении на стандартный язык, и типы, основанные на интердиалекте (полудиалекте). Различное положение разговорного языка и интердиалекта в структурном пространстве между стандартным языком и территориальным диалектом докладчик объяснил особенностями диахронии складывания структуры национального языка, где различаются достандартный и постстандартный периоды. В достандартный период каждое субстандартное образование носит интердиалектный характер. В постстандартный период создаются благоприятные условия для возникновения разговорного языка, конкретные исторические признаки которого в отдельных языках определяются степенью гомогенности по отношению к соответствующему стандартному языку, характером этого стандартного языка (подверженного или не подверженного пуризму), отношением к диалектам (или интердиалектам), к разговорному стилю стандартного языка и под.

Общей проблематике связей литературного языка и внелитературных образований был посвящен и доклад А. Едлички (Прага) «Отношения устного и письменного синтаксиса». Докладчик

<sup>1</sup> Доклад лег в основу статьи: Ф. П. Филин, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2.

подчеркнул необходимость изучения специфики синтаксиса непринужденной речи повседневно-бытового общения. Изучение устно-разговорной речи началось с диалектов, в которых изучались прежде всего фонологические и морфологические явления, где наиболее ярко проявлялась региональная дифференциация соответствующего языка. Функциональная лингвистика обратилась к различиям диалектов и литературного языка и на уровне лексики и синтаксиса. Докладчик подробно охарактеризовал различие понятий «устный» (mluvený) и «разговорный» (hovový) язык (как функциональной разновидности стандартного языка) и подчеркнул, что противопоставление устного и письменного языка, как и различия между субстандартными формами и литературным языком, неодинаковы на уровне фонологическом и морфологическом, с одной стороны, и синтаксическом, с другой, где наряду с оппозицией «устный — письменный» действуют и ситуативные факторы (подготовленность — неподготовленность, непосредственность — опосредованность, диалогичность — монологичность). Докладчик подчеркнул далее, что в синтаксисе необходимо отличать явления системы от явлений речи. При изучении отношений между письменным и устным синтаксисом необходимо учитывать также такие попарно соотносительные явления, как литературность (стандартность) — нелитературность, письменный характер — устный характер, разговорность — книжность. С точки зрения этих взаимопротивопоставленных феноменов докладчик подробно осветил различия между синтаксисом диалектным, устно-разговорным и литературным.

В своем выступлении Э. Паулини (Братислава) коснулся вопроса об отношении письменной и разговорной разновидности и дополнил соображения, высказанные в докладе А. Едлички, указанием на оппозицию «наличие — отсутствие „выражения“». Затем он обратил к итогам изучения характера соблюдения литературной словацкой нормы в разных коммуникативных ситуациях разными по своей социальной и территориальной принадлежности носителями литературного словацкого языка.

По первому проблемному циклу дискуссия сосредоточилась прежде всего на вопросах вариантности литературного языка. А. Едличка показал на примерах из чешского языка, что региональный тип вариантности может влиять на оценку литературных средств с точки зрения их маркированности. Б. Корубин (Скопье) связал проблематику региональной вариантности литературного языка с его динамикой в рамках общенационального языка. Д. Брозович на примере конкуренции московской и ленинградской произносительных норм

показал, что в подобных оппозициях более спецификализованный член уступает место более линейному и парадигматикализованному. Акад. Б. Гавранек (Прага) предложил различать вариантность и вариабельность: первая связана с членением языка, вторая с его функционированием. З. Тополинская (Варшава) обратила внимание на то, что кодификация в области синтаксиса не означает однозначности в выборе варианта. В ответном слове Ф. П. Филин рекомендовал обратить особое внимание на изучение кодифицированных и некодифицированных региональных вариантов и в этой связи предложил различать централизованные и нецентрализованные типы литературного языка.

Тезис Ф. П. Филина о двойственном характере разговорных явлений вызвал оживленную дискуссию. Вл. Барнет предложил рассматривать эту двойственность как проявление динамики в синхронии языкового единства: А. Едличка оценил идею Ф. П. Филина как перспективную. Д. Брозович, однако, обратил внимание на трудности вычленения двух типов разговорных явлений и просторечия. Б. Гавранек связал двойственный характер просторечия с разграничением разговорного варианта литературного языка и нелитературного обиходно-повседневного языка (obecné čeština) в чешской традиции.

Большое внимание было уделено проблеме трихотомического и дихотомического членения национального языка, предложенного в докладе Вл. Барнета. Д. Брозович полагает, что дихотомическое членение, разграничивающее уровни стандартного языка и диалекта, является достаточным, поскольку другие образования связаны в структурном отношении с одним из этих двух. Б. Гавранек рекомендовал отличать теоретическое (системное) членение национального языка от его реализации отдельными говорящими. Ст. Урбанчик (Краков) предложил обратиться прежде всего к членению на общенациональный язык и территориальные диалекты, а внутри общенационального языка применять критерий письменной и устной формы. Он рекомендовал в качестве рабочего термина «этнический язык». А. Едличка согласился с реальностью дихотомического членения и в своем ответном слове наряду с вариантностью предложил учитывать также степень кодифицированности фонологических, морфологических и синтаксических явлений устной речи. Д. Брозович в своем ответном слове отстаивал точку зрения, согласно которой интердиалект не имеет своего собственного, специального носителя. О необходимости его использования говорящим, принадлежащим к определенному языковому коллективу, судит на основании коммуникативных ситуаций.

Второй проблемный цикл был посвящен теме отношения литературного языка и внелитературных образований в отдельных славянских языках. Ст. Урбанчик в докладе «Польский культурный диалект в его прошлом и настоящем» рассказал о характере речевой коммуникации в крупных культурных центрах — Варшаве, Кракове, Познани и др. Он показал, каким образом разные способы усвоения польского литературного языка — посредством письма или на слух — влияют на внутреннюю дифференциацию устного культурного польского языка. Докладчик подробно осветил изменения в социальной базе носителей культурного польского языка в аспекте меняющихся лингво-эстетических требований, новых технических средств (радио, телевидение) и ориентации на разные стили, например, художественный, административный или экспрессивный молодежный язык и т. п.

Р. Оти (Оксфорд) посвятил свой доклад «Людовит Гай и хорватский язык» вкладу Л. Гаю в лингвистический аспект иллирийского движения, что проявилось прежде всего в общей концепции так называемого иллирийского языка, в постулировании его диалектной базы, в понимании проблем правописания и в становлении его лексики.

В докладе Й. Вуквича (Сараево) «Отношение сербскохорватского литературного языка к его диалектной основе в современный период» получили всестороннее освещение с точки зрения общей теории литературного языка условия возникновения и развития литературных языков. Докладчик различает литературные языки, в основе которых лежит койне, литературные языки моноцентрического и полицентрического типа и тот тип литературного языка, который представляет собою модификацию заимствованного, уже сформировавшегося литературного образования. Специфику сербскохорватского литературного языка следует усматривать в том, что ему предшествовали хорошо развитые региональные письменные варианты и что в его образовании в качестве активного образующего фактора принимал участие народный язык.

Большой интерес вызвал также доклад А. И. Журавского (Минск) «Основные различия письменной и устной разновидностей современного белорусского литературного языка»<sup>2</sup>.

И. Топоришич (Люблина) в докладе «Разговорный словенский язык» изложил свое понимание расчлененности словенского народного языка, характера словенского разговорного языка с точки

зрения его структурных признаков, его внутренней дифференциации, обусловленной коммуникативными ситуациями и членением социальной базы его носителей. Характеризуя устную разновидность литературного языка, докладчик различает общесловенскую разновидность разговорного языка, базирующуюся на разговорном языке Люблины, и отдельные региональные разговорные варианты, основанные на отдельных наречиях.

Г. Фака (Будышин) в докладе «Диалектная основа верхнелужицкого литературного языка и образование так называемого обиходного сербского языка» критически проанализировал взгляды, согласно которым образование верхнелужицкого языка связано с деятельностью отдельных представителей Возрождения. Материалы, полученные в связи с работой по подготовке общеславянского атласа, показали, что наречие, окружающее Будышин, можно считать основой литературного языка лишь в узком смысле слова, поскольку современный литературный язык складывался на базе и других диалектов евангелических и отчасти католических районов. На основании новых данных докладчик показал, что литературный язык имел и имеет более широкий круг носителей, чем это до сих пор считалось. Он уделит также внимание условиям образования наддиалектной разговорной разновидности верхнелужицкого литературного языка.

В присланном на заседание докладе «Литературный и разговорный язык в Социалистической Республике Хорватии» акад. Л. Йонке (Загреб) подробно охарактеризовал специфику разговорного языка, проявляющуюся в том, что при новоштокавско-екавской основе литературного языка в языковой жизни Хорватии интенсивно проявляют себя (например, в областной письменности, в обиходном языке некоторых кругов интеллигенции) и кайкавские и чакавские диалекты. В связи с этим докладчик назвал три возможности реализации разговорного языка — 1) в штокавской области он наиболее близок литературному языку, 2) в кайкавской области он в широких слоях населения в основе своей кайкавский, в образованных же кругах имеет кайкавские элементы, 3) у представителей штокавских диалектов, живущих в кайкавских или чакавских областях, сохраняется штокавская основа, чему способствует ориентация на литературный язык. В хорватских культурных центрах реализуются либо все три возможности (Загреб, Сплит, Риека), либо две из них (Осиек и частично Дубровник). При межрегиональных контактах используется хорватский литературный язык с участием некоторых диалектных элементов.

Ценные сведения о вновь образующихся связях македонских диалектов и

<sup>2</sup> Доклад лег в основу статьи: А. И. Журавский, О некоторых различиях между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка, ВЯ, 1973, 3.

македонского литературного языка сохранились в докладе Б. Видоевского (Скопье) «Отношения диалектов и македонского литературного языка». По мысли докладчика, в периферийных культурных центрах еще достаточно отчетливо используется местный диалект, но уже с явными инновациями из литературного языка. Обнаруживается тенденция к формированию разговорного языка в рамках литературного языка. В структурном отношении этот разговорный язык, однако, проявляет значительную вариативность, а круг его носителей из числа македонской интеллигенции пока узок.

В дискуссии по этому кругу вопросов Д. Брозович полемизировал с тем, что И. Вукович толкует региональные письменные языки в нестандартный период как варианты. И. Вукович в своем ответе защищал тезис о существовании таких вариантов в нестандартный период и постулировал иерархию понятий «язык», «вариант» и «региональный тип».

В связи с докладом Й. Топоришича А. Едличка и Вл. Барнет выдвинули требование различать явления, связанные с устным произнесением, и явления, связанные с разговорностью. Й. Топоришич в ответном слове защищал разговорный (не диалектный) статус словенских региональных разговорных языков.

И. Погорелец (Люблина) дополнила сказанное Ст. Урбанчиком о культурном диалекте параллелями из фактов развития словенского языка нестандартного периода.

Мысли Л. Матейки (Мичиган) послужили началом дискуссии по вопросам просодики в современном сербскохорватском языке, особенно в отношении соблюдения кодифицированной просодической нормы образованными слоями городского населения. Б. Гавранек в дополнение к его сообщению обратил внимание на функционирование просодической системы в языке Белграда. И. Вукович связал факты нарушения нормы ударения с морфологизацией количественных отношений.

И. Ф. П. Филин, и Б. Гавранек подчеркнули необходимость учитывать специфику ситуации в каждом славянском языке; наряду с внутриязыковыми факторами, здесь действуют и факторы внешнего характера — такие, как развитие литературного языка из одного или нескольких центров, разная степень участия, например, классицизма в стабилизации отдельных славянских литературных языков, экстралингвистическая обусловленность противоположных тенденций в их функционировании и т. д.

При освещении третьего круга проблем, посвященного конкуренции

литературных и нелитературных явлений на отдельных уровнях славянских литературных языков, Г. Хюттль-Ворт (Вена) в докладе «К проблеме литературного и разговорного словообразования в современном русском языке» рассмотрела в историческом плане словообразование некоторых типов отвлеченных существительных (главным образом на *-ние*, *-тие*) с точки зрения деривационных моделей, статистических характеристик и дистрибуции в их функциональном размежевании в современном русском языке. Докладчица на основе анализа обширного материала показала, что усвоение церковнославянского по происхождению словообразовательного типа зависело от ряда обстоятельств, например, от наличия (или отсутствия) церковнославянской или соответствующей русской производной основы (например, основы *грам-/мором-*), от тенденции к экономии, проявляющейся, например, в сложных словах в выборе наиболее краткого варианта, и т. д.

Л. Андрейчин (София) в докладе «Некоторые явления болгарского разговорного языка» обратился к общим критериям расчленения современного разговорного болгарского языка и на ряде примеров показал тенденцию, формирующую его специфические черты сравнительно с собственно литературным языком. Разговорный болгарский язык складывался в тесной близости с письменной формой, и это обстоятельство обусловило сравнительно легкое двустороннее взаимовлияние обеих разновидностей.

Акад. Б. Конески (Скопье) в докладе «Лексемы в блокированной позиции» на материале устного и письменного македонского языка предложил теорию конкуренции словарных единиц с учетом их синонимичности в лексическом плане и расчлененности языковой общности на функциональные разновидности. Он ввел понятие блокированной позиции в значении того участка, на котором в определенном лексическом поле происходит конкуренция лексических единиц, и на большом материале показал отдельные типы такой конкуренции.

А. Младенович (Нови Сад) в докладе «Об изменениях групп гласных *-ao*, *-eo* > *-o* в разговорной разновидности современного сербскохорватского литературного языка» подробно изложил современное состояние изменения этих групп гласных в именах (например, *posao* > *poso*), глаголах (например, *grizao* > *grizo*; *uzeo* > *uzo*), что характерно для разговорного языка образованных кругов и известно в ряде штокавских диалектов. Он обратил внимание на морфологические факторы, которые поддерживают, замедляют или исключают эти изменения.

Д. Буттлер (Варшава) в докладе «Дискуссионные вопросы описания поль-

ских социальных диалектов» обратился к терминологической и методологической проблематике социальной диалектологии и критериям классификации социальных диалектов. Принимая во внимание тот факт, что социальная дифференциация языка проявляется прежде всего в словарном составе, докладчица предложила в основу системного описания специфического словарного состава по признаку его социальной принадлежности положить различие (на оси социальной дифференциации) иерархических отношений понятий «диалект», «вариант» («говор»), «специфический» (например, групповой или профессиональный) словарный слой. Вариант (говор) отличается от словарного слоя наличием специфического лексического внутреннего организованного комплекса. Критериями выделения определенного варианта являются густота определенной сети денотатов, количественные и социальные характеристики.

По третьему кругу вопросов развернулась дискуссия, затрагивающая разнообразную проблематику. В. Хелару (Бухарест) в своем выступлении затронул наиболее общие вопросы и предложил обратить внимание на зависимость оппозиции «чужой язык : родной язык» от оппозиции «письменная форма : устная форма» в развитии румынского и некоторых славянских языков.

Ф. П. Филин дополнил доклад Г. Хюттль-Ворт указанием на широкое бытование словообразовательного типа на -ние в русских народных говорах; это явление, по его мнению, нуждается в изучении с точки зрения общеславянской перспективы. Г. Хюттль-Ворт, отстаивая свою точку зрения, привела факты формального и семантического размежевания этого словообразовательного типа в русских народных говорах и литературном языке.

Наибольшее внимание привлек вопрос о маскулинизации названий женских профессий, на что было обращено внимание в докладе Л. Андрейчина. В этой связи А. Едличка говорил о том, что при общих инновационных тенденциях сопоставительное изучение может выявить определенные различия и предложил принять во внимание разные реализации в пределах расслоения одного языка (ср. чеш. разг. *doktorka* наряду с *doktor* в медицинском сленге). Д. Брозович предложил обратиться к словообразовательным, семантическим, ситуативным и стилевым факторам, которые могут влиять на выбор названия мужского или женского рода. Ст. Урбанчик на польских примерах показал, что к маскулинизации тяготеют названия тех женских профессий, которые в общест-

венном сознании оцениваются более высоко. Б. Гавранек говорил о том, что маскулинизация названий женских профессий в славянских языках служит примером незавершенного процесса (ср. чеш. *doktor/doktorka*, но *chirurg, stomatolog* и т. п.).

Живой отклик вызвал и доклад А. Младеновича. Д. Брозович рассматривает стяжение -ao, eo > -o как явление субстандарта, которое определенным образом связано с подобными явлениями в языке поэзии, имеющими, однако, иное объяснение. Ст. Урбанчик привел польскую параллель — повседневно-разговорное произношение форм прошедшего времени *czytala* > *czytała* > *czytá* с ударением на последнем слоге. Б. Гавранек обратил внимание на подобное же явление в чешском (например, *ved* вместо *vedl*), которое трудно расценить однозначно как фонетическое или морфологическое. Б. Видоески привел параллели из македонских диалектов и обосновал общий характер этого явления. А. Младенович в ответном слове высказал сомнение в возможности непосредственного соотнесения стяжения приведенного типа с подобными явлениями в языке поэзии и, сославшись на сосуществование в сербском стандартном употреблении глаголов на -ovati, -irati, -isati, оценил формы типа *obiliso* как факт речи менее образованных слоев.

В организационной части заседания комиссия обсудила проект задач будущих исследований, объединенных темой «Лингвистическая характеристика современного состояния славянских литературных языков», предварительный вариант которого подготовили члены комиссии из Чехословакии (текст проекта см. ниже). В связи с тем, что по проекту были высказаны замечания общего и частного характера, касающиеся прежде всего понимания метода предполагаемого комплексного исследования (Ф. П. Филин, Ст. Урбанчик, Б. Видоески, Г. Хюттль-Ворт, Р. Оти, Д. Брозович и Л. Андрейчин), было решено обсудить проект в национальных комиссиях по славянским литературным языкам и вернуться к нему на третьем заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам, которое состоится в 1973 г. в Праге.

После заключительного слова председателя комиссии А. Едличка и заседание комиссии от имени Македонской академии наук и искусств закрыл акад. Х. Поленакович.

Вл. Барнет, А. Едличка (Прага)  
Перевела с чешского О. А. Латшева

## Проект

## Лингвистическая характеристика современного состояния славянских литературных языков

## 1. Обоснование

1.1. Повышающаяся роль литературных формаций в совокупности коммуникативных актов — письменных и устных — в жизни языковой общности требует внимания лингвистической теории к этой области языковедческого исследования. Общая теория литературного языка стабилизируется как особая лингвистическая дисциплина.

1.2. Специфику литературной формации можно исследовать как с учетом всей совокупности коммуникативных формаций и их вариантов, используемых в рамках того же национального языка, так и в сопоставлении с литературной формацией других языков.

1.3. Литературные формации можно исследовать в плане диахроническом и синхроническом. Предлагаемая характеристика ориентируется на синхронное изучение современного состояния литературных формаций (т. е. с 50-х годов нашего столетия).

1.4. Современное состояние разработки теории литературного языка в рамках славянского языкознания в сравнении с лингвистическим исследованием о литературном языке в других языковых группах создает благоприятные условия для дальнейших исследований в этой области. В целях его развития и для достижения положительных результатов необходимо добиваться координации работы в этой области исследования.

1.5. Отдельные славянские литературные языки, которые возникали в разные периоды и в разных ареалах, в различных языковых, коммуникативных и общественных условиях и в результате этого создали широкий диапазон специфических особенностей, отражающихся в их современных структурах и функционировании, представляют собой широкое поле для сопоставительного и типологического исследования и исследования общетеоретического характера. Однако до сих пор описание славянских литературных языков велось неравномерно и на базе различных методологических приемов.

1.6. Предлагаемый проект «Лингвистическая характеристика современного состояния славянских литературных языков» ставит перед собой цель:

1.6.1. Способствовать более полному и систематическому познанию современных литературных славянских языков, используя уже имеющиеся результаты по общей теории литературного языка.

1.6.2. Создать постепенной разработкой методологической базы предпосылки

для синхронического сопоставительного и типологического изучения славянских литературных языков.

1.6.3. В рамках славистики способствовать систематизации результатов исследований в этой области и более глубокой разработке общей теории литературного языка.

2. Проект программы «Лингвистическая характеристика современного состояния славянских литературных языков».

2.1. Характеристика современной языковой ситуации в отдельных славянских языковых общностях с точки зрения социальной стратификации и территориальной дифференциации. Структурные формы и разновидности, используемые каждой языковой общностью, их современное функционирование в отдельных коммуникативных сферах, сосуществование и интерференция. Полицентризм и моноцентризм современных славянских литературных языков.

2.2. Характеристика отдельных современных славянских литературных языков с функциональной и структурной точек зрения, объем отдельных литературных языков с точки зрения письменной и разговорной формы. Характеристика полифункциональности литературного языка и степень развития отдельных коммуникативных сфер соответствующих функциональных стилей. Специфика стилевой дифференциации отдельных славянских литературных языков.

2.3. Функционирование литературного языка в повседневной жизни его носителей.

2.4. Характеристика структурной дистанции между отдельными формациями национального языка, степень, способ и средства их структурной дифференциации. Литературные формации изолированные или, наоборот, экспансивные в рамках данной языковой общности; существование билингвизма, его масштаб, степень его интенсивности.

2.5. Характеристика норм отдельных славянских литературных языков:

2.5.1. В отношении к кодификации и функции кодификации, с точки зрения взаимодействия нормы и кодификации.

2.5.2. С точки зрения определяющих черт — степени единства, прочности и обязательности нормы и гибкой стабильности по отношению к отдельным коммуникативным ситуациям.

2.5.3. Проявление дифференциации в литературной норме, ее вариантность с точки зрения эволюционной, региональной и социальной.

2.5.4. Принятие и оценка литературной нормы со стороны участников коммуникативных актов.

2.6. Характеристика отдельных уровней языковой системы славянских литературных языков (фонетико-фонологического, морфологического, синтаксического, лексико-семантического) с точки

зрения синхронической стабильности и динамики.

2.6.1. Характеристика инвентаря средств литературного языка по отношению к средствам разговорного языка.

2.6.2. Роль рациональных, эмоциональных и эмотивных (побудительных) средств в структуре литературных высказываний с учетом их функциональной дифференциации.

2.6.3. Роль интеллектуализации, автоматизации и актуализации в способе использования литературных и нелитературных средств языка в организации функциональных стилей отдельных славянских литературных языков.

3. На последующем этапе работы над проектом будут разработаны более подробные тезисы; они будут представлены на широкое обсуждение.

Проект представили акад. *Б. Гагранек*, проф. *А. Едличка*, проф. *Э. Паулини* и проф. *Вл. Барнет*.

\*

С 25 по 27 октября 1972 г. в Вильнюсе проходила четвертая конференция по изучению говоров и языковых контактов в Прибалтийских советских республиках. В работе конференции приняли участие представители вузов Прибалтийских республик, сотрудники АН ЛитССР, АН СССР, АН БССР, АН УССР, а также работники вузов Пскова, Саратова, Гомеля. В конференции принимали участие представители Ягеллонского университета (Польша).

На конференции было прочитано 25 докладов и сообщений по вопросам русских и других славянских говоров Прибалтики и пограничных территорий (Белоруссия, Псковская область), их взаимодействия с окружающими неславянскими языками (говорами), по теоретическим вопросам диалектологии и языковых контактов как на современном диалектном материале, так и на материале местных памятников письменности.

Теоретическим вопросом языковых контактов на диалектном уровне был посвящен доклад *Л. И. Баранниковой* (Саратов) «О соотношении внутренних и внешних факторов в развитии диалектных систем». Своеобразие этих контактов связано с подчиненным положением диалектных систем и с разными конкретно-историческими условиями их функционирования.

В докладе *Т. С. Коготковой* (Москва) «Семантические сдвиги в пред-

метной лексике в условиях диалектно-литературных контактов» рассматривались явления десемантизации, перенормализации реалий, появления дублетности в связи с вхождением новых наименований и др.

В ряде докладов говорилось о взаимодействии русских и других славянских говоров с окружающими языками (говорами). В докладе *М. Ф. Семеновой* (Рига) «Об одной лексической изоглоссе русских старожильческих говоров Прибалтики» рассматривалась изоглосса *дэрван*, охватывающая русские говоры Латвии и Литвы, а также белорусский и польский языки и составляющая сплошной ареал с балтийскими языками. В докладе *М. Сивецкене* (Вильнюс) «Грамматическое оформление лексических литуанизмов в русских говорах Литвы» основное внимание было уделено родовой характеристике литуанизмов — существительных в связи с различиями в составе родовых систем литовского и русского языков и формальных показателей муж. и жен. рода. В докладе *А. Рекена* (Лиеняя) «Название жилого дома и его внутренних помещений в южнолатгальских говорах и их соответствие в славянских языках» и в докладе *Е. Гринавецкене* (Вильнюс) «Влияние белорусской грамматической системы на лазунский говор литовского языка» были рассмотрены некоторые результаты проникновения славянизмов в систему одного латышского и одного литовского говора.

Несколько докладов было посвящено литуанизмам за пределами территории Литвы. *А. П. Непокупный* (Киев) в докладе «„Доостровные“ литуанизмы в островных русских говорах Литвы» указал на возможность бытования некоторых литуанизмов в псковских и других говорах до миграции их носителей на территорию Литвы. Отделить такие литуанизмы можно, только опираясь на данные русских континентальных говоров. О литовских элементах в говорах белорусского языка говорилось в объединенном докладе *Е. Гринавецкене* (Вильнюс), *Ю. Ф. Мацкевич*, *А. В. Орешонковой*, *Е. М. Романович*, *Е. И. Чеберук*, *Л. Ф. Шаталовой* (Минск). Восточнославянские элементы в польских говорах Латвийской ССР, возникших в результате колонизации местного населения, были показаны в докладе *Ю. Паршута* (Рига). О «мене начальных *е—у* в псковских говорах» говорилось в докладе *З. В. Жуковской* (Псков). Сложным явлениям взаимодействия говоров был посвящен доклад *Х. Хейтер* (Тарту) «О развитии типов безударного вокализма в русских говорах северного Причудья ЭстССР».

*И. М. Акулов* (Гомель) в докладе «Особенности употребления германизмов

в белорусских говорах» рассмотрел их характер и локализацию. Н. Д. Боголобова (Рига) высказала идею о возможности составления этимологического словаря на материале русских старожильческих говоров Прибалтики.

Два доклада были посвящены вопросам словообразования существительных русских говоров Латвии и Литвы. А. И. Синица (Даугавпилс) в докладе «Употребление слов с суффиксом *-ин-а* в русских старожильческих говорах ЛатССР» рассмотрела многочисленные образования с суффиксом *-ин-а* в этих говорах, характеризуя семантику и продуктивность моделей. Целью доклада Н. Т. Алексеевой (Каунас) «О некоторых словообразовательных моделях в русских говорах Литвы» было проанализировать словообразовательные модели тематических групп существительных со значением названия поля после уборки урожая, соломы и стеблей растений в русских говорах ЛитССР.

В докладе С. М. Глускиной (Псков) «Изменения в наборе приставок, вызванные фонетическими процессами» на материале псковских говоров было показано, что результатом этих изменений являются морфонологические сдвиги.

В ряде докладов освещались проблемы диалектного синтаксиса. Е. В. Немченко (Москва) и И. Б. Кузьмина (Москва) сделали два доклада на тему «К вопросу о проницаемости синтаксической системы говора (при возможности иноязычного влияния)», в каждом из которых рассматривался самостоятельный круг вопросов. Центральное место в докладе Е. В. Немченко занимал анализ отдельных синтаксических явлений русского говора поселка Мехикоорма ЭстССР, жители которого двуязычны. Некоторые явления в структуре синтаксиса говора, по мнению докладчика, можно связать с влиянием эстонского языка, которое выражается преимущественно в калькировании. В докладе И. Б. Кузьминой ставился вопрос о возможности влияния факта билингвизма на функционирование синтаксических единиц (а не только на их форму). Изучение функционирования предикативных причастий на *-ши* в поселке Мехикоорма показало своеобразие этого явления по сравнению с русскими северо-западными говорами.

«Употребление *есть* в русских говорах в качестве предиката и составной части

предиката» было рассмотрено в докладе В. И. Дементьевой (Москва). Автор связывает особенности функционирования *есть* в северо-западных русских говорах с воздействием прибалтийских и финских языков. Доклад О. Шулене (Вильнюс) «О временных придаточных предложениях русских говоров Литвы» содержал анализ этих предложений со стороны структуры и семантики. Основной задачей при этом было выявление общности и различий диалектов и разговорной формы литературного языка.

Вопросы языковых контактов на конференции рассматривались также на материале местных исторических памятников письменности. А. К. Антонович (Вильнюс) в докладе «Отражение явлений белорусско-литовских языковых контактов в старобелорусской деловой письменности Литвы» показал наличие фонетических, морфологических и лексических литуанизмов в деловых памятниках старобелорусского языка Великого княжества Литовского.

В докладе Е. З. Марченко (Вильнюс) «О лексико-семантических связях русских старожильческих говоров Литвы с белорусскими и польскими языками» путем сравнения с русским литературным языком и говорами, со славянскими языками и данными старобелорусских письменных памятников XV—XVI вв. выявлялась специфическая лексика, характерная для русских старожильческих говоров Литвы. В докладе А. Н. Булыко (Минск) «Диалектные литуанизмы в памятниках старобелорусской письменности» было показано, что особенно большое количество литуанизмов встречается в деловых книгах и документах, написанных на территории Литвы. В докладе П. В. Верховова (Минск) «Некоторые вопросы взаимодействия литературного и диалектного суффиксального образования существительных белорусского языка (на материале письменных памятников XV—XVII вв.)» были показаны сложные процессы взаимодействия разных словообразовательных моделей.

Участники конференции с большим интересом прослушали сообщение В. Витковского (Польша) о развитии русистики в Ягеллонском университете.

М. Сивиченя, О. Шулене (Вильнюс)

## CONTENTS

**Articles:** V. Z. Panfilov (Moscow). Nivkh-Altaic linguistic relations; **Discussions:** N. A. Sliusareva (Moscow). Problems of linguistic semantics; V. M. Živov, B. A. Uspenskij (Moscow). The centre and periphery of language in the light of linguistic universals; R. G. Piotrovskij (Leningrad). Linguistic estimates of differences in closely related languages; S. N. Syrovatkin (Magnitogorsk). The meaning of utterances and functions of language in the light of semiotics; D. I. Arbatskij (Iževsk). On the specific character of semantic definition and its functional types; **Materials and notes:** O. A. Lapteva (Moscow). The study of homofunctional series as a systematic principle for the research of Russian uncodified colloquial syntax; N. G. Blandova (Moscow). On historical-philological bases in the study of fiction; E. A. Konius (Moscow). On the sequence of tenses in English; O. N. Seliverstova (Moscow). Semantic analysis of predicative possessive constructions with the verb «to be»; **From the history of linguistics:** P. G. Bogatyrev. The language of folklore. **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** V. Z. Panfilov (Moscou). Rapports linguistiques nivkh-altaïques; **Discussions:** N. A. Sliusareva (Moscou). Problèmes de sémantique linguistique; V. M. Živov, B. A. Uspenskij (Moscou). Centre et périphérie de la langue sous la lumière des universaux linguistiques; R. G. Piotrovskij (Léningrad). Évaluation linguistique des différences entre les langues-soeurs; S. N. Syrovatkin (Magnitogorsk). La signification des énonciations et fonctions de la langue au point de vue sémiotique; D. I. Arbatskij (Iževsk). Caractère spécifique de la définition sémantique et ses types fonctionnels; **Matériaux et notices:** O. A. Lapteva (Moscou). L'étude des séries homofonctionnelles comme principe systématique pour l'investigation de la syntaxe non-codifiée de la langue parlée russe; N. G. Blandova (Moscou). Les bases historico-philologiques pour l'étude des belles-lettres; E. A. Konius (Moscou). La concordance des temps en anglais; O. N. Seliverstova (Moscou). Analyse sémantique des constructions prédictives possessives avec le verbe «être»; **De l'histoire de la linguistique:** P. G. Bogatyrev. La langue du folklore. **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

## К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В целях обеспечения своевременной доставки нашего журнала, каждому подписчику присвоен постоянный цифровой код, который будет сообщен Вам Центральным подписным агентством «Союзпечать».

При возобновлении подписки на 1974 и последующие годы цифровой код следует проставлять на нижней строке абонента, справа от фамилии, инициалов (наименования организации, выписывающей данное издание).

Технический редактор *Т. И. Шеленкова*

---

Сдано в набор 28/VI—1973 г.	Т-11768.	Подписано к печати 4/IX 1973 г.	Тираж 6940 экз.
Зак. 2568	Формат бумаги 70×108 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	Усл. печ. л. 14,0	Бум. л. 5
			Уч.-изд. л. 16,3

---

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10